

ЖАЖДА БОЛИ

«РОМАН, КОТОРЫЙ МОЖНО СРАВНИТЬ С «ЛЮБОВНИЦЕЙ ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» И «ЧЕРВЕМ» ДЖОНА ФАУЛЗА».
THE NEW YORK TIMES BOOK REWIEV

ЭНДРЮ МИЛЛЕР

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР·ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

Жажда боли
Эндрю Миллер

Аннотация
Эндрю Миллер. Жажда боли
Глава первая. 1772
1
2
Глава вторая. 1771
1
2
3
4
5
Глава третья
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
Глава четвертая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Глава пятая
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
Глава шестая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Глава седьмая. 1770
Глава восьмая. 1772
1
2

3
Эпилог
О романе

Аннотация

Это книга о человеке, неспособном чувствовать боль. Судьба приговорила его родиться в XVIII веке — веке разума и расчета, атеизма, казней и революций. Движимый жаждой успеха, Джеймс Дайер, главная фигура романа, достигает вершин карьеры, он великолепный хирург, но в силу своей особенности не способен сострадать пациентам…

Роман Эндрю Миллера стал заметным событием в литературной жизни Великобритании, а переведенный на многие языки планеты, сделался мировым бестселлером. Его заслуженно сравнивают со знаменитым «Парфюмером» Патрика Зюскинда.

Эндрю Миллер
Жажда боли

Моей семье

Получил ли от жизни ты все то, что хотел?
Получил.
Чего же хотел ты?
Зваться любимым и ощущать, что кем-то любим.
Реймонд Карвер

Глава первая
1772

1

Жарким августовским днем, обрамленным грозовыми тучами, трое мужчин пересекают конный двор неподалеку от деревни Кау в Девоне. Идут они в каком-то странном порядке: двое, что помоложе, точно герольды или стражи, важно шествуют впереди хозяина и будто тянут его за собой — одетого во все черное, с покрасневшим лицом — на вожжах невидимой упряжки. В руках один из гостей держит кожаный мешок, из коего, по мере их приближения к дверям конюшни, доносится приглушенное звяканье.

Дверь, чуть помедлив, открывает пожилой хозяин и отходит в сторону, пропуская вперед двух других. Медленно и осторожно ступая в окружающей темноте, все трое заходят внутрь. Конюшня чисто подметена. Запах лошадей и сена, кожи и навоза смешивается с ароматом жженой лаванды. Несмотря на жару, труп не издает неприятного запаха. Пастор задумывается: быть может, Мэри знает секрет сохранения плоти. В стародавние времена боги не давали зловонию осквернять тела павших героев, пока не завершались посвященные умершему состязания воинов

и не возжигались погребальные костры. Наверняка и по сю пору существуют какие-то способы. Мази, заклинания, особые молитвы. На табурете у стола сидит Мэри. При их появлении она встает — складная, приземистая фигурка, окруженная играющими, словно роскошные перья, тенями.

— Я говорил тебе, что мы придем, — обращается к ней пастор. — Эти джентльмены, — он указывает на своих более молодых спутников, — доктор Росс и доктор Берк. Господа, это Мэри.

Она смотрит мимо пастора, но не на Берка и не на Росса, а на мешок, что Росс держит в руке.

— Это доктора, — повторяет пастор совсем тихо. Ему хочется назвать ее «милочка», но хотя, судя по ее виду, она гораздо его моложе, пастору представляется, будто она неизмеримо старше, и даже не просто старше, а словно бы принадлежит иному веку, иному бытию — родня скалам и вековечным деревьям.

Мэри уходит — даже не тихо, а вовсе беззвучно. Глядя на Росса, Берк одними губами произносит: «Ведьма». Делая вид, что проверяют, застегнуты ли у них на жилетах пуговицы, доктора незаметно осеняют себя крестным знамением.

— Пора начинать, — говорит Берк, — иначе придется возвращаться домой в грозу. Ваше пре-

подобие, есть ли у вас лампа?

Лампу находят, ее принесли сюда вместе с телом. Пастор зажигает ее трутницей — тук-тук, стучит кремень о сталь — и передает Россу. Росс и Берк подходят к столу, на котором в шерстяной ночной рубашке до пят, вытянувшись, лежит Джеймс. Его волосы, что были почти совсем седыми, когда он впервые появился в доме священника, за последний год потемнели. Мэри вымыла их, напомадила, расчесала и завязала темной лентой. Он не похож на спящего.

— Великолепное тело, — говорит Берк. — Прекрасный образец.

Под скрещенными руками Джеймса лежит книга в потертом кожаном переплете. Выдернув ее, Берк смотрит на корешок, ухмыляется и передает пастору, который и без того уже понял: «Путешествия Гулливера». Всего-то неделю или две назад Джеймс взял ее почитать у него из кабинета. Кто положил ее сюда? Сэм? Мэри? Нужно будет отдать Сэму, если тот захочет. Должно же что-то остаться у мальчика на память.

Росс обнажает тело и бросает рубашку на пол. Достает из мешка и передает Берку нож, тот внимательно осматривает лезвие и удовлетворенно кивает. Положив руку на подбородок Джеймса,

Берк разрезает туловище от верха грудины до точки чуть выше лобковых волос. Затем делает разрез под ребрами, так что получается перевернутый крест, влажный, кроваво-красный. Он останавливается, чтобы вынуть из жилетного кармана футляр, и, моргая, водружает на нос очки. Что-то бормочет, приостановив дыхание, потом берет надрезанный кусок кожи и жира и начинает отделять его от мышц. С помощью ножа он пытается отслоить его от остальной плоти. Руки у него мускулистые, как у моряка. Росс держит над ним лампу. Коротенькой палкой, подобранной по дороге от дома к конюшне, он тычет Джеймсу в кишечник.

— Не желаете ли подойти поближе, ваше преподобие? С вашего места, думается мне, плохо видно.

Пастор делает несколько шаркающих шагов вперед. Берк внушает ему омерзение.

— Его преподобие более интересует невидимый обитатель дома, нежели сам дом, не правда ли? — вступает в разговор Росс.

— Именно так, сэр, — соглашается пастор Лестрейд.

— А теперь — сердце! — призывает Берк.

И доктора начинают раздирать грудь, распили-

вая ручной пилой ребра, и, орудуя скальпелем, продираются сквозь крупные сосуды. Они явно возбуждены и сияют, точно два белоснежных яйца. Скоро появится доклад, адресованный медицинским обществам и прочим просвещенным кругам: «Некоторые соображения… гм… касательно феномена покойного Дж. Дайера. Исследование… любопытного и замечательного… который до достижения им двадцати с чем-то… был нечувствителен… не ведал… абсолютно лишен всякого ощущения… чувства… представления о… боли. С доказательствами, иллюстрациями, экспонатами и прочим».

Пастор отворачивается и смотрит во двор — две птички клюют зернышки на навозной куче. Далее, в стене, у которой он выращивает турецкую гвоздику, видна зеленая дверь, ведущая в сад. Эта дверь ассоциируется у него с Джеймсом — он, бывало, выходил из нее и разглядывал груши или просто стоял во дворе, нахмурившись, словно не мог вспомнить, зачем пришел.

Звуки, подобные чавканью сапог по грязи, отвлекают пастора от воспоминаний. Росс достал и теперь держит в руках разорвавшуюся сердечную мышцу Джеймса Дайера. У него такой вид, думает пастор, словно он сейчас с удовольствием

бы ею полакомился, только вот немного неловко. Берк вытирает о тряпку руки и вынимает из кармана сложенную газету. Расправив газету на бедрах Джеймса, берет из рук Росса сердце и кладет на нее.

— Если вы не возражаете, ваше преподобие…

Берк заворачивает сердце и прячет в мешок.

— Не возражаю, сударь.

В сердце покойника нет ничего священного. Пусть себе копаются. И опять, в который уже раз, он вспоминает ту, другую, но в чем-то схожую картину, когда Мэри стояла над Джеймсом в их покоях на Миллионной, слегка повернув голову на звук дыхания пастора, недвижно застывшего в дверях рядом с молоденькой горничной. Затем, понимая, что он не захочет, не сможет вмешаться, Мэри перевела взгляд на Джеймса — спящего ли, одурманенного ли? — расстегнула ему рубашку и обнажила грудь. В комнате было темно, лишь одна свеча горела у окна. И все-таки пастору удалось кое-что разглядеть: рука Мэри словно резала Джеймса, не оставляя, однако, никакого следа, будто она сквозь тонкую пенку опускалась в молоко.

— Ваше преподобие?

— Сударь?

— Вы пропускаете интереснейшие вещи. Теперь желчный пузырь.

— Прошу меня извинить. Я… предался воспоминаниям. О докторе Дайере. Мы были вместе в России.

— Вы уже упоминали об этом, сэр. Причем не однажды. Подобные воспоминания вполне естественны, хотя и приводят к излишней чувствительности, чувствительность же — вещь, достойная восхищения в человеке вашего сана, однако недопустимая роскошь для людей нашего рода занятий. Вы должны смотреть на эти останки не как на вашего бывшего… не как на человека, которого вам некогда довелось знать, но как на исходный материал для освященного наукой философского исследования.

— Телесная оболочка, — подпевает Берку доктор Росс, отрыжка которого, что поразительно, содержит безошибочно узнаваемый среди прочих ароматов конюшни едкий запах портвейна и лука, — таящая в себе загадку.

Пастор внимательно смотрит на них. Оба доктора скинули сюртуки, засучили рукава и стоят с обагренными по локоть руками, точно герои какой-то абсурдной трагедии в духе Сенеки. Забрав у Берка нож, Росс обходит стол и приближается к

голове Джеймса, быстрым жестом делает надрез сзади, за волосами, и, прежде чем пастор догадывается о том, что сейчас случится, отдирает от черепной кости волосы вместе с кожей и кладет на лицо покойника эту непотребную кровавую массу. Горячая и кислая слюна наполняет горло Лестрейда. Он сглатывает и быстро выходит из конюшни, пересекает двор и через зеленую дверь попадает в сад. Дверь захлопывается.

Перед ним плавный подъем до самой кромки древнего леса. На просторе пасутся овцы, и какой-то мальчик идет в прохладной тени вдоль лесной опушки. Все это сейчас кажется пастору прекрасным обманом, хотя и вызывает чувство благодарности. Обман этот нужен ему точно так же, как маленькие разрисованные ширмы, которые, как рассказывают, держат итальянские священники перед глазами осужденных на казнь преступников, дабы скрыть от них приближающийся эшафот. Пастор никак не возьмет в толк, как умудрились эти двое, Берк и Росс, его одурачить, хотя они вроде бы внушали доверие, он был осведомлен об их высокой репутации и прочел рекомендательные письма. Да и самому ему стало любопытно — а что, если тело Джеймса приоткроет завесу тайны вокруг его

жизни. Ему представлялось, что вся процедура будет проведена бескровно и уважительно. На деле же получилось, что он отдал своего друга в руки мясников и безумцев. А если бы *она* увидела все это? Ведь она где-то в доме, бог ведает чем занимается — пастор никогда толком не знал, как она проводит время. А вот остальные слуги, хоть поначалу ее и боялись, теперь гордятся, что живут с ней под одной крышей. Она их лечит. Например, способна унять головную боль, надавив страждущему на лицо.

Заскрипели дверные петли. Пастор оборачивается. Под погодным камнем стоит Мэри и протягивает ему деревянный ящичек. Появление ее именно в эту минуту неприятно, как будто она прочла его мысли. А что того хуже, пастор замечает у себя на пальцах кровь. Поспешно спрятав руки за спину, он спрашивает:

— В чем дело? Что-нибудь случилось?

Мэри открывает замочек ящика и поднимает крышку. «Ах да, — припоминает пастор, — игрушка». Он хотел бы оставить ее себе. Ведь именно он и никто другой привез ее из Петербурга с остальными пожитками Джеймса, когда тот исчез. Погиб, решили они тогда.

— Возьми ее себе, Мэри.

Женщина глядит на него, медленно кивает, закрывает ящик и уходит назад в дом.

Доносится слабый звук пилы. Когда наконец он стихает, его преподобие возвращается в конюшню, моля Бога, чтобы все уже миновало, чтобы он мог отослать этих двоих восвояси. Он не пригласит их в дом. Пусть наберут ведро из бочки с дождевой водой и моются во дворе. А Джеймса пусть зашьют как подобает, вандалы! Киллик положит тело в гроб. А завтра в полдень его предадут земле. Наверное, Кларк уже копает могилу — у стены рядом с фруктовым садом Мейкина.

— Обнаружили что-нибудь, джентльмены? Хоть что-то? — Пастор пытается говорить высокомерно, но у него это плохо получается; он слишком раздражен.

Берк поднимает голову. Дюжина мух роится над ведром, стоящим в конце стола под раскуроченной головой Джеймса.

— Ничего, — отвечает Берк, — что я мог бы объяснить человеку, не сведущему в искусстве анатомии.

— Какая жара, да еще паразиты… Он ведь был с вами одной профессии. Надеюсь, вы уже закончили свое исследование?

— Не волнуйтесь понапрасну, ваше преподо-

бие, — говорит Берк. — Идите к себе. Близкие отношения с покойным действуют на вас угнетающе. Вам тяжело. Лучше бы вам пойти к себе, да-да… и принять легкое слабительное. К примеру, ревеня.

— Или плод колоцинта, — добавляет явно оживившийся Росс.

— Колоцинт хорош, — поддакивает Берк. — Или можно попробовать немного бересклета — euonymus atropurpureus, коли он есть у вас под рукой. Человеку вашего склада это никогда не повредит. Вы согласны со мной, доктор Росс?

— Превосходное очищающее средство, доктор Берк. Не сомневаюсь, что бедняга Дайер сам бы его порекомендовал.

— Мы сообщим вам о наших разысканиях.

Световой блик на очках Берка дрожит в воздухе злобным огоньком. Помедлив, пастор отвечает: «Я буду в кабинете» — и удаляется шаркающей походкой, почти не чувствуя стыда от навалившейся вдруг усталости.

2

Двор весь сияет: в лужицах, появившихся после грозы, отражаются звезды. Пастор закрывает дверь конюшни и пересекает двор. Там, в конюшне, Мэри осталась сидеть с Джеймсом. Перед уходом Берк и Росс более или менее подштопали тело, а пастор вместе с господином Килликом еще в сумерках уложили его в гроб и приколотили крышку. Киллик, добрый человек, помог отмыть и вычистить конюшню и разбросал вокруг свежую солому и пригоршни сушеной травы. Когда появилась Мэри, в конюшне уже можно было дышать, дневной кошмар отступил, оставив на столе лишь несколько коричневых, похожих на чайные, пятен, кои прикрыли тряпкою.

Утомленный, но впервые за этот день с легким сердцем, пастор бродит по саду. Сад у него небольшой, и хвастаться особенно нечем, однако мало что в своей жизни он любит так же сильно и беззаветно. Пожалуй, сестру Дидо, но только если она не мучает его своими требованиями заменить панельную обшивку на что-нибудь более современное и не читает ему мораль по поводу его платья и привычек, с удовольствием

сравнивая его с бедным деревенским викарием, открывшим питейное заведение.

Свою покровительницу леди Хэллам? Она постарела. Какой огромный у нее бюст и какая это, должно быть, тяжесть! Но по-прежнему милый нрав и светлый ум. Не зря им были сочинены все эти сонеты, не впустую пропали часы, проведенные над покрытым кляксами листом бумаги, когда он тщился соблюсти должный размер, подобрать рифму, не вовсе лишенную смысла. Полдюжины стихотворений, думается, неплохи, а всего-то их было написано сто или двести. Конечно, следует их сжечь на будущий год или года через два и уж тем более — случись что со здоровьем. Ему невыносима сама мысль, что их прочтут посторонние — толстый приходской священник из Кау, вздумавший фамильярничать с леди Х.

Он подходит к своему пруду, шлепает по воде ладонями, посылая рябь по поверхности, и ниточки света кругами расходятся к берегу. Чистые, бескровные создания. А если миссис Коул приготовит их по своему рецепту, то лучшего кушанья на золотом блюде не найти даже во дворце епископа. Вскорости надобно ожидать приглашения во дворец в Эксетере. Ему вежливо, но настойчиво

предложат удалить Мэри из дома. Пока Джеймс был жив, ее присутствие воспринималось как благодеяние по отношению к доктору. Но теперь присутствие такой женщины — такой странной женщины — в доме неженатого слуги церкви…

Наклонившись, пастор опускает пальцы в воду, с интересом разглядывая темный круг — отражение своей головы. В окне гостиной движется свет. Пастор встает и подходит поближе к дому. Шторы не опущены, и он видит, как Табита зажигает в канделябрах свечи. Большая, сильная, грузная девица, мужеподобная и некрасивая, правда с пышущим юностью и здоровьем лицом. Первый месяц пребывания в доме у пастора ее мучили ночные кошмары, она страдала недержанием мочи, тоскливо слонялась по дому с красными глазами, роняя рюмки, и была не в состоянии выполнить даже самые простые распоряжения. У пастора состоялся тяжелый разговор с экономкой миссис Коул, которая пригрозила уехать к сестре в Тонтон, если Табита останется в доме. «В Тонтон, ваше преподобие, в Тонтон», — повторила несколько раз миссис Коул, как будто этот город находился где-то далеко за Босфором. Но кошмары прошли, девушка научилась работать, а зимой даже спала вместе с миссис Коул в одной

кровати. Экономка прилеплялась к ее спине, как мох к теплому камню. Пастору подумалось, что он и сам бы не прочь так поспать.

Он вдыхает последнее дуновение ночного воздуха, входит в дом, задвигает засовы и проходит в гостиную. Табита с подносом в руках, на котором стоят рюмки на длинных ножках, вторые по качеству среди его посуды, вздрагивает, словно перед ней предстал сам Сатана, собирающийся откусить от нее кусочек повкуснее. Пастора раздражает это ее вечное вздрагивание. Секунду они смотрят друг на друга, но потом он вспоминает, как искренне она плакала, узнав о смерти Джеймса. Добрая душа.

— Идешь спать, Табита? — спрашивает он. — Устала?

— Ни оченно, сэр, но ежели вы хочите поссету[1] или чего еще. Мой дед завсегда пил перед сном поссет.

— Твой дед в добром здравии?

— Нет, сэр, — она радостно улыбается. — Однова упал в огонь и помер. А человек был веселый. Ну, раньше-то.

Воображение пастора рисует старика, охвачен-

[1] Примечания: 1

Поссет — горячий напиток из молока, сахара и пряностей, створоженный вином. — *Здесь и далее примеч. переводчика.*

ного пламенем, пару кривых ног, именно кривых, похожих на металлические щипчики для снятия верхушки яйца. Нечто с картины Босха.

— Я ничего пить не буду, дорогуша. Посижу немного. Может быть, почитаю.

Табита кланяется, пастор замечает ложбинку у нее на груди, снова нервничает из-за рюмок. Уже в дверях она спрашивает:

— А можно мне завтра на похороны? Пустите? Миссис Коул сказала, надо спроситься.

— Конечно. Я бы хотел тебя видеть. Тебе он нравился?

— Боже правый, сэр. Я уже вся соскучившись. А вы, сэр?

— И я тоже. Очень.

— Уж так-то соскучившись. — Она останавливается и облизывает губы. — Я хотела кой-чего спросить у вас, да только миссис Коул не велела.

— Ну спроси, я разрешаю.

— Так это, что ли, чудо было, когда доктор Джеймс… ну, доктор Дайер, когда он спас того негра?

— Боюсь, Табита, в наш век чудес не бывает.

Она разевает рот, как будто пастор сказал что-то чрезвычайно важное, потрясшее ее до глубины души.

— Что ж такое это было, коли не чудо?

— Врачебное искусство.

— А тот зовет себя таперича Лазарем, сэр, я про черного-то.

— А как он звался раньше?

— Удивительный Джон.

— Это мне больше нравится.

Оставшись один, пастор стягивает парик и энергично чешет затылок. Мотылек, который, как вспоминается пастору, залетел сюда вчера вечером, порхает вокруг свечи и садится на зеркало. Крылышки у него окрашены как древесное волокно, и на каждом по пятнышку, похожему на глазок. Хитра мать-природа.

Из застекленного шкафчика его преподобие достает графин и рюмку, наливает припрятанный коньячок и осушает рюмку одним глотком. Поставив ее на каминную полку, берет оттуда свечку и выходит в коридор, прикрывая пламя рукой. Его кабинет, небольшая, тесно уставленная мебелью комната, выходит окнами на другую сторону, в ней витают запахи чернил, сладкого табака и книг. Свечку он помещает на край своей конторки, или, как ее называет Дидо, «экритуара». Там полно бумаг. Письма, частные и деловые, и счета: колесному мастеру — фунт и восемнадцать

шиллингов; за присланные из Лондона серебряные ложки — десять фунтов — чудовищная сумма! Это расходы, а что до доходов, то тут лишь расписка на десять шиллингов и шесть пенсов от приходского казначея за венчание арестанта и беременной женщины. Здесь же вперемешку заметки для будущей проповеди, три гусиных пера, поднос с песком, лезвие и закупоренная бутылочка чернил.

Он поднимает свечку и освещает ряды книг, задерживаясь возле своих любимцев и ласково поглаживая корешки. Потрепанный Гомер, сохранившийся еще со времен учебы в школе латинской грамматики, изданные Колье труды Марка Аврелия, принадлежавшие отцу пастора. «Путешествие паломника» с иллюстрациями, купленное на Бау-лейн во время первой поездки в Лондон. Соблазнительно двусмысленный Овидий, подаренный университетским приятелем, повесившимся на другой год. В жестком черном кожаном переплете двухтомник Мильтона, еще один подарок, на этот раз от леди Хэллам по случаю назначения пастора в здешний приход, ценимый им более за прелестные завитки написанного ею посвящения, нежели за стихи поэта. Вольтеров «Кандид», сразу же напомнивший пас-

тору смуглое умное личико месье Абу. Филдинг, Дефо. Почти не читаный фолиант «Весь долг человеческий» Аллестри.[2] Проповеди Тиллотсона.[3]

Отвернувшись, пастор открывает стоящий рядом с конторкой сундук, достает оттуда холщовый мешок, сует его под мышку и спешит назад в гостиную под содрогающийся бой часов — десять. Поставив мешок, снимает сюртук и бросает его на кресло. Оборотясь спиной к каминной решетке, он, как всегда, оказывается лицом к лицу со своим отцом, преподобным Джоном Лестрейдом из Луна в Ланкашире. Портрет весьма посредственный — сияющий плоский овал лица на коричневом лакированном фоне, точно лунное отражение в грязном пруду. Они обмениваются обычным вечерним приветствием.

Пастор силится вспомнить, что известно ему об отце Джеймса. Фермер, это он знает почти наверное, но вот крупный или мелкий — не помнит. О матери же сведений и того меньше. Как-то раз проскользнул слабый намек на то, что она умерла молодой. Что таится за подобной скрытностью?

---

[2] Примечания: 2

Аллестри, Ричард (1619–1681) — английский богослов, проповедник и философ, автор религиозных трактатов.

[3] Примечания: 3

Тиллотсон, Джон (1630–1694) — английский богослов.

Уклончивость человека, добившегося всего своими силами? Некое сомнение, едва уловимый вопрос, касающийся его истинного прародителя? Ох, сколько вопросов хотел бы он задать тому бедняге, что сейчас лежит в конюшне с раскроенным черепом! Многое должна знать Мэри. Пастор давно уже хотел разобраться с петербургскими вещами Джеймса. Быть может, остальное как-нибудь и откроется.

Пастор немного облегчает желудок, выпустив в камин газы. И тут же ему хочется продолжить. Чем он и решает заняться, порядочно насладившись переживаемыми ощущениями: придвигает ночной горшок в закрывающемся стульчаке, достойнейший предмет меблировки, основательный, как церковная кафедра, и устанавливает его так, чтобы свет падал сзади. Широким жестом снимает штаны, поднимает обитую тканью крышку и усаживается на деревянный стульчак в форме литеры «О». Теперь надобно взяться за разбор холщового мешка, а потому пастор наклоняется вперед и подтаскивает его поближе. Мешок перевязан длинным шнурком. Развязав его, пастор просовывает внутрь руку. Первое, что он нашаривает, это другой мешок, поменьше, тоже из промасленной холстины, скрученный,

как небольшое бревнышко. Пастор вытаскивает его и раскладывает на своих безволосых бедрах.

Мешок развязан и раскрыт. Сложенные в нем инструменты при свете свечи как будто проснулись от спячки. Скальпели, ножницы, ручная пила, иглы и другие предметы, о названии и назначении которых пастор может только догадываться и которые, похоже, были созданы с единственным намерением вселять ужас в несчастных пациентов. Пастор берет самый длинный скальпель, заточенный с обеих сторон и все еще очень острый. Да, это тот самый скальпель, которым Джеймс оперировал несчастного форейтора; не случись рядом Джеймса с его твердой рукой, форейтора пришлось бы похоронить в монастыре. А вот и изогнутое зеркало, величиной не более детской ладошки. Впервые пастор увидел его вечером того дня, когда они добрались до монастыря, и Джеймс, прикрепив зеркало к свечке, смотрел в него, зашивая рану на собственной голове. С тех самых пор инструментами этими никто не пользовался, хотя, когда Джеймс оказался в доме у пастора и вновь обрел свое «я», тот предложил вернуть ему их. Но Джеймс не захотел.

Его преподобие аккуратно сворачивает ме-

шочек и кладет на пол. Вновь запускает руку в большой мешок и достает связку документов, волей-неволей быстро припрятанных в последний раз, когда он их разбирал. Что уж греха таить, он копался в мешке не однажды, но со смертью Джеймса его содержимое обрело некую особую значимость. Завтра, когда покойника предадут земле, все эти предметы превратятся в немногочисленные свидетельства того, что Джеймс действительно жил на этом свете. Бумаги, которые пастор сейчас рассматривает, поднося к самому носу — очки остались в кармане кафтана, а ему очень не хочется прерывать непростой процесс дефекации, — представляют собою различные удостоверения, по большей части, а может, и все без исключения, фальшивые.

Первый и самый красивый сертификат — парижский, из отеля «Дьё». Снабжен тремя черными печатями, лентой в пол-ярда и замысловатой подписью, не поддающейся расшифровке. Его преподобие вполне уверен, что во Франции Джеймс никогда не учился. Другой, внушающий больше доверия, — из больницы Святого Георгия в Лондоне; в нем значится, что Джеймс Дайер

изучал анатомию и materia medica.[4] Третий выдан Обществом корабельных врачей и удостоверяет, что Джеймс может служить помощником корабельного врача на кораблях шестого ранга флота его величества. Датировано 1756 годом. Джеймс был тогда совсем юнцом. Есть еще одна вещица, относящаяся к тому же времени. Ее-то сейчас и достает из мешка пастор — табакерка с крышкой из слоновой кости и надписью в основании: «Манроу. Корабль его величества „Аквилон“». Пастор открывает табакерку и принюхивается. И хотя столько долгих лет она была пуста, в ней до сих пор сохранился резкий запах, который, поднимаясь, доходит через нос до мозга его преподобия и оказывает на него такое стимулирующее воздействие, что в тени у окна ему тут же начинает мерещиться фигура Манроу, с виду такого нерешительного, словно вызванного медиумом на спиритическом сеансе.

Пастор захлопывает табакерку, бросает ее в мешок и тихонько испускает газы в эмалированную посудину. Еще один документ, не удостоверение, а рекомендация, весьма примечательная, ибо здесь подпись разборчива — Джон Хантер,

---

[4] Примечания: 4
Медицинскую науку *(лат.)*.

настоящий Александр Великий среди хирургов, который полагает, что Джеймс *«много преуспел в лечении открытых и закрытых переломов, а также ушибов и владеет искусством ампутации и наложения повязок»*. Это звучит примерно так, думает пастор, как ежели бы архиепископ Йоркский написал, что я отличаюсь особенным благочестием и являюсь примерным поводырем своей паствы.

Последнее свидетельство, писанное по-французски на великолепной веленевой бумаге, хотя и изрядно помятой. Аккуратный ровный почерк с изысканными завитушками на буквах «F» и «Y», работа секретаря русского посольства. Подписано послом и украшено печатью с императорскими орлами. Охранная грамота Джеймса, в которой он именуется «Un membre distingué de la fraternité de médecine anglaise».[5]

В мешке осталась лишь одна маленькая книжечка. Он так много рассчитывал узнать, когда увидел ее впервые, да и теперь соблазн чрезвычайно велик. Нет сомнений, что это своего рода дневник, что же еще? Но вся книжка исписана каким-то шифром или стенографическими

---

[5] Примечания: 5
Выдающийся член братства английских врачей *(фр.)*.

знаками, и пастор, несмотря на неоднократные попытки, так и не смог ничего разобрать. Даже рисунки не поддаются разгадке; невозможно понять, что это — схемы или наглядные иллюстрации хирургических операций, а может, и вовсе чепуха, линии, не имеющие ни малейшего смысла. Лишь одно понятное слово стоит на самой последней странице — Лиза. Давняя любовь? Да и была ли у Джеймса вообще давняя любовь? Лиза. Этому тоже суждено остаться тайной. В полудреме пастор размышляет, не окажется ли и его жизнь такой же книгой, написанной на языке, который потом никто не сможет понять. Кто будет сидеть у огня и разгадывать ее, думает он.

Процесс опорожнения приостановился. Несмотря на громкие предвестники удачного исхода, горшок пуст. Затраченные усилия утомительны, к тому же ему следует поостеречься излишнего напряжения. Негоже кончить свою жизнь подобно никем не оплакиваемому Георгу Второму. Сон подступает, и пастор закрывает глаза. Словно в табачном дыму, перед ним возникают лица Берка и Росса. А следом и других — Мэри, Табиты, Дидо, но не Джеймса. Часы отмеряют движение ночи. «Что же я скажу завтра, — думает пастор. — Что же скажу? Что скажу?..»

Из разжатых пальцев с гладкой неровной поверхности его бедер падают на пол бумаги Джеймса Дайера. Мотылек обжигает крылья, пастор храпит. Из конюшни, достаточно громко, так что слышно через открытое окно в комнате Дидо, которая стоит, обливаясь слезами, доносится пение, хрипловатое и монотонное, на неизвестном чужеземном наречии, полное беспросветной тоски.

Глава вторая
1771

1

Трижды в год преподобный Лестрейд и его сестра делают себе кровопускание. Это своего рода ритуал, вроде копания клубничных грядок в октябре или с каждым разом все более утомительных поездок в Бат в мае, которые придают году законченность и определенность и при отсутствии которых неизбежно возникает ощущение некоей неудовлетворенности. «Кровопускание, — любил говаривать отец пастора, а теперь, в свою очередь, любит объявлять и он сам, скорее ради удовольствия повторять слова отца, нежели побуждаемый искренним убеждением, — очень полезно мужчинам и лошадям. Также оно полезно практичным и сухопарым женщинам».

Обычно эту процедуру производит доктор Торн, человек вполне компетентный. Но на этот раз приехать он не сможет, поскольку недавно упал с лошади, угодившей ногой в заячью нору.

— Почему бы не обратиться к Джеймсу Дайеру? — спрашивает Дидо, закрыв книгу и протягивая руки к вечернему камельку.

Его преподобие постукивает о зубы черенком своей трубки.

— Нет, сестрица, думаю, это не лучший совет.

— Полагаю, ему уже приходилось видеть кровь.

— Конечно, — отвечает пастор. — Может быть, даже слишком много крови.

— Ну, если Торн не может приехать, а доктора Дайера ты попросить боишься, хоть он и пользуется нашим гостеприимством, я сама отворю себе вену. А если не смогу, то попрошу Табиту.

С деланным простодушием пастор спрашивает:

— Неужели доктор Дайер злоупотребил твоим гостеприимством, сестрица?

— Вовсе нет. Не злоупотребил. Ты, как всегда, неправильно меня понимаешь, Джулиус. Это так досадно! Мне потому и приходится делать кровопускание, что ты постоянно меня изводишь.

— Как же я извожу тебя, сестрица?

— Ты противоречишь любому моему желанию.

— Например, купить ложки?

— Ох, какая нелепость, ложки! Да, ложки. А теперь еще и это.

— Ты могла бы и сама его попросить.

— Могла бы. А еще могла бы прогуляться до кабака Сэкстона и опорожнить там бутылочку

рома, — с этими словами Дидо встает, и платье ее шелестит, будто живое существо. — Доброй ночи, братец.

— И тебе доброй ночи, сестрица.

С высоко поднятой головой она выходит из гостиной. Уже добрых двадцать лет, думает пастор, он не может взять над нею верх в споре.

Луна в последней четверти, появляется на небе в десять часов и тридцать минут. Его преподобие спит и видит во сне свой сад, потом просыпается, надевает платье, молится, стоя на коленях у окна и широко открытыми глазами глядя на золотой диск ноябрьского утра. На завтрак грудинка с капустой, горячий пунш, затем в кабинете трубка американского табака из Вирджинии, размышления над воскресной проповедью. Слышится лай собак. Звук этот задевает пастора за живое, как звон колоколов. Он открывает окно и выглядывает из кабинета на улицу. Там он видит Джорджа Пейса, своего слугу, со сворой собак, и мистера Астика, приехавшего из Тотлея, — обоих в предвкушении утренней охоты. Астик, прихлебывая из фляги, беседует с Пейсом.

— Здравствуйте, Астик. Давненько не было столь великолепного утра, правда?

— Такие утра, должно быть, ждут нас на небе-

сах, верно, ваше преподобие?

— Тут никаких сомнений. Собаки наготове, Джордж?

— Вон как радуются. Ничего, сейчас угомонятся.

Шерсть у собак лоснится, они вертятся на месте, тихонько покусывая друг друга за горло. Пастора охватывает ощущение счастья, он мнит себя двадцатилетним.

— Мне нужно кое-что сказать доктору. А потом я в вашем распоряжении.

Джеймса он находит у него комнате, тот одевается.

— Прошу меня извинить за внезапное вторжение в столь ранний час.

— Я слышал лай, — отвечает Джеймс. — Собаки так и рвутся.

— Они прямо-таки созданы для такого утра. Впрочем, я явился к вам с поручением: хочу просить вас об одном одолжении. Вы ведь знаете, у нас заведено, что доктор Торн отворяет нам кровь в день ужина церковной десятины; так вот, бедняга упал с лошади, ушиб голову и приехать не может. Моя просьба сводится к следующему: не обяжете ли вы нас? Что до меня касается, то я мог бы и пропустить, но моя сестрица… — сле-

дует пауза.

Джеймс молча застегивает пуговицы у колен на своих бриджах. Под окном внизу заливаются лаем собаки. Пастор чувствует неловкость и пятится к двери со словами:

— Впрочем, это все пустое… пустое.

— Нет, отчего же, — говорит Джеймс. — Мы не можем расстраивать вашу сестру. — И они обмениваются улыбками. — Желаю удачной охоты.

— Не хотите ли присоединиться?

— Из меня никудышный охотник, к тому же я испытываю безотчетную нежность к зайцам. Да и нога моя, — он хлопает себя по колену, — станет вам помехой.

— В таком случае как вам будет угодно. Увидимся за обедом.

Пастор торопится, бежит вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Из своей комнаты Джеймс слышит, как охотники трогаются, собаки заливаются лаем, рвутся вверх, к небу, натягивая поводки, и постепенно весь этот шум стихает вдали.

Он умывается в тазу с ледяной водой, приглаживает волосы и рассматривает свои руки. Один шрамик на левой ладони превратился в небольшой красный прыщ, из которого сочится

жидкость. Что до других шрамов — по пятнадцать или двадцать на каждой руке, — то, в общем-то, жаловаться не приходится, разве только на постоянный утомительный зуд. Впрочем, ничего особенно неприятного.

Он берет бритву, поднимает ее и рассматривает лезвие. Поначалу кончик бритвы заметно дрожит в руке, но потом его движения становятся спокойными и размеренными. Джеймс бреется перед маленьким покосившимся зеркальцем. Отросшая бородка у него темнее, чем волосы, в ней больше жизненной силы, словно она растет из более здоровой части его организма, той, что соответствует его возрасту — тридцати двум годам, — являя собой контраст измученному, напоминающему маску лицу и седым волосам на голове. Джеймс улыбается собственному отражению. Первый по-настоящему весенний день в самый разгар зимы. Кто скажет, что мне никогда не стать вновь совершенно здоровым?

Он натягивает перчатки из мягкой собачьей кожи и в поисках чего-нибудь съестного заходит на кухню, где миссис Коул, Табита, Мэри и еще одна девушка по имени Уинифред Дейд заняты приготовлением ужина.

— Боже правый, кто к нам пожаловал! — вос-

клицает миссис Коул при виде Джеймса. Она отрывается от приготовления пирога и достает из кладовки холодное мясо. — Не желаете ли свеженьких яиц, доктор? Их Уинни из дома принесла.

— Немного фальшивой гусятины и кусок хлеба будут настоящим пиршеством. Благодарю вас, миссис Коул. Доброе утро, Табита, Уинни, Мэри.

Девушки, раскрасневшиеся от жара плиты, переглядываются с глуповатым видом, закусывая губу. Но Джеймс этого не видит. Он смотрит на Мэри, которая сидит за большим столом и режет лук.

— Ты от лука не плачешь? — спрашивает он, в отличие от прочих даже не пытаясь передать знаками смысл сказанного. Ему ни разу не доводилось слышать, чтобы она говорила по-английски, но Джеймс знает, что она понимает его прекрасно — и когда он говорит, и когда молчит. На этот раз она отвечает ему, отрезав два жемчужных кружочка, аккуратно подцепив их ножом и положив к мясу в его тарелку. Джеймс тихо благодарит.

Довольный, он ест среди суеты хлопочущих на кухне женщин. Если сидеть тихо, о нем забудут и он сможет наблюдать за их женским мирком,

словно и он такая же женщина, как они. В душе пробуждаются далекие, но яркие воспоминания о матери и сестрах, о служанке, певшей бессмысленные песенки, чье имя никак не приходит на ум. Он наслаждается их искусством. Какие великолепные хирурги могли бы из них получиться! А из него — из него, быть может, вышел бы сносный повар? Хочется спросить, нельзя ли к ним присоединиться, резать овощи или месить сладкое тесто для пудинга, да только им это помешает, девушки не смогут сосредоточиться.

Позавтракав, он незаметно выходит из кухни с чайником теплой воды и отправляется в сад. Останавливается, прислушиваясь к звукам охоты, и, похоже, слышит слабое эхо яростного собачьего лая. Рядом с домом пастора расположена теплица. Она так мала, что в ней даже нельзя встать во весь рост. Вокруг полно горшков и кадок. Струится аромат герани. Для своих опытов Джеймс отделил здесь небольшой уголок и теперь с радостью отмечает, что конопля, почва вокруг которой укрыта соломой, не замерзла в холодные ночи. Он рассматривает губки на дощатой полке, снимает с них маленькие ниточки паутины, берет одну и кладет в карман. Губки — его особая радость, несомненный успех в изу-

чении анальгетиков, хотя один Господь знает, как далеко еще до совершенства. Все началось полгода назад, когда было послано письмо Джеку Казотту в Дувр. Имя этого человека вдруг всплыло в памяти совершенно случайно — когда-то Джеймс имел с ним дело, занимаясь врачебной практикой в Бате. Три недели спустя прибыл первый плотно упакованный ароматный пакет, за ним последовали другие, содержащие травы, семена и прочие лекарственные составляющие, включая также рекомендации Казотта и страницы, переписанные его ровным почерком из ученых книг, которых Джеймс не мог бы достать в деревне. Например, у Плиния Джеймс вычитал о свойствах корня мандрагоры, как его можно настоять в вине и как в стародавние времена его нередко использовали — милосердно или цинично, — дабы облегчить страдания арестантов во время пыток. Из уксуса и абиссинской мирры, горя странным возбуждением, он приготовил снадобье, которое было предложено Христу на Голгофе — предложено и отвергнуто. В древнем манускрипте времен конквистадоров был записан рецепт приготовления лекарственных губок: каждую губку следует погрузить в заваренный опиум, свежую вытяжку из белены, незрелую

ежевику, семя салата-латука, сок болиголова, мандрагоры и плюща. После того как губки впитают эту ценную субстанцию, их высушивают на солнце, а затем перед использованием вновь погружают в воду.

Никто, кроме Мэри, не понимает сути его экспериментов. Она догадалась по запаху — однажды вечером вошла к нему в комнату, понюхала воздух и слегка приподняла брови, словно говоря: «И это все, чему ты научился?» Пастор с сестрой тоже изнывают от любопытства, но лишних вопросов не задают. И Джеймс им за это благодарен.

Из теплицы он идет в сарай. Там двери открыты. На бревне сидит Урбан Дэвис и жует головку сыра. Он только что молотил овес, и в воздухе стоит пыль от мякины.

— Доброе утро, Дэвис.

— Доброе утро, мистер Дайер. — Приветственным жестом Дэвис поднимает сыр.

— Надеюсь, ты не испугал Сисси своей молотьбой.

— Не-е. Только сейчас глядел на нее. Лежит себе преспокойненько.

— Вот и хорошо. Пойду ее навещу.

— Сисси! Сисси!

В конце прохода в темном уютном и сухом ме-

стечке под балками крыши примерно на уровне человеческого роста заметно какое-то шевеление, а затем раздается и тоненькое мяуканье, встревоженное, но в то же время просящее. Божья тварь привыкла к нему, узнает его поступь и, так или иначе, убежать от него теперь уже не может.

Ее нашли на второй неделе сентября, эту рыжую кошку. Она дышала часто и тяжело, укрывшись в некоем подобии гнездышка, которое сама для себя соорудила внутри посаженного пастором куста жимолости. Первым ее обнаружил Сэм и рассказал Джеймсу, который пролежал у куста в траве, пока у него не онемела рука, разговаривая с ней sotto voce,[6] а кошка пристально и удивленно на него глядела. Это была кошка с фермы, усталая, старая, умевшая за себя постоять и к ласке не приученная. Терпением и принесенными с кухни подачками Джеймс втерся к ней в доверие. И спустя три дня смог взять ее на руки, на удивление легкую, точно какая-то маленькая кошечка влезла в шкуру большой. Джеймс отнес ее в сарай, уложил в коробку с тряпками и соломой и осмотрел при свете фонаря. Обследование выявило опухоль повыше печени. Старая кошка

---

[6] Примечания: 6
Вполголоса *(ит.).*

умирала в мучениях.

Что было делать? Оставалось три пути: не мешать ей умирать, убить или лечить. Приемлемыми ему показались лишь два последних. Ведь он уже вмешался в существование несчастного создания, а вмешавшись, возложил на себя ответственность, которая не позволяла махнуть на кошку рукой. Что до убийства, то быстрая смерть, несомненно, была бы для нее облегчением, а Джордж Пейс ловко умеет убивать животных, не мучась угрызениями совести. Сильный и точный удар — дело для него самое обыкновенное.

И все-таки отчего жизнь кошки должна быть менее ценной, чем жизнь человеческая? Ценной даже в болезни, даже in extremis,[7] нет, как раз тогда-то еще более ценной. А ежели боль можно ослабить, заметно ослабить, ежели он обладает спасительным средством, не будет ли это наилучшим исходом? Не назначено ли ему так поступить? Но может, это существо есть лишь невольный объект его опытов? Последняя мысль ему явно не по душе. Лучше об этом не думать.

Вынув из кармана губку, он отрывает от нее кусочек и макает в теплую воду из чайника. «Ну-ну,

---

[7] Примечания: 7
Под конец *(лат.)*.

Сисси, на, возьми, ты же это любишь». Страдания научили животное, что надо делать, и, когда разбухшая губка оказывается у ее мордочки, кошка начинает нюхать ее и жевать, втирая влагу в чувствительную кожу ноздрей и десен, — смехотворные, жалкие движения. Опухоль гложет кошку изнутри, и доза каждый день увеличивается. Всякий раз, приходя в сарай, Джеймс ожидает, что найдет ее мертвой. Ему кажется, что она заставляет себя жить, чтобы вновь и вновь принимать наркотик. Он гладит потускневшую шерстку и следит за тем, как кошка погружается в состояние безмятежной имбецильности.

Внизу Урбан Дэвис вновь принялся за молотьбу, слышатся его размеренные удары под бормочущие звуки церковного гимна. Что это он поет? «Приди, о ты, паломник неизвестный». Джеймс собирает вещи, спускается по приставной лесенке и прикладывает перчатку к лицу, чтобы не вдыхать пыль.

2

Пастор, его сестра, мистер Астик и Джеймс обедают за столом в гостиной, куда сегодня вечером приглашены фермеры-джентльмены. Остальных, попроще, согласно обычаю, будут угощать на кухне. Большую столовую, не использовавшуюся с Михайлова дня,[8] зимой приходится протапливать двое суток, чтобы она как следует прогрелась, к тому же она чрезмерно велика для одной компании и чересчур изысканна для другой.

— Еще кусочек этого славного жирного барашка, мистер Астик? — Его преподобие в восторге от утренней охоты, принесшей в качестве трофеев двух крупных зайцев. Джеймс видел в кухне их истерзанные тушки.

— Нелл — это та серебристая сука, доктор, — ни дать ни взять настоящий леопард. Прямо бешеная. Еле-еле домой дотащилась — трясется вся и язык на плече.

— Позвольте наполнить ваш бокал, доктор, — говорит сидящая рядом с Джеймсом Дидо.

---

[8] Примечания: 8
29 сентября.

— Смотри, Дидо, не напои доктора, — предупреждает пастор, которому слегка ударил в голову предобеденный пунш. — Ему сегодня предстоит нас резать.

— Я думаю, доктор, — вступает в разговор мистер Астик, — врачи, как и пациенты, сами не прочь выпить перед операцией. Ибо мужество требуется и тем и другим.

— Мне подобные случаи известны, — говорит Джеймс, ковыряя мясо в тарелке.

— Но доктор Дайер таким никогда не был, — замечает его преподобие.

— Я хотел сказать, — продолжает мистер Астик, — что храбрость нужна не только тому, кого оперируют, но и тому, кто оперирует. Разве не так?

— Я был свидетелем, — отвечает Джеймс, — как одного очень почитаемого хирурга в известной больнице стошнило перед входом в операционную. Я видел, как врач с годовым доходом в тысячу фунтов сбежал посреди операции.

— Прошу вас, джентльмены, — говорит Дидо, постукивая вилкой по столу, — нас еще ждет пудинг.

— Совершенно справедливо, дорогая, — подхватывает пастор, — я мечтаю о пудинге миссис

Коул с самого завтрака. Ха-ха-ха!

— Ты зубами выроешь себе могилу, братец.

— Раз уж ты ничего не ешь, сестрица, мне приходится есть за двоих. Когда вы сможете заняться нами, доктор?

— Когда вам будет удобно.

— В таком случае я сначала обчищу вас в «мушку», а уж потом вы отыграетесь на мне по-своему.

Над шуткой пастора смеется даже Дидо. Странным нервическим смехом.

3

Джеймс сидит в гостиной и читает, когда за ним присылают Табиту. Он уже четыре или пять раз прочел один и тот же пассаж из «Родерика Рэндома» — о том, как Родерик обхаживает престарелую мисс Спаркл, — но не воспринимает ни комичности, ни жестокости этой сцены. Даже теперь, когда все уже решено, он пытается придумать какую-нибудь отговорку, прислушиваясь к стуку тяжелых шагов пастора у себя над головой. На ломберном столике у камина рядом с картами его последней проигранной партии лежит аккуратный черепаховый футляр с ланцетами. Это футляр пастора, а раньше он принадлежал его отцу. Что сталось с футляром Джеймса — неизвестно. Должно быть, нашел себе место в чужом кармане.

В гостиную входит Табита:

— Мисс Лестрейд просит вас к ней подняться.

— Мисс Лестрейд?

— В ёёную комнату, сэр, — и Табита неопределенным жестом показывает наверх.

— Что это у тебя там? — спрашивает он.

Табита подходит и передает ему фаянсовую

миску:

— Пастор велел передать.

— Спасибо, Табита.

Взяв миску и черепаховый футляр, Джеймс поднимается по лестнице. Потом поворачивает налево, останавливается и легонько стучит в первую дверь с правой стороны.

За столом у окна сидит Дидо Лестрейд. После обеда она переоделась, и теперь на ней шлафрок бледно-лимонного цвета и белая, подбитая ватой нижняя юбка. Лицо ее озарено дневным светом, какой предпочитают художники. Кажется, мы с ней почти одногодки, думает Джеймс. У нее милые глаза, очень добрые, но как безбожно она выщипала себе брови!

Джеймс никогда не переступал порог ее комнаты. И он понимает, что его специально пригласили посмотреть и выразить восхищение. Оглядевшись, он замечает лондонский фарфор, веера из павлиньих перьев, ширму с вышивкой petit-point,[9] лакированный комод, над кроватью балдахин из индийского хлопка, украшенный изображением древа жизни. Бесконечные оборки и всяческие безделушки. И все это в комнате,

---

[9] Примечания: 9

Вышивка мелкими стежками *(фр.)*.

которая даже старше местной церкви и расположена в доме, более пригодном для массивной и грубой мебели, для предметов, от которых веет временем и могилой, то есть для всего того, что стоит в остальных комнатах. Таков протест Дидо, ее осторожный мятеж. В самом сердце северного Девона — будуар Бата. В этом есть что-то трогательное, и Джеймсу хочется как-нибудь невзначай утешить ее. Он чувствует, что есть какие-то особые слова, подходящие для ситуации такого рода, которые бы с точностью передали его чувства, но ему их никак не найти. И голосом более грубым, чем хотелось бы, он спрашивает:

— Вы приготовили материю, чтобы наложить повязку?

Она приготовила. На столе лежит шелковый шарф яркой расцветки. У Дидо короткий рукав, но Джеймс заворачивает его еще выше, чтобы перевязать руку. Он физически ощущает такую близость к Дидо, какой раньше никогда не испытывал. Чувствует ее запах, фактуру кожи. Его трогают белизна и голубые прожилки на сгибе локтя.

— Не слишком ли туго? — спрашивает он.

Дидо, отвернувшись, качает головой. Из жилетного кармана Джеймс вынимает футляр,

открывает крышку, выбирает одно из маленьких лезвий, достает его, роняет, шарит по турецкому ковру, находит, откашливается, берет Дидо за руку — такую холодную в его руке, — находит вену, прокалывает ее, подставляет миску и смотрит, как льется кровь. Собрав на глаз граммов сто пятьдесят, Джеймс зажимает большим пальцем ранку, развязывает шарф, вздыхает. Хлопковый шарик используется как тампон. Дидо сгибает руку и держит ее на груди, как цветы или больную зверушку.

— Но доктор Торн выпускает в два раза больше, — говорит она, глядя в миску.

— Кровь гораздо полезнее, если она внутри.

— Мой батюшка считал кровопускание благом для практичных женщин.

— А ваша матушка была практичной?

— Это подразумевалось. Как и в случае со мной.

— Я никогда не считал вас практичной, — говорит Джеймс почти совершенно искренне.

— Я знаю.

— Как вы себя чувствуете?

— Очень хорошо, спасибо.

— Если понадоблюсь, я буду у вашего брата.

Пастор смотрит в окно — перед ним сад, под-

нимающиеся вверх поля, лес. Он приветствует Джеймса, не поворачивая головы. Неожиданно после утренней охоты и веселья на него напала тоска. Там, с собаками, на какой-то час он почувствовал, что вернулся в свои юные годы, что его тело, сильное и крепкое, отрадно повинуется ему во всем, и даже охваченный охотничьим азартом, его разум сохраняет приятную холодность, ясность, каковую он тщетно стремился обрести в иных обстоятельствах… Да… следует благодарить Создателя за этот единственный час.

Однажды в порыве откровенности пастор признался Джеймсу, что сочиняет стихи, но даже весь портвейн в подлунном мире не сподобил бы его на признание, что это за стихи и уж тем более кому они адресованы. Слегка тронутый меланхолическим видом его преподобия, Джеймс решился спросить, не сочинительством ли он занят, на что получает торопливый и смущенный ответ:

— Нет-нет, что вы. Совсем нет. Я теряю свою музу, как теряю волосы, зубы, здоровье. Нет, я размышлял… не засеять ли то небольшое поле пшеницей и репой. Что вы об этом думаете? По-моему, вы как-то раз говорили, что выросли в деревне. Конечно, вы так говорили.

— Но я не изучал земледелие. О репе я могу сказать только одно — я предпочел бы ее в тушеном виде, если бы стал есть вообще.

— Жаль, я многого не знаю, — говорит пастор, — касательно того, что следует сажать. Мне бы хотелось подать пример. Знаете ли, эти фермеры за моей спиной смеются надо мною. Погодите, они и сегодня вечером станут скалить зубы. Вы ужинаете в гостиной?

— Думаю, лучше я буду изображать кухонного короля. В прошлом году на кухне хорошо пели.

— Как пожелаете.

Это, конечно, затем, чтобы остаться с Мэри. Была бы честь предложена. Как жаль, усмехаясь, думает пастор, что Джеймс не проявляет большего интереса к Дидо. Забавной они были бы парой, но эта чужеземка крепко его держит, что-то очень сокровенное привязывает их друг к другу. Правда, он никогда не видел, чтоб хотя бы их руки соприкасались. Есть ли между ними физическая близость?

Пастор заглядывает в миску:

— Так, я вижу, вы уже отворили ей кровь. Моей сестрице.

— Я собирался вылить, — говорит Джеймс, покраснев. — Как это я запамятовал! Прошу про-

щения.

— Успокойтесь, доктор. В конце концов, это то же самое вещество, что дает жизнь и мне, хотя мой-то бульон покрепче. А теперь, сэр, я буду вам очень признателен, если вы отворите сосуд вот здесь, — и пастор стучит пальцем у правого виска. — Торн так уже делал, и я полагаю, что получу большое облегчение.

Джеймс смотрит на пастора, пытаясь уразуметь, сколь серьезны его слова.

— Кровь, — говорит он, — циркулирует по всему организму — забрать ее в одном месте все равно что забрать в другом.

— Такова, должно быть, теория, тут вы правы, однако я испытываю избыток кровотока, полнокровие, именно в области головы.

— Но это может быть опасно. Причем без всякой надобности.

— Ну уж нет, друг мой, только не для человека с вашими талантами.

— Вы спутали меня… с тем, кем я был раньше.

— Делайте свое дело, дружище, а я буду сидеть недвижно, как камень.

Дабы подтвердить свое намерение, его преподобие усаживается на табурете, не шевелясь, словно позируя для портрета. «Откажусь, — ду-

мает Джеймс, но потом возникает другая мысль: — А почему бы и нет? Раньше я мог проделать это с завязанными глазами. Дьявол побери нас обоих. Сделаю».

Он раскладывает широкий носовой платок на плече у пастора, выбирает ланцет и наклоняется к его виску, рассматривая кожу под коротко остриженными, светлыми с проседью волосами. Избавившись на короткий миг от всех сомнений, он вводит острие ланцета в плоть, непроизвольно содрогается, тут же справляется с собой, заходит глубже. Слышит шумное, частое дыхание, полагая, что пастора, но потом осознает, что собственное. Струйка крови, извиваясь, течет по подбородку. Пастор просит сквозь зубы: «Глубже, доктор, еще глубже».

Но вдруг что-то происходит, что-то ужасное, как во сне, когда череда привычных образов без всякого предупреждения оборачивается чем-то примитивным и жутким и спящий пытается вырваться из своего кошмара. Спазм, словно его руку пронзил электрический разряд, судорожное сокращение мускулов или бог ведает что еще. В одно мгновение добрая половина лица пастора оказывается залитой кровью. Ланцет падает из рук Джеймса, а за ним и миска, забрызгивая

кровью рубашку пастора. Его преподобие охает, кренится на бок, будто подбитый корабль, хватается за голову. И вдруг очень спокойным голосом говорит: «Помогите мне, Джеймс». Джеймс убегает. Прочь из комнаты пастора, к себе. Проходят секунды, может быть, даже минуты, прежде чем он находит в себе мужество вернуться; минуты, пока он в ярости сверлит взглядом свой плащ, висящий на гвозде с внутренней стороны двери. Потом он хватает все белье, какое попадается под руку, — рубашку, ночной колпак, кусок полотна, которым обычно вытирает себе лицо, — и мчится обратно к пастору, как любовник в фарсе.

Пастор лежит на кровати, зажав рану рукой. Джеймс падает рядом с ним на колени, осторожно отнимает от виска его руку. Кровь льется с такой силой, что невозможно сразу определить местонахождение раны. Джеймс вытирает кровь, делает компресс из куска полотна и закрепляет его с помощью ночного колпака. Выскакивает на лестницу и зовет: «Табита!»

Ее лицо, покрытое мукой, точно пудрой, появляется в лестничной клетке. Джеймс велит ей принести горячей воды — горячей воды и красного вина. Грудь его вздымается так, словно он только что со всех ног бежал вверх по тропке меж-

ду полями. На лестничную площадку выходит Дидо, все еще согнув руку в локте и изумленно глядя на Джеймса.

— Что случилось? — спрашивает она. — Вы ушиблись?

Джеймс разевает рот, но не находит что сказать, бежит назад в комнату и наклоняется над распростертым пастором, как будто укрывая его от дождя. Дидо следует за ним, издавая взволнованные восклицания, и сердито глядит на брата. «Господи, братец… он застрелился?» Слышится звук, поначалу зловещий, — хриплое клокотание слюны в горле. «Он умирает?» — спрашивает Дидо, ее лицо побледнело, но для такого случая она держится на удивление твердо.

— Не умирает, — говорит Джеймс. Он прекрасно знает, что означает этот звук. — По-моему, он смеется.

Лежащий на кровати человек говорит пронзительным голосом, ибо вопрос сестры его немало позабавил:

— «Он застрелился»!.. О, бесподобно… бесподобно, сестрица…

Через минуту появляется Табита с вином и водой на подносе. За ней миссис Коул, встревоженная рассказом Табиты о том, как доктор,

точно сумасшедший, размахивал руками на лестнице. Они видят пастора, сидящего на краю своей постели, бледного, но улыбающегося, с головой, замотанной в окровавленный ночной колпак, Дидо, которая сидит рядом с ним, плотно сжав губы, и доктора, о котором рассказывают столько, быть может, и правдивых историй и который сидит по другую сторону пастора, всхлипывая, как младенец.

— Что там у нас с ужином, миссис Коул? — спрашивает его преподобие.

Какое геройство! Да, сударь, день выдался на редкость удачным.

4

Двое идут в лес, мужчина и мальчик, под светом ноябрьской луны. Мужчина, немного ссутулившись, хромает на правую ногу, его голова то поднимается вверх, то опускается, как у пловца. Мальчик, зажав руки у себя под мышками, чтобы было теплее, идет следом за ним. Мороз усиливается, все вокруг сияет, освещенное огнями дома.

Они подходят к поленнице. Джеймс протягивает руки, чтобы мальчик сложил в них дрова. От поленьев тянет землей, грибами, гниющей корой.

— Бери те, что сзади, Сэм. Они, может, суше?

— Все чуток подмокшие.

— Возьми вон там, сбоку, буковые.

Лето было жаркое, осень сырая и теплая, урожай небогатый. Пшеница идет по пятьдесят шиллингов и восемь пенсов за квартер, на три шиллинга больше, чем в прошлом году.

— Возьмем, что есть, Сэм, и высушим у огня.

Они отправляются назад, к освещенному дому. Молодой пес рвется на цепи и лает. «Потише, сэр», — слышится голос Джеймса. Пес прячется в тень и, навострив уши, прислушивается к движе-

ниям людей и тихим окрестным звукам.

Джеймс локтем открывает щеколду на двери в кухню. Сразу же сидящие за столом люди начинают жаловаться на холод, правда с благодушным видом, пока Сэм не закрывает дверь пяткой. Оба складывают поленья и стряхивают с курток землю. За столом сидят двенадцать мужчин, толстых и тощих, и изо всех сил стараются съесть ровно столько, сколько потеряли, отдав церковную десятину. Съесть и выпить с особенной веселой решимостью. Джеймс знает многих, и многие знают его. Знают, но не настолько, чтобы понять, что он за человек.

Табита роняет кувшин, один из самых больших. Он с грохотом разбивается у ее ног, оросив чулки капельками сидра. Табита вскрикивает, но скорее от усталости, чем от испуга или страха, что ее выбранит миссис Коул, которая прислуживает в гостиной. Фермеры смеются. Джеймс подходит к ней и говорит:

— Иди спать, Табита. Мы с Сэмом тебя заменим.

Ужин церковной десятины, событие, не вызывающее особой радости ни у одной из сторон, подходит к концу. На столе полно кружек, рюмок, грязных оловянных тарелок с выщерблинами, об-

глоданных и растерзанных остовов уток, цыплят и зайцев, коричневых узловатых костей говядины, острых косточек барашка.

— Скажи-ка мне, Сэм, — говорит Джеймс, — как все эти твари в Судный день соберут себя по частям?

— Выходит, там будут не только человеки?

— Нет же, честное слово. Цыплята, кошки, кит Ионы. — Джеймс смотрит вниз на Сэма, проворного, худого, поразительно некрасивого мальчика одиннадцати лет. В пятнадцать его не отличишь от любого крестьянина с красным лицом, шейным платком в горошек, одетого в кожаные бриджи и дерущего глотку на рыночной площади. К тридцати он станет таким же, как те, кто теперь сидит за столом, — все еще крепким с виду, но уже подорвавшим здоровье заботами и тяжелым трудом, пьющим, чтобы забыться.

Они уселись рядышком на скамье у огня. Жар согревает Джеймсу лицо.

— Вы обещали рассказать историю, доктор Джеймс, — говорит Сэм.

Только он обращается к нему «доктор Джеймс», остальные же зовут его так лишь между собой.

— Какую историю, Сэм? — спрашивает Джеймс, прекрасно зная, что тот имеет в виду.

— Про соревнование.

— Ах да.

— И про королеву тоже.

— Императрицу, Сэм. Она еще важнее, чем королева.

— И про Мэри.

— А ты услышишь что-нибудь в таком гвалте?

Сэм кивает.

Для Джеймса это интересный опыт — превратить свою жизнь в серию детских историй. Череду небольших, безопасных всплесков, удерживающих его — так ему кажется — от хлещущего через край потока ужасных, беспорядочных откровений, адресованных какому-нибудь незнакомцу или, что того хуже, человеку знакомому. А Сэм благодарный слушатель, снисходительный к любым переделкам, он следит за ходом истории, как за плугом, вспахивающим борозду.

— Так на чем мы остановились в прошлый раз?

— На вашем друге, мистере Гаммере.

Вот образ: лицо Гаммера, то есть глаза, ибо остальное замотано от мороза шарфом. Да и можно ли назвать Гаммера другом?

Джеймс пьет из кружки, снимает перчатку и вытирает губы тыльной стороной ладони, ощу-

щая рубцы от шрамов.

— Стало быть, ты знаешь, как я впервые познакомился с мистером Гаммером, когда был маленьким мальчиком, как он ко мне подкрался, когда я лежал на животе в траве в старой крепости на холме в день, когда играли свадьбу, и как, упав с вишни…

— Вы еще ногу сломали…

— Верно…

— И человек, что лечил ее…

— Амос Гейт, кузнец. Ну хорошо. Так вот, после того как моя нога зажила — потом, правда, она опять заболела, — к нам в дом… пришла болезнь. Очень тяжелая болезнь, и моя мать, и братья, и сестры, — все умерли…

— Все?

— Все, — повторяет Джеймс, настаивая на своей лжи. — Так или иначе, я остался один и отправился пешком в Бристоль искать мистера Гаммера, полагая, что раз уж он проявлял ко мне интерес, то, может, возьмет к себе жить. Я был моложе, чем ты теперь, Сэм, но прошел всю дорогу пешком, к тому же, насколько помню, почти все время лил дождь. Тебе приходилось бывать в городе, Сэм, в большом городе?

Сэм мотает головой.

— И мне тогда тоже не приходилось. А сколько в городе народу! Солдаты, матросы, жирные торговцы, прекрасные дамы, подбирающие платье, чтобы не испачкаться в навозной жиже, — ибо в городе гораздо грязнее, чем в деревне, Сэм. Тогда я впервые в жизни увидел негра и китайца. Там были корабли со всех концов света, они стояли бок о бок, как скотина в загоне. А магазины, Сэм, все в огнях, точно на Рождество, народ снует туда-сюда, шум и гам от людей и животных. Так вот, найти мистера Гаммера среди всей этой… гм… суматохи было, как ты догадываешься, делом совсем не легким, и все же я нашел его, следуя своему чутью; он был очень удивлен и даже в каком-то смысле обрадован, хотя, должен тебе сказать, он не был добрым человеком. Ну а поскольку я не был добрым ребенком, то мы поладили друг с другом. И вот…

— Эге-гей, тут человек от жажды погибает!

В подтверждение этих слов некоторые пирующие размахивают кружками, другие начинают колошматить по столу кулаками. Грохот усиливается, напоминая топот марширующих солдат.

— Пойдем, Сэм.

Джеймс встает, улыбается, извиняясь перед фермерами легким поклоном. Берет кувшины,

по два в каждую руку, и выходит через дверь в конце кухни в холодный чулан без окон, где стоят медные тазы, бродильные чаны и бочки и где его преподобие четырежды в год следит за брожением пива, а миссис Коул делает свои домашние вина — бутылки сложены штабелями вдоль двух стен. Несмотря на холод, там на соломенном стуле совершенно неподвижно сидит Мэри, вроде бы ничем не занятая. Свеча горит у нее в ногах, по-кошачьи аккуратно подобранных. Джеймс наливает пиво. Наполнив кувшины, говорит:

— Пойдем. Здесь холодно, даже для тебя.

Она глядит на него глазами, похожими на черные камушки.

— Это всего лишь мелкие фермеры, — продолжает он. — Пошумят и перестанут. Только и всего. — Он поднимает кувшин. — Пойдем. Посидишь у огня вместе со мной и Сэмом.

Джеймс приносит пиво на кухню и ставит на стол. Ему очень хочется верить, что она счастлива, по крайней мере довольна.

— Ага! Ваш ликсир жизни, доктор. Вы не дали нам умереть от жажды.

— Долгих вам лет, джентльмены! Здоровья и счастья.

— А вы с нами не выпьете?

— Если компании это будет приятно.

— Хорошо сказано, дружище!

Кувшин передается из рук в руки, и каждый, наливая, выплескивает пиво на стол.

— Нужен тост, друзья!

— За здоровье короля!

— За Георга-фермера, старого песочника!

— За лучшую бабенку на свете!

— Нет, ребята, — это говорит Уин Талл. — За нашего доктора Дайера. Не так уж он рад этому названию, уверяю вас… — Все кричат «ура» его мудрости. — Но раз он не пользует своими лекарствами ни мужчин, ни женщин, а нож берет в руки лишь для того, чтоб отрезать кусок хлеба, то ни один врач в королевстве не спасает больше человеческих жизней, чем он!

Тост произнесен.

— Весьма благородно с вашей стороны, джентльмены, — говорит Джеймс. — Весьма.

Чей-то голос:

— Где Уилл Кэггершот? Ну-ка выдай нам стих, Уилл. Про Салли Солсбери!

Кэггершот, пошатываясь, поднимается со скамьи:

— «Эпитафья бедняжке Салли Солсбери».

Товарищи смотрят на него глазами счастливых

школьников. Кэггершот откашливается:

Здесь лежит на спине, но недвижно вполне
Наша Салли, под траурный звон,
По дороге порока проскакав во весь дух,
Потому дух и вылетел вон.

К наслажденьям летела бедняжка моя,
Но, споткнувшись, упала она,
И хотя всем казалось, что жизнь ее двор…

Он замолкает, тараща глаза поверх голов своих собутыльников на дверь в чулан. Остальные, повернувшись, смотрят туда же. Джеймс встает со скамейки перед очагом, разводя руками, словно хочет вновь привлечь внимание собравшихся.

— Это всего лишь Мэри, джентльмены. Нет нужды обрывать песню.

— Мы знаем, кто это, доктор.

Кэггершот садится. Фермеры переводят взгляд в центр стола. Джеймс пожимает плечами, направляется к Мэри, подводит ее к скамейке и сажает рядом с Сэмом. Постепенно разговор возобновляется, как старая засорившаяся и вновь

прочищенная помпа. Фермеры пьют; им подают новые напитки. О Мэри забыли. Кэггершот поет свои песни, одна непристойнее другой. Вдруг Ин Талл, брат Уина, бессменный и жалкий шут компании, тычет своим дрожащим пальцем в сторону Мэри и спрашивает:

— А как нащот женщины, доктор, чтоб она зубы показала и вообще.

Остальные хором подхватывают просьбу, и тут становится ясно, что Ин высказал то, о чем думали другие. Джеймс немного боялся такого поворота событий, но все же надеялся, что до этого дело не дойдет из-за уважения к нему, «доктору», другу пастора и очевидному покровителю Мэри. Его словно ужалило столь явное предательство. Но кроме себя винить некого, сам же ее привел. Он встает, набрав в легкие воздуха.

— БАЛАГАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НЕ БУДЕТ, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ!

Никто из присутствующих, даже Мэри, не знал Джеймса Дайера в ту пору, когда этот безукоризненный молодой человек отправился в Россию осенью 1767 года. Никто не видел его в зените славы, овеянным громом и молнией, жмущим руку послу при императорском дворе так, словно послу выпала небывалая честь приветствовать

его. Никто не мог бы даже вообразить подобное, кроме, пожалуй, Сэма, расставляющего в своем воображении великолепные фигуры всех действующих лиц из рассказанных Джеймсом историй. На мгновение фермеры попросту утратили дар речи.

Немая сцена нарушается звуком, подобным шелесту накрапывающего дождя. Это Мэри подходит к столу, аккуратно сложив руки у пояса, точно собирается спеть. Выдержав паузу — как на театре, — она разжимает губы, оскаливаясь, так что всем становятся видны ее обнаженные до десен передние зубы, спиленные до острых концов. От изумления сидящие за столом испускают негромкий стон. Это куда лучше, чем двухголовый баран или математическая рыба в вонючей палатке на деревенской ярмарке. У фермеров такое забавное выражение лиц — многие непроизвольно повторяют ее оскал, — что ярость Джеймса обращается в смех, громкий и раскованный, который вполне мог бы вызвать недобрую реакцию гостей, не появись на кухне его преподобие с подозрительно красным, несмотря на кровопускание, лицом — результатом пятичасового пиршества и карточной игры. Он вопросительно вглядывается в Джеймса, затем обращается с речью к фермерам:

— Боюсь, джентльмены, я не смею вас более задерживать. Сам я тоже немало сил отдаю фермерству и понимаю, сколь велико ваше стремление поспешить домой.

Появление хозяина, пусть даже приходского священника, лишенного величественного ореола, действует неприятно отрезвляюще. Трубки выбиты, кружки допиты. На лицах проступает предчувствие холода, который придет с рассветом; опять надо будет возиться с непослушной скотиной, шагать по замерзшим, темным полям, подобно первому, а может, последнему человеку на земле.

Джеймс выносит шляпы и пальто, шарфы и рукавицы, сожалея о том, что смеялся. Двор наполняется движением — шарканьем и топотом людей и коней. Залившийся бешеным лаем при их появлении пес получил от пастора шлепок и теперь лежит на брюхе, едва-едва сдерживаясь. Копыта стучат по булыжнику, словно град камней. Фермеры отъезжают, их кони находят тропинку, ведущую к дороге, и наконец только Джеймс, Сэм и пастор остаются среди наступившей тишины, обрамленные светотенью пасторского фонаря.

Мальчик дрожит. Его преподобие глядит на

него с удивлением.

— В уме ли ты, Сэм? Ты ведь мог поехать домой с кем-нибудь из гостей.

— Я провожу его, — говорит Джеймс. — Это я задержал Сэма своими историями.

— Ах, историями… — Пастор кивает с таким видом, будто для него это слово означает нечто особое. — Да, вам есть что рассказать.

— В некоторых вы принимали участие.

Улыбка мелькает на губах пастора.

— Что правда, то правда. — Он нюхает воздух. — Смотрите, не поскользнитесь на льду, доктор. Не желаете ли взять с собой фонарь?

— Нет, мы с Сэмом изучаем звезды. Без фонаря их лучше видно.

Сэм бежит в дом принести пальто себе и доктору и еще захватить Джеймсову палку. Стоя во дворе в ожидании мальчика, Джеймс замечает повязку, торчащую у пастора из-под парика. Ему хочется спросить, как тот себя чувствует, но слишком уж неприятно вспоминать о кровопускании. С облегчением Джеймс замечает, что пастор кивком указывает ему на раскрытую дверь — там при свете свечей Сэм прощается с Мэри.

— Она ему нравится, — говорит пастор.

— Да, между ними что-то есть.

— Она когда-нибудь говорит с ним?

Джеймс пожимает плечами:

— Он ее и так понимает.

Сэм приносит Джеймсу его тяжелый сюртук с глубокими поместительными карманами, куда обыкновенно укладываются книги, яблоки и бумага для рисования.

— Ну что ж…

— Храни вас Бог.

— Доброй вам ночи.

— Доброй ночи. Доброй ночи, Сэм.

Они расходятся. Пастор поворачивает к дому, чешет за ухом у пса и вздыхает — вздыхает так тяжело, что самому удивительно. Ему чудится, будто его тело обладает каким-то тайным знанием, которое следует передать рассудку. В виске пульсирует кровь; он осторожно дотрагивается до него двумя пальцами. Странно, что Джеймс так разнервничался. Странно, что человек вообще может так перемениться. Конечно, как доктору ему конец. А какой это был талант! Правда, раньше он был человеком грубым и бессердечным. Но приносил пользу, Господь свидетель. Кто более нужен миру — человек хороший, но обыкновенный или выдающийся, но с ледяным, с каменным сердцем? Трудно сказать. Что-то пес больно тощ.

Надо бы выгнать глистов. Ну а теперь пора спать. И увидеть хороший сон.

5

От дома почти милю надо идти по разбитой копытами тропинке, пока не доберешься до моста и дороги, ведущей вверх по холму в деревню. Здесь, в тени деревьев и высоких живых изгородей, еще темнее, но луна указывает путь, озаряя глубокие колеи, поблескивающие льдом на морозе, и извилистые ветви, тянущиеся в лучах рассеянного света из мрака во мрак. Когда над головой открывается ясное небо, они замедляют шаг, Сэм следит за согнутой рукой Джеймса, показывающей ему звезды, и они оба долго глядят в бескрайнюю бездну небес, пока сама земля не начинает как будто выскальзывать из-под ног, и им приходится опустить глаза, чтобы не споткнуться. Их шаги спугнули какого-то зверя; в потемках мелькнули только два глаза, а сам зверь показался таким же бесплотным, как быстрый сухой шорох, сопровождавший его бегство через живую изгородь. Сэм утверждает, что это была лиса, говорит, что расскажет Джорджу Пейсу, а тот даст ему за это пенни.

Постепенно Джеймс уговаривает Сэма спеть песню. Некоторое время тот идет молча, пере-

бирая в уме свой репертуар, потом затягивает «Джона Ячменное Зерно». Сперва его голос звучит слишком тихо, но мало-помалу мальчик входит во вкус и поет легким дискантом с хрипотцой на высоких нотах:

Приехали трое из дальней земли,
Чтоб счастье свое пытать.
И клятву страшную дали они,
Что Джону пора умирать…

Это пение, длящееся всего несколько минут, выражает, как кажется Джеймсу, всю естественную печаль человеческой жизни, такого он не слышал ни в соборе, ни в концертной зале. Ни в сумасшедшем доме.

Колесовали беднягу они,
А потом явились в амбар
И там сложили большую скирду
Из Джона Ячменное Зерно…

Путники выходят к каменному горбатому мосту с низкими парапетами и поворачивают вверх на холм в сторону деревни Кау. Одинокий огонек тускло мерцает в доме у кромки холма — это кабак Кэкстона. Проходя мимо, они заглядывают

в плохо занавешенные окна и видят спины людей, старательно опорожняющих кружки. Далее они погружаются в царство темноты и бредут по вьющейся дорожке среди каменных фасадов спящих домов с закрытыми окнами и темных садов, слушая шумное дыхание и шевеление скота. Откуда-то издалека доносится хорошо различимое уханье совы, а следом за ним ответное уханье, столь же далекое и столь же хорошо различимое.

Дом пономаря они находят по слабому свету, просачивающемуся сквозь стекло окна на первом этаже. При звуке их шагов свет движется к двери, и им открывают прежде, чем они успевают постучать. Мать Сэма стоит в дверях со свечой в руке.

— Надеюсь, он вас не очень обеспокоил, доктор.

И мальчику:

— Разве можно причинять доктору столько беспокойства — провожать тебя в такую даль среди ночи!

Дождавшись ребенка, она наконец успокоилась и уже не слишком сердится.

— Прошу вас, не ругайте его, — говорит Джеймс. — Это я виноват. А прогуляться в такую ночь мне совсем нетрудно. По дороге Сэм пел мне

песню. У него хороший голос. Его бы, пожалуй, стоило определить в хор. Не так-то много у них там хороших голосов… Ваш достойный супруг — заметное исключение.

— Видит Бог, вы слишком добры к нему, — она слегка приседает, кланяясь, что заметно лишь по колыханию огонька свечи.

Несмотря на теперешнее положение доктора — обыкновенного приживалы в пасторском доме, — по его манере вести себя чувствуется, что он человек незаурядный, даже, быть может, знатный, а потому, по крайней мере в ее глазах, он предстает важным господином. И как трогательно он дружит с Сэмом. Хорошо, что ее сын знается с человеком, от которого так и веет светом и теплом.

— Пройдите в дом и выпейте чего-нибудь на дорожку.

— Не смею стеснять вас в столь поздний час, миссис Кларк…

Но он уже идет следом за ней и горящей свечой в дом, мимо удлинившейся за счет своей тени шляпы спящего пономаря, чей храп доносится до них, как только они располагаются на кухне. От тлеющих красных угольков в очаге идет приятный жар.

Этот дом лишь чуть-чуть поменьше того, в котором Джеймс провел свое детство в Блайнд Ио, и очень многое в нем — скромные, неказистые вещи, букет разнообразных запахов, игра света на начищенных поверхностях — знакомо ему, как собственное лицо.

Миссис Кларк приносит кружку мужа, наполненную элем, и ставит перед гостем. Себе она налила небольшую рюмку имбирного вина. Сэм же, стоя как ливрейный лакей за плечом у Джеймса, пьет молоко из деревянной чашки.

— Ваш супруг в добром здравии?

— Да, сударь, спасибо. Но ему, знаете ли, надо высыпаться. Он говорит, что от работы с таким количеством уснувших вечным сном у него до этого дела аппетит разыгрался.

— До какого дела, сударыня?

Неожиданное тепло после морозного воздуха нагнало на Джеймса дремоту. Миссис Кларк вспыхивает.

— Я о сне, доктор, только о сне, — она смотрит на сына и вдруг заливается смехом. — Это он так шутит, доктор.

— Нет на свете профессии, в которой не было бы своих особенных шуток. К несчастью, шутки людей, посвятивших себя медицине, пожалуй,

самые грубые. Близость к страданию других порождает юмор скорее жестокий, нежели по-настоящему комический. Он возникает как защитная реакция на ужасы болезни, но постепенно становится у этих джентльменов чем-то обыденным.

— Уверена, о вас такого нельзя было сказать, — говорит миссис Кларк. В беседе с доктором ей всегда приятно ждать, что он проявит какую-нибудь нескромность.

— Нельзя, сударыня, это верно, ибо страдания других меня нисколько не беспокоили. Я воспринимал боль лишь постольку, поскольку существовала зависимость между ее остротой и платой, которую я мог получить за избавление от нее.

Джеймс проговорил это, уставясь глазами в стол, но затем посмотрел на миссис Кларк, чтобы оценить впечатление, произведенное подобным признанием. На секунду в ее глазах промелькнуло замешательство, которое, впрочем, скоро прошло. Всем своим видом она дает понять, что намерена относиться к нему со всей душой.

— Вы, конечно же, знали свое дело лучше прочих, доктор.

— В этом можете не сомневаться, сударыня.

Я был — и это не пустое бахвальство — единственным хирургом среди всех знакомых мне докторов, чья превосходная репутация не была дутой. У большинства были такие языки и такая способность фантазировать, что скандал в кабаке превратился бы в их устах в осаду Трои; что до истинного врачевания, то с тем же успехом больного мог пользовать и гусь. Золотые шпаги и сердца из дешевой меди. — Он останавливается, улыбаясь, чтобы подавить гнев, зазвучавший было в его голосе. — Теперь вы видите, сколь немилосерден я к своей прежней профессии. Однако среди докторов встречались и хорошие люди, да-да, и даже женщины. Те, кто умел утешить, не вселяя напрасной надежды. Правду сказать, миссис Кларк, мы совсем немного можем сделать, совсем немного. Мы рождены и слишком поздно, и слишком рано — между тайным искусством старого мира и открытиями века грядущего. У меня был талант, сударыня, в основном хирургический. Но я никогда не мог рассматривать… — Он поводит руками в воздухе вокруг своей кружки. — У меня никогда не было того особого внимания к страданиям людей, каковое отличает целителей истинных.

— Слишком уж вы жестоки к себе, доктор.

Джеймс качает головой:

— Нет, сударыня, всего лишь справедлив. Я был хорош в очень ограниченном смысле. Поразительно искусен — да, но никто и никогда не искал у меня сострадания.

Слова эти звучат столь весомо, в его интонации появляется такая твердость, что миссис Кларк нечего возразить.

— Кажется, у вас есть сестра? — спрашивает она после долгой паузы.

— Было две.

— Они…

— Да. Та, что была красивой, Сара, умерла еще ребенком вместе с моим братом. А другая, наверно, еще жива. Моя Лиза. Во всяком случае, о ее смерти мне ничего не известно. Мы не виделись с детства.

— А вы говорили, что все померли, — вмешивается Сэм. — Что вы один на свете.

— Тише ты, — прерывает его мать, боясь потревожить столь хрупкое настроение Джеймса.

— Я так сказал, Сэм? Ну, значит, я был не слишком далек от истины.

Джеймс замолкает. Миссис Кларк ждет продолжения, а потом с надеждой говорит:

— Может, вы еще с ней увидитесь.

— Не думаю, что она будет рада. У нее нет причины любить меня.

— Сестре не нужна причина, чтобы любить родного брата, доктор. Это ее долг.

— О долге и речи быть не может. Я дурно обошелся с ней.

— Но вы ведь были еще мальчиком. Мальчики часто поступают дурно по отношению к своим сестрам. Господи, как подумаю, что творили мои братья. И все же мы, можно сказать, дружим.

Джеймс качает головой:

— Я не решусь даже взглянуть на нее.

— Ну тогда ей захочется посмотреть на вас, на свою плоть и кровь.

— Это невозможно.

— Прощение — великая вещь, — говорит миссис Кларк, — для тех, кто умеет его почувствовать.

Джеймс, опираясь на плечо Сэма, поднимается из-за стола.

— Она слепая, — говорит он тихо. — Ослепла. От оспы.

Сэма отправляют в постель. Миссис Кларк снова со свечой в руке ведет Джеймса к двери. Ступив за порог, он спрашивает:

— Я странно говорил сегодня, да?

— Мы всегда рады вам, доктор.

— Спасибо. Я это чувствую. Поклон вашему супругу.

Опять он замечает неловкий реверанс. Дверь закрыта, засов задвинут, женские шаги удаляются в глубь дома. Джеймс идет по тропинке, моргая, чтобы избавиться от следа свечного пламени перед глазами. Стало еще холоднее, камушки хрустят под башмаками, как стекло. Он уже доходит до дороги, когда со стороны дома пономаря до него доносится тихое «тс-с-с».

— Вы еще расскажете истории, доктор Джеймс?

Голос слышится из маленького окошка под крышей. Самого Сэма не видно.

— Расскажу.

— Про императрицу?

— Да, Сэм.

— И отчего у Мэри острые зубы?

— Иди спать, Сэм.

Джеймс поднимает руку и машет.

Каким бы бодрящим и благотворным ни был эль пономаря, все же его нельзя назвать подходящим средством от мороза, забирающегося теперь под пальто к Джеймсу. А кроме того, после беседы с миссис Кларк ему совсем не хочется тащиться в такую даль домой — домой! — в жи-

лище пастора, в холодную и, скорее всего, пустую постель. Полчаса общения с людьми, стаканчик разбавленного рома, ни к чему не обязывающий разговор — и он снова обретет душевное равновесие. И зачем только он столько всего наговорил миссис Кларк?

Поравнявшись с кабаком Кэкстона, он наклоняется и проходит через низкую дверь, останавливается в неровном свете и вдыхает мерзкий кабацкий воздух. Небольшая первая комната с маленьким очагом, скамьи, натертые многочисленными бриджами до черного блеска, четыре стола, на каждом из которых поставлено по коптящей свечке с вьющейся над ней нитью сажи. Сам Кэкстон подбоченясь стоит у огня и поглядывает через плечо на полдюжины недавних гостей пастора, играющих в домино и почти совсем отупевших от выпивки и усталости. Завидев Джеймса, Кэкстон изображает на лице нечто, должное обозначать радушие, и они обмениваются приветствиями. Джеймс не был здесь уже несколько месяцев и за это время забыл, как ему неприятен Кэкстон, причем не из-за связи кабатчика с браконьерами — браконьеры в большинстве своем люди весьма достойные — и не из-за вполне обоснованных слухов о да-

че констеблям за деньги ложных показаний, в результате чего паренек, обвиненный в краже у джентльмена карманных часов, был повешен. Эти неприятные ощущения связаны с девушкой, дочерью Кэкстона, пребывающей на последних сроках беременности, которая сейчас стоит рядом с отцом и обгрызает ногти до самого мяса. Почувствовав на себе взгляд Джеймса, она пытается улыбнуться, но ее лицо выражает лишь крайнюю степень смущения.

— Что будете пить, доктор? — кричит Кэкстон. — Что велите девчонке подать вам?

Джеймс заказывает ром, отклоняет приглашение на партию в домино и садится один за свободный стол. Девушка — ибо ей всего четырнадцать или пятнадцать лет и, несмотря на ее положение, трудно назвать ее иначе — приносит ему стакан, вытирает стол мокрой от пива тряпкой и ставит ром перед Джеймсом. Он спрашивает о ее самочувствии, глядя на огромный живот, который как будто готов поглотить ее всю целиком. Избегая его взгляда, она отвечает: «Неплохо».

— Скоро тебе срок, Салли. Ты не боишься?

— Я буду только рада избавиться от него, сэр.

— А кто будет принимать роды?

— Матушка Грейли.

— У нее большой опыт, — говорит Джеймс, про себя ужаснувшись, что нормальный человек, а не исчадие ада вздумал обратиться к известной всем горькой пьянице с тысячью умерших младенцев, составивших ей репутацию. Должно быть, это решение Кэкстона.

— Чем проще будет, тем лучше, Салли. Ты молодая. Нет нужды принимать никаких снадобий.

Девушка шепотом благодарит его и быстро уходит. Джеймс поднимает стакан и пьет свой ром. Краткий разговор с Салли, вид ее отца, изворотливого грубияна, и даже фермеров, склонившихся над мелкими прямоугольничками, груда перепачканных монет на середине стола — все это угнетает. Нет здесь настоящей радости, как почти нет и надежды. И в девической беззащитности, и в грубости мужчин чувствуется равная мера неизбывного страдания; и хотя чье-то страдание, несомненно, заслуженно, чья-то боль наверняка являет собою возмездие, можно ли обрести в этом утешение или удовлетворение? Любая боль вполне реальна для того, кто ее испытывает. И все в одинаковой мере нуждаются в сочувствии. Господь знает, как нуждается в нем он сам.

Открывается дверь. Джеймс поднимает глаза.

Человек таких размеров, что кажется, из него можно было бы сотворить двоих, человек с черной кожей — а может, с коричневой или даже сероватой, как опустившаяся на снег ночь, — входит в маленькую комнату, словно взрослый в компанию детей. Согнувшись под балками потолка и шаркая своими стоптанными малиновыми туфлями, он направляется к Кэкстону. Протягивает небольшой кувшин, вроде как для сливок, и шепотом, подобным шороху углей, которые ворошат кочергой в камине, произносит одно слово:

— Джину.

— Джину?

Чернокожий кивает, скупым жестом указывает на кувшин. Кэкстон берет кувшин и передает дочери, которая уходит в кладовку, чтобы его наполнить. Чернокожий достает из кармана своего короткого кафтана кошелек и вытряхивает на ладонь монету в шесть пенсов. В такой ручище можно спрятать и мячик для крикета. Пальцы у него совсем негнущиеся, как у старика. Но все еще сильные.

Негр получает от Салли кувшин, благодарит и ждет от Кэкстона сдачи, но, поскольку ее явно не предвидится, устало кивает и шаркает назад к двери. Дверь захлопывается. Две-три секунды

стоит тишина, слышно только, как беспорядочно потрескивает огонь, а потом фермеры начинают возбужденно переговариваться, сообщая друг другу, что каждый из них только что видел, словно он был единственным свидетелем этого потрясающего события. Кэкстона поздравляют с тем, что он надул чужестранца. Один фермер предрекает, что чернокожий его за это сварит и съест. Все хохочут. Другой, повернувшись к Джеймсу, спрашивает, из чего сделан негр, из того же ли, что и белый, или, может, у них и кости черные, как кожа.

— Нет, — отвечает Джеймс, испытывая огромное желание уйти, — они созданы такими же, как и мы.

— Люди говорят, у них и семя черное, — прошу прошения, Салли.

— Не могу сказать.

— А сердце? — интересуется Кэкстон. — Сердце черное?

— Не чернее, чем ваше, сударь, или мое, — отвечает Джеймс.

К раздражению Джеймса, его последнее замечание приняли за шутку, и он вынужден удалиться под хор веселых голосов, желающих ему счастливой дороги. Я не смог, думает он,

осторожно ступая на лед, даже донести до них свое презрение.

Он избавляется от подобных мыслей, несколько раз глубоко втянув в себя холодный воздух, и принимается размышлять о завтрашнем дне — наверное, будет еще один великолепный солнечный день с пьянящим, как шампанское, воздухом. Джеймс улыбается, вспомнив неожиданный утренний задор пастора. Люди должны потихоньку собирать и хранить в памяти такие дни, запасаться ими на случай иных, худших времен. Если завтра день и впрямь будет ясный, то, пожалуй, стоит взять чернила и бумагу и отправиться к дому леди Хэллам, чтобы зарисовать ту церквушку у воды.

Он уже начал было делать в своем воображении набросок, когда раздавшийся позади него звук подпрыгивающих по дороге колес, обшитых железом, заставил его отойти на покрытую дерном обочину. В течение нескольких минут повозка существует только в виде какофонии звуков — скрипа осей, безумных литавров грохочущих кастрюль и сковородок, визгливого, пьяного пения. Наконец уже можно различить силуэт экипажа — крытая повозка, запряженная лошадью, раскачиваясь, катится из Кау вниз с

холма. Когда она оказывается рядом с Джеймсом, пение прекращается и кто-то громко вопрошает:

— Кто это там? Ты христианин или кто?

— Вам нечего меня бояться, — отвечает Джеймс.

Теперь под тихим сиянием звезд он может разглядеть две фигуры, одну совсем маленькую, как у ребенка, однако, судя по тону и облакам джина, сопровождающим каждое слово, вовсе не ребенка. И другую — негра из кабака Кэкстона.

— Те, которые порядочные, в такое время по обочинам не шастают, — говорит женщина, но вдруг посреди фразы ее голос наполняется медом. — Может, тебе и пойтить-то некуда? Бедный ты мой. Давай возьмем его к себе, Джон. Ему ночевать негде.

— Тише, — говорит негр.

— Ваше предложение очень лестное, но меня ждут и крыша, и постель совсем недалеко отсюда, — отвечает Джеймс.

— Ну и славно. Трогай, Джон.

Джон щелкает языком, лошадь трогается, и повозка катится дальше, оставляя за собой лентой вьющийся песенный след: «Вдохнешьливоздухлуннойночи-и-и… средьароматовтойбеседки-и-и… гдестополемлозасвиваясь… тебяпокрово-

мосеняет…»

Джеймс спит с Мэри — находит ее у себя под одеялом, когда без свечи, в потемках, пробирается в свою комнату. Он залезает в кровать и ложится, прижавшись грудью к ее спине. Ужасная боль крутит ногу, но это его не беспокоит. Он знает, что будет крепко спать, вдыхая запах ее кожи, словно пропитанную дурманом губку. Целует ее в плечо, здороваясь и одновременно прощаясь, ибо она вернется в свою комнатку, когда он еще не проснется и задолго до того, как в доме послышатся первые звуки, свидетельствующие о пробуждении кого-то из домочадцев.

В соседней комнате, во сне, его преподобие сидит совершенно нагой и по-приятельски перекидывается в карты с леди Хэллам. Дидо видит во сне мужчину, который нежно слизывает кровь с ее локтя. Джеймсу снится вишневое дерево, огромное как дом, а сам он сидит на нем и сквозь кудрявую густую зелень смотрит вниз на негра, одетого в темно-красный шелк и атлас, который поднимает вверх руки, чтобы его поймать.

Глава третья

1

Зима 1739 года выдалась особенно лютой: страшный мороз сковал оцепенелую землю, подобно библейскому возмездию, великолепному и убийственному. На реке Уз у города Йорка, как и на замерзшей Темзе, на лед вытаскивают печатные станки для публикации новостей из ледового мира, как будто появилось новое королевство, чудесным образом вдруг накрывшее собою старое. В подвалах раскалываются бочки от заледеневшего вина и пива; в стойлах на рассвете люди находят замерзшую скотину; некоторым случается видеть странные огни. Хрустит темнота. Вороны и иные птицы падают с небес на землю, словно неподвижные фигуры какого-то удивительного орнамента.

Неистовый, пронизывающий до костей холод собирает свою жатву — бедняков, младенцев, стариков и больных. Детей хоронят рядом с согбенными бабушками и ветеранами Бленема. Лопата могильщика, отлитая в форме сердца, звенит, как топор о железо, а могилы столь неглубоки, что в деревнях на западе страны поговаривали о кладбищенских ворах, пока сторож

на церковном дворе в Кенне не застрелил свору собак, растаскивающих по досочкам гроб какого-то нищего.

В Блайнд Ио, деревне, лениво пустившейся в свой путь от стен небольшого средневекового монастыря, а теперь, на тринадцатый год царствования короля Георга II, широко шагающей по тракту от Бристоля до Ковертона — словно гнилые зубы, крепко закусившие полосу дороги, — незаметно почти никакого движения, кроме клубов голубого дыма над соломенными или черепичными крышами и нескольких фигур, кутающихся в длинные пальто и спотыкающихся о дорожные выбоины. Слышно, как каждый шаг отдается в остекленевшем воздухе, виден каждый выдох.

Ко второй дойке на деревню опускаются мрачные сумерки, свет сочится из окон домов.

На холме за деревней над вересковыми полями, похожая на остров, возвышается крепость. Оттуда стороннему наблюдателю, постукивающему, чтобы согреться, сапогами, может показаться, что день исчерпал себя, что деревня готова соскользнуть в долгую ночь, точно баркас в черную воду. Но у берега реки вдруг начинает мерцать огонек, за ним еще два, потом целая дюжина; раздаются

чьи-то голоса, крики «Дорогу!», а вместе с ними скрежет, свист и наконец безошибочно узнаваемый звук коньков.

Люди, катающиеся на коньках, вешают фонари на нижние сучья деревьев. Деревья склоняются, белые и блестящие, над замерзшей рекой. Компания, числом пятнадцать или двадцать человек, скользит по освещенному льду. Одни изящно несутся вперед, звеня режущими лед коньками; руки сложены за спиной, тела наклонены над избранной каждым конькобежцем собственной ледовой дорожкой. Иные пригнулись, словно хотят поймать огромный мяч, или машут руками, как женщины, складывающие утром белье на ветру. Некоторые головы постоянно исчезают из виду. Слышатся крики, дружелюбные и приветливые, вроде «Д-ь-я-в-о-л-д-ж-о-н!» и «А-л-и-с-а-д-е-р-ж-и-с-ь!», а вместе с ними смех — веселый и пьяный.

На западе прямо над устьем реки подвешена луна, крепкая как кулак. На вересковых полях, на фермах, где навоз сверкает, точно алмазы, собаки лают на эту сияющую луну. Даже коротконогие гончие в Ковертонской усадьбе слепо жмутся друг к другу в своих конурах, образуя бархатную массу, и воют. Люди на коньках тоже ощущают

на себе действие луны — безумие в день зимнего солнцестояния, совращающая с пути истинного нулевая отметка года.

О лед разбивается бутылка. Кто-то еле дополз до берега.

— Это ты, Джошуа? — Человек облокачивается о подножие ольхи, кивает; тут его рвет — поток теплого сидра хлещет между коленей. По льду к нему подъезжает молодая женщина с туго повязанной вокруг плеч шалью.

— Ошибаешься, — говорит она, — если думаешь, что я поволоку тебя домой. Никчемный ты человек!

Пьяный не обращает на нее внимания. Ее голос звучит сварливо, но в нем слышны и веселые нотки, и, когда другая женщина, пролетая мимо, подхватывает ее под руку, она с удовольствием уносится вместе с ней.

В воздухе возникает одинокий тоненький звук скрипки. Все с восторгом приветствуют его, и скрипач, старик с шерстяной повязкой на голове, начинает играть попурри из танцевальных мелодий, знакомых всем, как звуки их собственного голоса: «Она твоя, приятель», «Попрыгунчик Джон», «Дни веселые придут». Люди, потея на полярном морозе, с новой силой принимаются

плясать, падать, хвататься друг за друга. К ним, спускаясь с берега на лед, присоединяются другие. Никто не боится, что лед не выдержит, он тверд, как кость.

Скрипка смолкает. Останавливаются и танцующие, дыхание обволакивает рот, как марлевая повязка. Подняв головы, они смотрят на звездопад. Над Пигз Грин, над Ледифилд срывается сразу несколько звезд, потом еще раз. Поднимается десяток рук, указующих вверх. Озадаченные неожиданной тишиной, затихают собаки.

У берега под покровом темноты, ярдах в десяти от того места, что освещено фонарем, стоит на коньках Элизабет Дайер. Ей, матери троих детей, двадцать девять лет, и она замужем за йоменом Джошуа Дайером. На этих самых коньках она катается с четырнадцати лет. Непонятная печаль терзает ее последнее время. А сегодня вечером небо такое, что кровь прямо бурлит, и она ужасно боится взмыть в воздух и исчезнуть там, над деревенскими крышами.

Сзади слышатся тихие скрипучие шаги. Она не оборачивается, и, когда чья-то рука — не мужа и не знакомого фермера, рука длинная, легкая и гладкая — забирается ей под шаль и сжимает грудь, она все продолжает смотреть

вверх, хотя звездопад уже кончился и небо вновь застыло в привычной неподвижности. Незнакомец торопится, а потому теряет равновесие и, поскользнувшись, падает, увлекая ее за собой. Его тело накрывает ее, лишая воздуха. Оба, сцепившись, извиваются на льду, но ни один не пытается встать. Юбки задираются кверху. Она знает, что у нее достанет сил с ним справиться, сбросить с себя. Но вместо этого она тянется к береговому склону, царапая лед, пока не хватается за корень дерева, холодный, как медь, и держится за него обеими руками — она словно обретает якорь для себя и незнакомца, ибо оба они напоминают неуклюжее судно, раскачивающееся у черного берега. Незнакомец цепляется за ее бедра; несколько толчков, прежде чем ему удается войти в нее. Через минуту все кончено — полдюжины размеренных движений, боль от вцепившихся ногтей, свистящее сквозь зубы дыхание. Потом неизвестный медленно скрывается в темноте. Ее сорочки, нижние юбки и платье опускаются, как занавески.

Пальцы, обхватившие корень, окоченели, но она не уходит, ждет, когда незнакомец исчезнет наверняка. Ее тело немного дрожит. Ей ясно видится, как какой-то человек быстро удаляется

между рядами покрытой изысканным кружевом живой изгороди, через замерзшие, пустые поля. Она поражена своим спокойствием. Зачем было идти на такой огромный и бессмысленный риск? Объяснить это невозможно. Она поднимается, оглаживает сзади платье, стягивает на плечах шаль и скользит назад к свету. Вновь играет скрипач, неуклюже пританцовывая на берегу. Знакомая женщина берет ее под руку и катится рядом.

— Ну не хорош ли этакий мороз для твоей кожи?

— Хорош, Марта, хорош.

— Сегодня твой Джошуа беспокойства тебе не доставит.

— Нет, Марта, не доставит.

И Элизабет легко катится дальше, чувствуя каплю уже замерзшего семени незнакомца на внутренней стороне бедра.

2

Роды начинаются в сентябре в комнате, жаркой от горящего очага и дыхания женщин. Вокруг роженицы собрались миссис Ллуэллин, миссис Филлипс, миссис Риверс, миссис Марта Белл, миссис Коллинз из Яттона, миссис Гуини Джоунз из Фейленда и мать Джошуа, вдова Дайер, которая, закладывая себе в нос табак из Вирджинии, глядит через плечо повитухи. Повитуха вспотела — вместе с потом испаряется и выпитый джин. Почти год у нее не было случая, чтобы померла роженица, что же до этой, то повитуха ничего не обещает. Ребенок никак не выходит, хотя прошло уже несколько часов и она чувствует его головку, пряди влажных волос, напоминающих речные водоросли.

Элизабет Дайер слабеет. У нее побелели губы, и кожа вокруг глаз стала серой. Частенько видела повитуха, как умирают в родах — перестав кричать и отвернувшись лицом к стене. Стало быть, пройдет еще час-другой, и, будь на то воля Божья, мать или дитё умрет, и тогда от нее ничего более не потребуется. Может, дитё и теперь уж неживое.

Лиза Дайер девяти лет от роду стоит, скрытая складками женских платьев, и глядит на кровать. Одной рукой она сжимает пальчики другой, и лицо ее выражает самый обыкновенный ужас. Заметив это, женщины припоминают собственное посвящение в таинство жизни и смерти.

Миссис Гуини Джоунз шепотом говорит:

— Не следует ли послать за мистером Вайни?

Ей отвечает вдова Дайер:

— Мужчина нам здесь ни к чему.

Какое изнеможение! Элизабет не знает, с чем это сравнить, ей не найти подходящих слов. Живот окоченел, ребенок, застрявший в ее утробе куском льда, несет смерть. Холодный соленый пот жжет глаза, стекая по туго натянутой коже и пропитывая тюфяк. Как Джошуа проживет без нее? Кто будет любить детей, как она? Кто будет сбивать хорошее масло? Кто будет растить ягнят, если умрет овца, или чинить рубашки до боли в глазах и пальцах? Ей не вспомнить молитв, ни одной. Голова пуста. Какой-то голос настойчиво твердит, что надо тужиться, тужиться изо всех сил. До чего же они жестоки, зачем заставляют ее страдать? Она кричит — пронзительным, протяжным криком; женщины сгрудились, качнувшись, все, кроме вдовы, которая стоит на месте как вко-

панная. Лиза, словно ее ударили кочергой между глаз, падает на пол. Миссис Коллинз помогает ей подняться. Никому не приходит в голову, что девочке лучше уйти.

— Выходит! — кричит повитуха.

— Хвала Господу! — говорит Гуини Джоунз и гладит себя по груди у сердца, выражая радость этим непроизвольным жестом.

Повитуха вытаскивает младенца, зажимает в кулаке скользкие лодыжки и поднимает его вверх. Весь в крови с головы до пят, он безжизненно свисает с ее руки.

— Живой? — спрашивает вдова Дайер.

Повитуха трясет младенца, и он начинает шевелить ручками, словно слепой пловец или незрячий старик, ощупью пробирающийся к двери. Он не кричит. Не издает ни звука. Женщины многозначительно качают головами. Ни звука. Лиза тянется к нему. Повитуха перерезает пуповину огромными ржавыми ножницами.

3

Через три дня младенца крестят. Джошуа, вдова, Лиза и крестный отец фермер Моди собираются в церкви. Элизабет слишком слаба, чтобы встать с постели. Из ее груди течет ненужное молоко. Ребенка кормит кормилица, женщина с кожей как у акулы.

Хотя уже середина дня, в церкви так темно, что пришедшие едва видят друг друга. Ребенок явно не жилец. В этом уверила всех вдова Дайер. Ни один здоровый ребенок не будет так странно себя вести. Чтобы не издать ни единого звука за три дня! Спит, просыпается и ест; ну хоть бы разочек заплакал. На голове дюжина шелковых черных кудряшек. Небесно-голубые глаза. Вдова говорит, коли умрет, будет лучше. Священник, припозднившись после обеда, наконец появляется, испускает, как можно незаметнее, газы, берет младенца на руки, спрашивает у Моди, отрекается ли он от деяний дьявола, и нарекает мальчика Джеймсом Дайером. Для этого хилого существа одного имени вполне достаточно, да и на долю камнереза придется меньше работы.

В купели нет воды. Священник плюет на паль-

цы и рисует на лбу младенца крест, чувствует, как тот шевелится, и передает ребенка девочке. Джошуа Дайер роется в кошельке, кладет деньги в ладонь священника, печально и неловко кивает. Они бредут домой по убранным полям. Лиза крепко прижимает мальчика к груди.

4

В доме слышат, что с тропки между полей доносится знакомый лошадиный топот. Лиза бежит к окошку. Вдова Дайер поднимает голову от штопки, выпрямляет свое грузное тело и торопится к огню. Там, в самом центре, в горящие угли воткнута кочерга. «Не надо, — Элизабет пытается ей помешать, — давайте я». Но пожилая женщина не обращает на нее внимания, вытаскивает кочергу, замотав руку обожженной тряпкой. Рядом уже стоит наготове миска с пуншем. Вдова опускает конец кочерги в жидкость, и сразу же раздается яростное шипение. Звук этот будит ребенка, который спал на стеганом одеяле, расстеленном на квашне. Ребенок видит толстую женщину у огня, смотрит, как она макает в пунш палец, потом отламывает от сахарной головы кусочек и размешивает его в миске.

— Он любит сладенькое. Обед-то готов? Оголодал, наверно, — чай, целый день на рынке.

Дети постарше уже сбегали к крыльцу посмотреть, как по тропке едет отец. Теперь, через кухню, они помчались к черному ходу, через который, они знают, он войдет, когда поставит

на конюшню лошадь. Через минуту слышатся тяжелые шаги, и ребята принимаются толкать друг друга, чтоб протиснуться поближе к двери. Щелкает железная щеколда, потом открывается кухонная дверь, и струя зимнего воздуха врывается в кухню.

Дети со всех сторон обступают отца, а он, подождав немного, закрывает дверь и протискивается в комнату. Вдова Дайер наливает пунш в кружку и подает сыну. «Пройди к огоньку, сынок», — говорит она, хлопотливо подталкивая его к очагу. Что за ящичек зажат у него под мышкой, она не спрашивает. Джошуа с подчеркнутой осторожностью ставит ящик на край стола, потом залпом выпивает свой пунш. Остальные, расположившись полукругом, не сводят с него глаз. Он принес с собой кусочек неведомого мира. От глубоких полузамерзших складок его пальто сильно тянет запахом лошади, кожи, табака. И морозным, дух захватывающим ароматом самой ночи.

Сара, теперь, когда родился мальчик, уже больше не младшая, встает на цыпочки и с интересом дотрагивается до ящика. Лиза, пристыдив, оттаскивает ее. Джошуа улыбается старшей дочке и, поддразнивая, спрашивает:

— А ты бы хотела заглянуть туда хоть одним

глазком, дочка?

— Выходит, ты продал гусей, батюшка, — говорит Лиза.

Он смеется и поднимает кружку:

— Ты все о делах, Лиза. Ну, тогда налей еще. Здравствуй, жена.

Элизабет кланяется. Она запеленала младенца и держит его на руках. Джошуа поворачивается к матери:

— Взял хорошие деньги за птицу.

Элизабет прикидывает, много ли выпил Джошуа на рынке. Она хорошо помнит ночь, тому полгода, когда муж свалился с лошади по дороге домой и весь его правый бок покрылся фиолетовыми синяками. Она помнит, как, стеная, он лежал на столе и в доме не было ни минуты покоя, пока не пришел Вайни с компрессами и настойками.

В этом году он старается держать себя в руках, но ящик — с виду такой тяжелый и дорогой — вызывает у нее беспокойство. Элизабет знает, о чем думают мужчины вроде Джошуа. И отец ее был такой же. Всю ночь готов торговаться о цене на овцу или мешок яблок, но только покажи ему что-нибудь новое, необычное, и он выбросит на ветер все деньги, словно ему герцог наследство

завещал. Чего удивительного, что шарлатаны и фокусники никогда не остаются внакладе. Ездят на прекрасных лошадях, покрытых прекрасной попоной.

— Так, значит, ты что-то купил, — говорит она, — что-то полезное.

Краем глаза Элизабет видит, как хмуро уставилась на нее вдова. «Да», — настаивает она, заметив, что краска прилила к лицу мужа. Он смотрит на нее злобно и оскорбленно, что в первые годы супружества частенько приводило к обмену тумаками, а следом — к постели. Тогда ее язвительность только обостряла их любовный пыл, но работа, болезни, дети, постоянная борьба с непогодой, уход за животными, которые только одно и знают, что умирать, все это лишило их вкуса к жизни, и сейчас они живут лишь судорожно, урывками. Мгновение они не отрываясь сверлят друг друга глазами, затем Джошуа поворачивается к ней спиной и протягивает руки к огню.

— Есть, — требует он.

Дети тихонько расходятся.

Джошуа ест. Обед его утихомиривает. Закончив, он утирает жирные губы и раскуривает трубку от тонкой свечи. Тянется через стол и придвигает к себе ящик, который оказывается

теперь между ним и Лизой. Он завернут в дерюгу и распространяет резкий запах промасленной шерсти. Ножом, которым только что ел, Джошуа разрезает веревку и подталкивает его к дочке со словами:

— Это для всех вас, но раз уж девчонка самая старшая и самая рассудительная, то он будет храниться у нее, а она станет показывать вам, когда пожелает. — И, обратившись к мальчику: — Поднеси свечу, Чарли. Вот так. Ставь с ней рядом.

Лиза с важностью маленькой королевы, рассматривающей дар чужеземного посольства, снимает дерюгу и обнаруживает полированный деревянный ящик размером аккурат в семейную Библию. Спереди медная защелка. Лиза поднимает глаза на отца.

— Ну, открывай же, детка, — говорит Джошуа. — Сам-то, поди, не откроется.

Лиза возится с замком, он поддается, ящик открывается, и девочка смотрит внутрь, а потом на окружающих. На всех лицах, за исключением отцовского, написано такое же возбуждение и любопытство, как на ее собственном. В ящике находится деревянный круг белого цвета, от которого кверху тянутся тонкие проволочки и шары разных размеров и цветов: красные и си-

ние, один черно-белый, а один — тот, что больше других, — золотой. По краю белого круга идут названия месяцев и изображения знаков зодиака. Сбоку — ручка, как у кофемолки.

Лиза проводит пальцем по золотому шару.

— Ишь, горячее, — говорит Джошуа, сияя от удовольствия.

— Ишь, горячее, — повторяет девочка.

— Летом — горячее, зимой — холодное. Целый день видать, а ночью нету, — он придумал эту загадку по дороге домой и теперь очень доволен собой.

— Поняла! — Элизабет на минуту забыла о потраченных деньгах. Всплеснула руками. — Это Солнце, это наш мир… а это Луна?

— А вот это Меркурий, — объясняет Джошуа. — Это Венера. Венера значит любовь, а Меркурий что-то там еще. Поверни вон ту ручку, Лиза. Так, правильно, — он покрывает Лизину ладошку своей. — Видишь?

Зубцы скрытого механизма сцепляются и поворачиваются. Шары начинают двигаться, каждый по своей дорожке, медленно и торжественно, словно епископы, танцующие менуэт. Дети сидят не дыша, словно завороженные.

— Все это зовется планетарий, — говорит Джо-

шуа почти шепотом. — Такое греческое слово.

Вдова Дайер с умным видом кивает; Сара и Чарли требуют своей очереди покрутить, во влажных глазах младенца тихонько вращается игрушечная вселенная — Рак, Лев, Дева — месяц за месяцем, год за годом.

Это самое раннее воспоминание Джеймса Дайера.

5

Первый доступный ему мир — кухня. Огонь, бьющийся в каминный прибор, отблеск, дрожащий на обратной стороне медных сковородок. Уютная бойня, на коей небесные, полевые и речные твари ощипываются, потрошатся и обжариваются на огне. Служанка Дженни Скерль, этот алхимик плоти, колдует над тушкой кролика или огромного белоснежного гуся; пальцы у нее толстые, как бутылочное горлышко, они рвут, выскабливают, режут, выдирают внутренности и набивают нежную утробу луком, крутыми яйцами, шалфеем, петрушкой, розмарином, нарезанными яблоками, каштанами. Чтобы позабавить ребятишек, она чистит угрей живьем.

Джеймс живет в нижних пределах этого мира, ползает по каменному полу под кухонным столом, где тощие, безымянные кошки, которые всегда умеют добиться своего, охотятся за двигающимися тенями. Кошки сидят неподалеку и наблюдают за летящими по воздуху перьями и сыплющейся мукой, дерутся с ним из-за упавших кусочков пищи, видя в Джеймсе гораздо более серьезного противника, чем его предшественники.

Никем не замеченный, он проводит здесь полдня, следя за женскими деревянными каблуками и укутанными в шерстяные чулки лодыжками под волнами нижних юбок, колышущихся будто морской прибой — туда-сюда, туда-сюда. Они никогда не стоят на месте.

Потом, после множества безмолвных падений, он уже знает, как забраться на кухонные табуреты, и сидит там, едва доставая ногами до края сиденья, без единого звука принимая тумаки и ласку, хлебные или бисквитные крошки, которые ему перепадают. Немота ребенка все больше и больше привлекает внимание взрослых. Некоторые считают его дурачком, безмозглым идиотом и, тетешкая его на коленях, обращаются к нему как к собаке. Женщины ласкают его за голубые глаза, за смешной серьезный взгляд. Если он остается с Лизой, его лицо становится влажным от поцелуев. А сам он неподвижно сидит у нее на коленях, ни на что не реагируя, будто паук в углу или звезда в небе. «Мальчик переменится, дайте время, — говорит Элизабет. — Дайте только время. Ведь и Сара отставала от других детей, бормотала что-то непонятное. А теперь говорит хорошо, даже слишком много». Она смотрит на Джеймса так, словно первыми его словами

станет обличение матери. Она наставила тебе рога, Джошуа Дайер! При звуках шума, доносящихся со стороны деревни, она с ужасом ждет «грохочущего оркестра», брызжущего ненавистью шутовского представления, которое обычно разыгрывают под окнами прелюбодейки. Господь простит, но она несколько раз пыталась выкинуть ребенка, у нее ведь и раньше бывали выкидыши. А два последних случились на четвертом месяце. Но этот оказался упорным, прямо-таки вцепился ей в живот. И сейчас своими голубыми глазами и молчанием, громким, будто рог охотника, он хочет пристыдить ее. Что до старухи-вдовы с грубым лицом, глазами как у хорька и нюхом, помогающим ей чуять правду, она все-таки не решается обвинить Элизабет открыто. Но глядит сначала на мальчика, а потом на невестку с таким выражением, что никаких слов и не требуется.

Ребенок растет, и мысли матери становятся все мрачнее. Она ощущает присутствие тьмы: то злобный огонек мелькнет в глазах барана, то ветка хлестнет по лицу, то муха проползет по белой коже запястья. Она вспоминает руку незнакомца, длинную и легкую, и строчки песенки, которую пела еще девчонкой: «Дьявол — это джентльмен,

что пляшет лучше всех...»

Однажды, когда мальчику идет уже третий год, сидя с ним одна и наблюдая, как он смотрит вокруг спокойным, пустым взглядом, словно понимая все или не осознавая ничего, она изо всех сил щиплет его за руку — так вонзает в него ногти, что того и гляди появится кровь. И когда он поднимает на нее глаза, в которых читается всего лишь вопрос, а потом спокойно переводит взгляд на свежие узкие вмятины на своей руке, Элизабет переполняют ужас и отвращение. Однако паника стихает, и ее захлестывает нежность. Какой он красивый! Как невероятно печален, как отгорожен от мира своим молчанием. Элизабет обнимает мальчика и зализывает отметину, которую сама же оставила на руке, правда, совсем убрать ее не удается, и спустя долгое время она все еще видит этот след — напоминание о своем стыде, ужасе и любви.

Иногда она боится, что вдова скажет словечко Джошуа, хотя обе они прекрасно знают, что Джошуа поверит только тому, чему захочет поверить, то есть тому, что его устраивает: жена ему верна и любит его так же, как и он ее. Как положено, раз в день Джошуа справляется: «Ну что там мальчик?» — однако ответа не ждет. И не вырезает

вечерами деревянных игрушек и волчков, как делал это для других детей.

Безмолвно, под покровом взрослых переживаний, мир Джеймса становится все больше. Его сознание, освоившее образы огня, кошек и нарисованных солнышек, теперь наполняется жизнью фермы. В поношенных бриджах из кроличьей кожи его вводят в медленно текущий быт двора, где он наблюдает, как кудахчут куры и пауки плетут паутину вокруг петель вечно открытых заклиненных дверей. Он узнает запах липы в полях, различает заячьи следы на снегу, слушает молотильщиков, чьи голоса кажутся призрачными среди пыли и теней амбара и чьи ноги обуты в старые шляпы, чтобы не разорвать солому, которая понадобится потом, чтобы крыть кровлю.

Он знакомится с Томом Перли, прозванным «человеком-клубникой» из-за огромной красной бородавки у него на шее. Том ведет мальчика посмотреть на свинью, которую они находят во фруктовом саду, — большую, белую, с огромными ушами; у нее изо рта пахнет яблоками, капустой и скисшим молоком из отходов маслодельни. Он смотрит, как свинью режут, как мужчины разминают руки и сжигают свиную щетину соло-

менными факелами.

Дженни Скерль водит его гулять в сад. У живой изгороди за домом она целуется с Бобом Кетчем, Дэном Миллером или Диком Шаттером. Боб Кетч тискает ей грудь, и она вздыхает так, словно ей грустно. В мае она украшает цветами волосы, себе и мальчику. Волосы у Джеймса пушистее, чем у Дженни, а зимой даже золотятся. Его глаза так и остались голубыми, хотя все надеются, что они потемнеют и станут карими, как у остальных детей. Мистер Вайни, заглянув к ним как-то раз, сообщает Джошуа, что такое случается: один голубоглазый ребенок в семье; редко, но случается.

Когда мальчик подрастает, его переселяют из родительской комнаты в соседнюю. Она небольшая. Там по обе стороны окна положено по два тюфяка и стоят два деревянных сундука для детских вещей. В углу небольшой камин, а на стене над Сариной постелью висит нарисованная девочкой картина — плоская рыжая корова на фоне гладкого голубого неба.

Что означает для мальчика проснуться — проснуться, когда мир снаружи больше похож на ночь, нежели на день? Это означает услышать цоканье и царапанье подковы, приглушенный голос паренька, который обычно водит лошадь

по пашне, или конюха — они разговаривают с Дженни, когда она выходит из дверей маслодельни, чтоб приняться за дойку. Немного погодя Джеймс слышит родителей. Сапоги отца грохочут по дому, мать что-то шепчет. Потом свет от горящей свечки тонкой полоской пробивается из-под двери, дверь тихо открывается, и старшие дети, Чарльз и Лиза, дрыгают ногами в мятых ночных рубашках, затем быстро-быстро натягивают на себя одежду и, ни слова не говоря, спускаются вниз по лестнице следом за свечой.

Затем Лиза возвращается, от ее рук пахнет сливками и дымом, мускусом и навозом. Холстиной, смоченной колодезной водой, она моет младших — Джеймса и Сару, — протирая мельчайшие складочки на их лицах своими ласковыми, но сильными руками. Так начинается день. С окрестных дворов и полей доносятся десятки знакомых звуков: кто кличет собак, кто сзывает стадо, а кто здоровается с соседом. Пилы, молотки и топоры принимаются за работу. Стая голубей, кружа, летит из хлева Ковертонской усадьбы; бедняки, дюжина вдовых, сирых и немощных, поднимаются со своих соломенных постелей, бредут к дому приходского попечителя по призрению бедных или стоят, склонив голову, у соседских дверей

в ожидании кружки теплого молока пополам с грубым словом или куска вчерашнего хлеба.

6

В царствование королевы Анны леди Денби подарила деревне Ио небольшое здание под школу. Учителя в ней обычно преподавали либо очень молодые, либо очень старые, либо какие-то ущербные. Септимус Кайт, на коего ныне возложена эта обязанность, проживает в двух маленьких комнатах в глубине дома. Здесь стоят его маленькая кровать и маленький стол, здесь он ест, спит и попивает настойку опия. У него есть помощница, хромая старая дева из деревни, мисс Лакет. То, что ей причитается за помощь учителю и за проданные джемы собственного изготовления, удерживает ее до поры до времени от церковной паперти.

Все дети Дайеров посещали школу, но лишь тогда, когда в них не было особой надобности для работы на ферме. Джеймс в первый раз отправляется туда вместе с Лизой, хотя она давно уже закончила учебу. Они идут по дорожке вдоль кустов боярышника, нежные зеленые листочки которого дети любят жевать по весне. Школа стоит в стороне от дорожки, ее необожженные кирпичи все еще кажутся совсем новыми по

сравнению с посеревшими от времени стенами монастыря. Лиза представляет мальчика мистеру Кайту. Учитель глядит сверху вниз, хмыкает и спрашивает:

— Это тот, который не говорит?

— Еще не говорит, сэр, — объясняет Лиза. — Но все хорошо понимает.

— Посади его сюда, — велит Кайт. — Побольше бы мне таких.

Место Джеймса — на скамье у окна. Лиза кладет теплую печеную картофелину ему в карман со словами:

— Делай, что тебе скажут, Джем.

Она уходит. Мальчик не оборачивается.

Мисс Лакет, у которой одна нога на три дюйма короче другой, передвигается, смешно ковыляя, и дети, следуя за ней по дорожке в школу, вечно ее передразнивают. Но учитель она сердечный и добросовестный. Молодые мужчины и женщины с детьми на руках всегда смущенно останавливаются с ней побеседовать, напомнить, как их зовут, хотя она и без того никого из них не забывает.

Мелом на грифельной доске она обучает Джеймса писать буквы. По-своему он очень способный мальчик, но есть в нем что-то такое, от чего мисс Лакет делается не по себе. Она всегда с гордостью

утверждала, что достаточно ребенку походить в школу месяц, и она уже знает, на что он способен, как будет ладить с другими детьми и каким станет в будущем. Что до Джеймса, то и спустя полгода ей так же непонятен его характер, как когда он только переступил школьный порог. Он не пользуется особой любовью других детей, это ей известно, но его никогда не дразнят. Старшие мальчики крепко подумают, прежде чем начать задираться. В нем есть какая-то независимость, надменность, неестественные для шестилетнего мальчика; ничего подобного она не замечала ни у его брата, ни у сестер, капризных и нетерпеливых, как все дети. Конечно, до нее докатились сплетни, смутные слухи, витавшие вокруг Элизабет Дайер после рождения мальчика.

Может, ребенок несчастлив, думает она и, будучи сама большим специалистом по этой части, пытается своими взглядами и жестами дать мальчику понять, что он ей небезразличен, но, похоже, он ничего не воспринимает. У него отменные навыки практической работы. Шьет гораздо ровнее, чем девочки, и все швы такие маленькие, как мошки. Хорошо рисует, а точнее, очень аккуратно копирует, причем никогда не полагаясь на воображение. Его совсем не ин-

тересуют истории — вот с этим ей раньше не приходилось встречаться. Они словно сбивают его с толку, и, когда погожими днями, растянувшимися, точно огромные голубые или серые озера над вересковыми полями, она читает в классе «Путешествия Гулливера» или рассказывает сказки про Уилтширских простаков или про Мальчика-с-пальчик, лицо одного лишь Джеймса ничего не выражает; взгляд его пуст, почти как у слабоумного.

В школе есть мальчик, на год старше Джеймса, Питер Паундсет, над которым любят поиздеваться другие дети. Ничем особенным от прочих учеников он не отличается. Не толстый и не худой, с правильными чертами лица. Для своего возраста довольно силен, не хуже других может бросить мяч или перепрыгнуть через канаву. Отец у него плотник, мать печет великолепные пирожные, и дом их далеко не самый бедный в деревне. Но дети словно видят в нем особые приметы, какие находят пчелы на некоторых цветах, приметы, скрытые от глаз взрослых. И они коверкают его имя, превращая его в абракадабру, в детские непристойности, крадут у него завтрак и выбрасывают в реку. Швыряют ему в спину навозом. Про него говорят, что он имеет сноше-

ния с домашними животными, ворует у других стеклянные шарики и пенсы и так отвратительно ругается, что невозможно слушать. Самые злобные обвинения исходят как раз от тех, кто травит его с особой беспощадностью. Известные воришки обвиняют его в воровстве, драчуны — в том, что он их толкнул, а те, кто ловит мальчика и сдирает с него бриджи — такое случается по крайней мере дважды за зиму, — скорее всего, обвинят его именно в этом проступке по отношению к ним. Ребята так и вьются вокруг мисс Лакет, а те, что похрабрее, вокруг мистера Кайта в надежде, что их жертву высекут. Часто их наговоры оказывают свое действие, и Питера Паундсета укладывают перед всем классом на стул, а мистер Кайт начинает орудовать полуметровым ремнем из выделанной кожи, который обыкновенно висит на гвозде рядом с портретом леди Денби.

В таких развлечениях Джеймс не участвует, хотя и наблюдает за ними со стороны, задумчиво сдвинув брови. Это, полагает мисс Лакет, признак не столь уж злого сердца. Так думает и Питер Паундсет, который, в отчаянии ища союзника, выразительно поглядывает в сторону Джеймса и делает по велению сердца то, чего никогда бы не сделал от жадности или страха, — крадет кусочки

съестного и пенсы, спрятанные в коробке под родительской кроватью, и приносит их Джеймсу, а тот либо принимает дары, либо отвергает в зависимости лишь от того, нужны они ему или нет. Питер Паундсет трепещет в надежде. Мучители отступают.

Проходит месяц. Дети выжидают. За ним второй. Нападать на Питера никто не решается. Словно Джеймс очертил мальчика кругом, а дети, хоть и подошли к самому краешку, ступить за черту боятся.

Наконец решились. Это происходит в пятницу утром на перемене, за неделю до закрытия школы на время сбора сена. Китти Гейт, толстая десятилетняя дочь кузнеца, швыряет камнем в ногу Питеру Паундсету, который сидит на корточках рядом с Джеймсом; они играют в стеклянные шарики у монастырской стены. Джеймс слышит, как стукнул камень и охнул Питер, он смотрит на него, потом на Китти. Не сводя глаз с Джеймса, девчонка медленно тянется за другим камнем. Джеймс отворачивается. Его очередь играть. «Джеймс?» — шепчет Питер. Потом еще раз, уже громче: «Джеймс!» Ответа нет. Китти поняла если не все, то достаточно, чтобы действовать. С радостным воплем она изо всей силы кидает

второй камень и попадает своей жертве прямо в лицо, рассекая Питеру нижнюю губу и мгновенно превращая ее в кровавую розу, чьи бархатистые лепестки брызгами опадают ему на рубаху.

Эту сцену наблюдает из окна классной комнаты мисс Лакет. И вот она с ремнем в руке уже выбегает из дверей, точно хромая фурия. Она боится, что не успеет их догнать, но при виде разбитого лица Питера Паундсета Китти так и замерла, и о появлении мисс Лакет девчонка узнает только по обжигающему удару ремнем по спине, валящему ее с ног. Но не Китти — главная цель мисс Лакет. Она спешит к стене, припадая и выпрямляясь, делая упор на здоровую ногу, — туда, где стоит Питер Паундсет, а Джеймс, предавший его, спокойно наблюдает за ее приближением. Больше всего ей хочется полоснуть его ремнем по физиономии, чего раньше она никогда не делала, да и сама эта мысль никогда не приходила ей в голову. Задыхаясь, она останавливается перед Джеймсом, замахивается, но, когда встречаются их взгляды, все ее бешенство улетучивается. Голубые, как васильки в окрестных полях, его глаза не выражают никакого коварства. То, что она видела в нем раньше, не было добротой. Но и то, что открылось ей сейчас, не злоба. Несколько

секунд они смотрят друг на друга. Потом она отворачивается, берет Питера Паундсета за шиворот и ведет в школу. Мальчик, точно теленок, которого пытались зарезать неумелой рукой, тащится рядом с ней, плача и обливаясь кровью.

7

Страда. Деревня готовится к ней, как армия к битве. Джошуа Дайер набирает в помощь людей, сколько может. Девять пенсов в день и необходимое питание каждому, да еще по пенсу мальчишкам и женщинам. Почти каждый год ему хватает местных жителей из тех, что победнее; они являются к Дайеру, когда соберут причитающуюся им долю с земли, что осталась от общинного луга. Но время от времени пополнение приходит с дороги — солдаты и даже матросы, дезертировавшие, охромевшие или распущенные по домам после Деттингена,[10] Фонтенуа[11] и Каллодена.[12]

В страду 1749 года вдова Дайер несла работни-

---

[10] Примечания: 10

Деттинген — место на р. Майн (сейчас — территория Германии), где во время «войны за австрийское наследство» (1740–1748) в 1743 г. англичане под командованием Георга II разбили французов.

[11] Примечания: 11

Фонтенуа — селение в Бельгии (пров. Зап. Фландрия), в районе которого 11 мая 1745 г. во время «войны за австрийское наследство» произошло сражение французской армии с англо-голландско-ганноверскими войсками. Французские войска одержали победу, потеряв около 6 тыс. человек, союзники же потеряли до 14 тыс.

[12] Примечания: 12

Каллоден — местность в Шотландии, где в 1745 г. произошло сражение, закончившееся поражением сторонников династии Стюартов и

положившее конец их попыткам вернуть трон.

кам в поле хлеб с сидром, и по дороге ее разбил паралич. Вдову обнаруживает Джеймс, которого послали узнать, что сталось с едой, — старуха лежит, растянувшись на тропинке, будто гора белья. Картина кажется мальчику любопытной. Дважды он обходит вокруг, разглядывая толстые икры, выбившиеся из-под льняного чепца волосы и большое лунообразное налитое кровью лицо. По ее щеке разгуливает трупная муха.

Он ждет, что сделает вдова; может, к примеру, помрет. Она шевелит губами, беззвучно моля о помощи. Проливая сидр на подбородок, мальчик пьет из оброненной бутыли. Потом идет за матерью.

Восемь человек, едва дыша и еле передвигая ноги, втаскивают вдову в дом. Укладывают на низенькую кровать на колесиках, что обычно задвигается под большую кровать, но теперь поставлена в общей комнате, посылают за пастором, который в свою очередь посылает за викарием, и тот, вспотев, прибегает с поля читать молитву над умирающей. В ожидании, когда вдова отойдет, вокруг кровати собирается семья. Дыхание вдовы похоже на звук, который издает мешок с углем, если его тащить по каменному полу, но к вечеру ей становится легче. Чарли отправляют в

Медердич за мистером Вайни.

Тот приезжает. В темноте его кобыла кажется белой как молоко. При свете свечки, которую Джошуа держит у лица матери, Вайни осматривает вдову и, отворяя ей кровь, говорит: «Пусть остается там, где положили. Коли переживет ночь, пошлите за мной снова. Нынче самое подходящее для нее лекарство — молитва». Затем он выпивает на пару с Джошуа стаканчик сидра, садится в седло и удаляется по тропинке в темноту.

Всю ночь Джошуа и Элизабет сидят в общей комнате. Элизабет что-то шьет. Дом успокаивается, вздыхает; вдова дышит со свистом и клокотанием. На рассвете она все еще жива. Поскольку Чарльз нужен в поле, за аптекарем посылают Джеймса.

До Медердича час неторопливой ходьбы. Дом Вайни, весь увитый плющом, стоит на окраине деревни. Дверь открывает тетушка Вайни, с которой в свое время вдова любила посплетничать. Она читает написанную Лизой записку, где объясняется, зачем прислали Джеймса, и ведет его в дом. Велит прислуге позвать аптекаря, а сама стоит и с интересом разглядывает ребенка. Так вот он каков, ублюдок Элизабет Дайер, ее позор. Люди говорят, немой. Нет, не нравится он ей нисколеч-

ко. Ублюдку надлежит быть смиреннейшим на белом свете созданием. А этот разглядывает ее, точно кухарку.

— Тебе известно, кто ты? — говорит она. — Тебе известно, кто твоя мать? Сказать ли тебе, мальчик? Сказать?

Тут входит Вайни. Его лицо — проницательное, озабоченное и добродушное — раскраснелось от жары. Тетушка протягивает ему записку и выходит из комнаты. Он читает, нацепив на нос складные очки, и кивает головой со словами:

— Стало быть, у нас есть надежда. Ну что же, мальчик, будем ее лечить, как думаешь?

Жестом он показывает Джеймсу, чтобы тот шел следом за ним. Они выходят в коридор, а оттуда к двери. Комната согрета солнечным светом, который пробивается сквозь полуоткрытые ставни. Просторная комната, но вся загромождена склянками и прочими предметами, связанными с аптекарским делом. Джеймс поводит носом. Чувствует запахи, ни на что не похожие. Что-то горькое, металлическое, но вместе с тем сладкое, как будто аптекарь перемешал цветы и наковальни, порох и тухлые яйца, дабы получился единственный в своем роде отвратительный запах.

В центре комнаты стоит верстак, уставленный ступками, обливными банками, закопченными ножами. Там же доска, на которой катают пилюли, кучка крабовых клешней, человеческий череп и несколько книг с мятыми желтыми страницами, когда-то, похоже, облитыми водой. С потолка свешиваются пучки сушеных трав.

— А теперь, мальчик, — произносит Вайни, — выберем-ка что-нибудь, чтоб излечить вдову. Пожалуй, настойку бурачника. — Он тянется рукой вверх и берет пясть голубых цветов-звездочек. — И что-нибудь очищающее. Когда болезнь точит тело, ее следует изгонять. — Он берет листья сенны и имбирь. — Мое искусство — не трогай это! — состоит в посредничестве между человеком и природой. Сие искусство было дано нашим предкам от Бога… Да… подай-ка мне тот горшок… Так что врачевание — занятие священное… поставь его на печь. Высокомерие нынешних врачей приведет к беде. Без подобающего смирения нельзя ни лечить — это легкое лисицы, — ни лечиться. Вот так-то. А теперь вода вытянет из растений все нужное. Ты хороший помощник, Джеймс. Я скажу об этом твоему отцу.

По дороге в Блайнд Ио Джеймс сидит перед аптекарем, вцепившись пальцами в жесткую

кобылью гриву. От жителей деревни слышится: «Добрый путь, мистер Вайни!», «Всего вам хорошего, сэр!», «Неужто это маленький Дайер таким молодцом сидит с вами в седле?»

Хождение за лекарством в Медердич и обратно стало главной обязанностью Джеймса. Все больше и больше времени он проводит в комнате аптекаря, наблюдая, а затем помогая готовить микстуры, мази и полоскания. Он уже знает, как скатать пилюлю, сделать из яичного желтка эмульсию, приготовить лавандовое, гвоздичное и имбирное масло. Сам Вайни больше поглощен металлами, просиживает у плавильного тигля и печи с пирамидами цифр. Не раз приходится им удирать в сад от клубов ядовитого дыма и вдыхать полной грудью свежий воздух, пока тетушка в ужасе машет на них веером.

Вопреки ожиданиям вдова оправляется от болезни, хоть теперь она нема, как и мальчик, навеки потеряв свой голос где-то там, над летними полями. К Рождеству она начинает вставать с постели, спина у нее покрыта следами от пролежней, лицо похудело, кожа на нем обвисла. Походы в Медердич больше не требуются. Сейчас, как никогда раньше, мальчик живет своей жизнью, то появляется, то тихонько исчезает. Его молча-

ние, немое безразличие воспринимаются как дерзость, нахальство. Впадая в настоящую ярость, Джошуа его бьет. Даже Элизабет обращается с ним холодно, негодуя, что ребенок привлекает к себе слишком много внимания, а тем самым к ней и прошлому. Однажды утром она смотрит, как он карабкается по стене крепости, словно жестокий маленький дикарь, и думает: «Вот бы он не останавливался. Вот бы он так и карабкался, выше и выше. Вот бы мне больше его не видеть».

Но сердце ее сжимается от боли.

8

Лето 1750 года. Год лондонских землетрясений. Самое жаркое лето в жизни мальчика, зной стоит еще сильнее, чем в сорок восьмом, когда на поля напала саранча. Джеймс лежит на животе на склоне холма, наблюдая за приготовлениями к свадьбе в саду под ним. Еле узнаваемые маленькие фигурки снуют, держа что-то в руках, в дом и обратно. Он не слышит, как по мягкой траве тихими шагами к нему приближается незнакомец. И вот чужая рука хватает его за шиворот и ставит на ноги.

Незнакомец разглядывает Джеймса, потом, ослабив хватку, говорит:

— Хороша птица, хоть сейчас в мешок! Прячешься, парень, или шпионишь? Ты местный?

Джеймс вырывается, трет шею, кивает.

— В таком случае, Проказник Робин, я тебя нанимаю. Которая тут ферма Дайера?

Джеймс указывает вниз. Незнакомец прищуривается, обмахивается шляпой, плюет на пчелу. Некоторое время прикидывает, стоит ли в этом месте спускаться. Наконец говорит: «Тогда пошли», и они идут вниз зигзагами по направлению

к овцам, пасущимся в тени вяза, рядом с воротами, что ведут на дорогу. По пути Джеймс украдкой посматривает на незнакомца: небесно-голубые глаза, оспины на коже, на плечи сыплется пудра с парика из козлиной шерсти. Кафтан украшен ленточками, но трудно представить себе, чтобы этот человек был знакомым Джошуа и уж тем паче Дженни Скерль или Боба Кетча. Не фермер, это точно, но и не коробейник, у него ведь нет с собой короба. На джентльмена тоже не похож. Более всего он напоминает Джеймсу актеров, два года назад дававших представление на ферме Моди, а он наблюдал через дыру в доске сарая, как они переодевались, плясали и орали друг на друга в крысином мраке.

Выйдя на дорогу, незнакомец начинает говорить громче, как будто, несмотря на опасения, внушаемые ему округой, он не хочет показаться чересчур осторожным.

— …Свадьба, мальчик, о, это самая прекрасная вещь на свете, самая удивительная, если, конечно, ты не принадлежишь ни к одной из сторон. Ты когда-нибудь бывал на свадьбе? Своих родителей, к примеру?

Джеймс трясет головой.

— Похороны, однако, предпочтительнее. Па-

рень в приличном платье может спокойно жить годами за счет одного лишь тщеславия покойника. Однажды я был на похоронах в Бате. Хоронили известного игрока, который…

Незнакомец останавливается на дороге рядом с тропинкой, ведущей к ферме. Наклоняется. Вглядывается в лицо мальчика.

— Сдается мне, дружище, ты не вылеплен из грязи с соломой, как некоторые поселяне. Ты мне даже кого-то напоминаешь. Не приходилось ли тебе бывать в Ньюгейтской тюрьме? На флоте? В исправительном доме Брайдуэлл? Нет… Знать, мне померещилось. Скажи-ка мне, есть у тебя в кармане деньги? Может, хоть пенс?

Джеймс мотает головой. Незнакомец пожимает плечами:

— Ну нет так нет, ибо в этом мы схожи. Ходишь в школу?

Кивок.

— Умеешь читать?

Кивок.

— Господи Иисусе, приятель, с большим толком я мог бы побеседовать со своей шляпой. Ты что, вообще не говоришь?.. Ага, существо кивает. Ему нравится быть немым?.. Не знает. А где существо живет?.. Смотри-ка! Показывает… Здесь? Здесь!

Так Дайер твой отец?

Прежде чем Джеймс успевает пошевелиться, незнакомец сжимает его лицо в ладонях и разглядывает, точно портрет. Руки у него пахнут табаком. Он смеется, и его смех больше похож на лай. «Будь я… будь я…» — шепчет он.

С дороги доносятся голоса. Это свадебный поезд, покрашенный свежей желтой краской, поворачивает с Церковной улицы, в нем сидят Дженни Скерль и Боб Кетч и еще полдюжины гостей, которые поют, кричат и пускают по кругу бутыль.

Незнакомец еще секунду смотрит на мальчика, потом быстро уходит по направлению к саду, шлепая на ходу оторванной подошвой на башмаке.

Джеймс бежит в дом. Потные женщины хлопочут на кухне. Незамеченный, он поднимается наверх. Сара, Лиза и Чарльз уже давно переоделись. По кроватям разложена их будничная одежда. Теперь, когда дети выросли, комната разделена занавеской. Джеймс теребит в руках шерсть сестриных платьев и деревянные гребни, в которых золотятся на солнце Сарины рыжие волосы. Сара — красавица. Полдеревни влюблено в нее, на коре дюжины деревьев вырезано ее имя. Мужчины и юноши так и вьются возле

нее, одурманенные страстью, даром что Джошуа громко поминает свое короткоствольное ружье с раструбом, заряженное ржавыми гвоздями.

Воздыхатели есть и у Лизы, но она относится к ним столь сурово, что большинство отступают в надежде найти более нежное сердце и более легкую добычу где-нибудь в другом месте. По правде говоря, ее привязанность уже поделена, как волшебная палочка, между отцом и младшим братом.

Джеймс раздевается, натягивает кожаные бриджи и льняную рубашку. Разглядывает себя в зеркале. Высокий не по годам, с тонкой костью, кожа словно отполирована солнцем. Как загадочен его вид, какое молчаливое и понимающее у него лицо. Иногда ему кажется, что это лицо заговорит с ним и откроет ему секреты, удивительные секреты. Он всматривается в него до головокружения.

На лестнице слышится топот и грохот деревянных подошв, потом голоса Дженни Скерль и матери, которые смеются и журят друг друга. Он выходит на узкую лестничную площадку. У Дженни Скерль лицо круглое и бледное, как разрезанное пополам яблоко. Она уже изрядно выпила, и вид мальчика, кажется, затронул неж-

ную струну в ее сердце. Наклонившись, она со смаком целует его в щеку.

— Теперь ступай, Джем, — говорит Элизабет.

Шум свадьбы в саду уже чересчур громок. За длинным столом, покрытым белой скатертью, сидят гости, едят и пьют то, что выставил Джошуа Дайер. Сам Джошуа, втиснувшийся в платье, которое надевал на собственную свадьбу, сидит рядом с вдовой Скерль, тощей, нервной женщиной в огромной некрасивой шляпе, поля которой задевают нос пастора всякий раз, как она поворачивается к нему с разговором. Но пастор едва ли это замечает. Потея, он рассказывает историю, которую никто, однако, не слушает. В траве рядом с ним поблескивает пустая бутылка из-под портвейна. Рядом с пастором, словно непроницаемая грозовая туча, сидит вдова Дайер. Далее Боб Кетч с сестрой Амельдой. Та разглядывает что-то, лежащее на ладони у незнакомца, и кивает разгоряченной милой головкой. Под столом собака, черная, с толстой шеей, подбирает брошенные под ноги гостей объедки.

Кажется, урожай на этот раз снова выдался неплохой. Джошуа, упиваясь взятой на себя ролью посаженого отца Дженни, родитель которой погиб в море, позаботился о том, чтобы еды хва-

тило на всех. Завидев Джеймса, он подзывает мальчика, неловким движением подтаскивает к себе и сажает на колени. Пошатываясь, с широкой блуждающей улыбкой на лице, молодая идет к своему месту. Вдова Скерль, сверкая деснами, отдирает кусок белого куриного мяса и сует в рот мальчику. Он держит его на языке, пока Джошуа не берется за нож, чтобы что-то отрезать. Тогда он соскальзывает с колен отца, исчезает под ближайшими деревьями и выплевывает мясо в траву.

Он петляет между рядами фруктовых деревьев, постепенно приближаясь к самому высокому дереву в саду — старой вишне. Сняв курточку, он обходит вокруг ствола, пока не обнаруживает нарост на коре, о который можно опереться ногой. Тянется вверх, пачкая манишку лишайником, когда пытается ухватиться за самую нижнюю ветку, потом закидывает ноги, переворачивается всем корпусом и оказывается лежащим на ветке, будто сонный кот. Садится, находит другую ветку, до которой легко дотянуться, и прикидывает, как ему сподручнее будет перелезть с одной ветки на другую, словно по винтовой лестнице. По мере его приближения таскающие ягоды птицы вспархивают и разлетаются в разные стороны. То и дело

он останавливается в жаркой тени, чтобы съесть ягоду, а потом выплюнуть косточку и смотреть, как она будет отскакивать от веток внизу. Тут-то он и замечает под деревом темные очертания какого-то зверя. И зверь в ту же секунду замечает его, поднимает мордочку и жадно всматривается. Джеймс лезет выше, уже осторожнее, ибо сучья начинают гнуться под тяжестью его тела. Листва редеет, и вдруг из переплетения тоненьких веточек его голова высовывается прямо в небо, словно мальчик только что вылупился из нефритового яйца; нос его чует свежий ветерок, а глаза щурятся от солнца.

Он встает поудобнее, осматривается. Крепость на холме, ферма Моди, церковь, вересковые поля. Он поворачивается еще и еще, пока не натыкается взглядом на ослепительно белое полотнище стола, за которым продолжают пировать гости, правда, некоторые обступили Амельду Кетч, она отстегнула свою косынку, а Элизабет, словно веером, Амельду обмахивает. Джошуа и пастор чокаются кружками, провозглашая тосты за партию тори. Сара и Чарльз дразнят собаку, то выбегая из-за деревьев, то прячась назад, а пес упорно преследует их большими скачками. Кто-то требует танцев, и старик, что играл у реки в

тот жуткий мороз, скрюченный, точно древесный корень, исторгает из своей скрипки долгий дрожащий звук. Жених, обнявшись с осипшей невестой, ведет за собой танцующих. Постепенно к ним присоединяются остальные — идут в танце по кругу, изображают ручеек, подпрыгивают и кружатся. Даже вдова Скерль приплясывает, держась за свою рюмку, словно маленький, движимый неведомой силой диванчик.

Музыка стихает; танцоры, запыхавшись, хлопают друг другу и готовятся к следующему танцу, но в этот момент Лиза, застясь от солнца рукой, указывает куда-то и зовет Элизабет, та кричит что-то Джошуа, который, внимательно присмотревшись, орет:

— Слезай оттуда, Джеймс! Боже, куда тебя занесло!

Джеймсу кажется, что он на невероятной высоте, невероятно далеко от всех, и ему даже трудно поверить, что именно на него указывают пальцами люди внизу, машут руками, делают странные резкие движения сверху вниз, словно обтесывают в воздухе несуществующий камень. Он ступает выше, в середину расходящихся рогаткой тонких веток. Люди машут сильнее. Джошуа кричит так, словно вдали грохочет пушечная канонада.

Джеймс наклоняется вниз. Крики стихают. Даже руки людей застывают в воздухе. Кажется, стоит сделать один только шаг — и сразу взлетишь. Он отводит в стороны руки, смотрит во все концы света. Вес мальчика на какую-то малюсенькую толику превышает допустимый предел, и вот он уже летит — поразительно быстро — в зеленое небо, а после — ничего. Ничего, кроме воспоминания об этом полете, слабого и угасающего, и железный привкус крови во рту.

9

— Ну как ты, Джем?

Все столпились в маленькой комнате у коридора, где раньше лежала больная вдова Дайер. В комнате по сию пору держится ее запах, смешанный с запахом лекарств, что Джеймс приносил из Медердича. Огромный, как туча, Амос Гейт склоняется над распростертым мальчиком и, хмурясь, рассматривает его ногу. Стопа болтается, точно спустившийся чулок; можно стянуть ее голыми руками. Амос поворачивается и обращается к присутствующим:

— Те, которым тут делать нечего, уходите. Это вам не на драку глазеть.

Люди уходят, оглядываясь назад с потрясенным видом, какой бывает у тех, кто протрезвел слишком быстро.

Остаются Джошуа, Элизабет, Амос и незнакомец.

— Марли Гаммер, — представляется незнакомец. — Весь к вашим услугам, сударыня. Имею некоторый опыт в хирургическом деле.

Амос кладет руку на плечо Джошуа:

— Вам с хозяйкой тоже бы лучше уйти. Мне

будет сподручнее с мистером Гамли.

— Гаммер, сударь, Марли Гаммер.

Джошуа смотрит на жену, которая сидит на краю кровати. Несколько секунд она вглядывается мальчику в лицо, потом целует его в лоб.

— Он у нас смелый, — говорит она. — Вот увидите, какой он смелый.

Когда Джошуа и Элизабет выходят, двое мужчин раздеваются, Амос — до последней рубашки, Гаммер — до изысканного, хоть и полинялого, жилета в сине-зеленых тонах. Стоя по обе стороны кровати, они спешно устраивают консультацию. Несколько раз кузнец просит мальчика лежать спокойно. И Гаммер замечает, что именно так тот и делает — лежит на удивление спокойно.

Своими грубыми пальцами Гаммер ощупывает место перелома. Ему приходилось вправлять кости, наверное, раз двадцать за свою жизнь. Но никогда он не встречал такого перелома. Чем дольше откладывать, тем меньше надежды спасти ногу. Быть может, уже и сейчас слишком поздно.

— Дурное это дело, по деревьям лазить, а, Джем?

— Конечно, — подхватывает Гаммер. — Но главная-то дурь не в том, чтоб лазить, а в том,

чтоб падать.

— Ну, коли не полезешь, так и не… Черт, мне было бы легче, если бы он хоть немного покричал. Странно это, лежит себе и все.

— Так он никогда ничего не говорит?

— Никогда.

— Но, кажется, понимает. Джеймс Дайер, понимаешь ли ты, что сломал ногу?

Джеймс смотрит вниз, на ногу, затем на Гаммера. Кивает. Гаммер не спускает с него глаз, потом переводит взгляд на кузнеца.

— Пора начинать, — говорит тот.

— Еще минуту, сударь. — Гаммер поднимает руку. — Это становится занятным. Джеймс, ты что-нибудь чувствуешь? Может, жжет? — Он резко стучит по раздувшейся ноге. Мальчик сосредоточен, словно прислушивается к звуку камня, брошенного на дно колодца. Мотает головой.

Мужчины переглядываются. Гаммер вскакивает с постели, торопливо оглядывает комнату и со стола, что стоит у окна, берет свечку и трутницу. Зажигает свечку и подносит к кровати.

— Закрой глаза, парень, и дай мне свою руку.

Что-то слишком свойское прозвучало в его голосе, и мальчик впервые насторожился. Помедлив немного, он все-таки закрывает глаза. Чувствует,

как Гаммер берет его за руку и крепко держит. А потом такое ощущение, словно кто-то проводит перышком по кончикам пальцев. Кажется, запахло горелым мясом.

— Будет вам, Гамли, — просит кузнец.

Когда Джеймс открывает глаза, он видит красную, пахнущую дымом полосу, вздувшуюся у него на кончиках пальцев. Гаммер задувает свечку.

— Наводит на размышления, мистер Гейт, не правда ли?

Амос скребет пальцами щетину на шее:

— Думаете, от удара у него чувства отшибло?

— Самое удивительное во всем этом не столько то, что он не испытывает боли, сколько то, что он и не предполагал, что ее можно испытывать. Что вы на это скажете, сударь?

— Невероятно.

— Не так уж невероятно, хвала Господу, не так уж невероятно… То, что действительно невероятно, ничего не стоит, а я не сомневаюсь, что на парня спрос будет больше, чем на женщину-крольчиху из Годалминга, ежели, конечно, повести это дело правильно. Ежели за него возьмется человек понимающий…

— Возьмется за что?

— Дорогой мой мистер Гейт, послушайте. Вы,

как я вижу, весьма озадачены. Но разве вы не понимаете? Коли моя догадка верна, то перед нами явление чрезвычайной редкости. Ведь так, парень? Чудо природы. Подлинная rara avis.[13] Некий… — и далее, понизив голос, — товар. — Он смеется, странным резким движением откинув назад голову. — Да, сегодняшний день был полон сюрпризов. Жизнь, мистер Гейт. Как она бывает щедра, верно?

Лицо кузнеца приняло серьезное выражение; именно с таким лицом он выправляет подковы.

— Вот что я должен сказать вам, сударь. Сын Джоша Дайера не продается и никогда продаваться не будет. А нам с вами надобно вправить кость. Так что возьмемся за дело. Вы будете держать мальчика.

Стоя в изножье постели, Амос берется за ступню Джеймса. Гаммер пожимает плечами, стаскивает парик, обнажая неровно остриженные волосы.

— Как пожелаете, мистер Гейт. Только не думаю, что есть необходимость его держать.

Он обхватывает мальчика.

— Тащите! Ха!

Две недели лежит Джеймс на низенькой кро-

---

[13] Примечания: 13
Редкая птица *(лат.)*.

вати на колесиках, наблюдая, как свет убывает и прибывает на побеленных стенах. Любопытные пчелы, мухи и бабочки залетают в открытое окно. Его нога зажата между двумя досками, оставшимися после постройки коровника. Кое-где ее изгадили цыплята, которые, как известно, гадят везде. Джеймс сдирает засохший черно-белый помет и, выбирая цель, кидает его в противоположную стену. Жар держится пять дней, потом проходит. Падение — эта та ось, вокруг которой он вращается в своей памяти, снах, полудремотных фантазиях. Дважды вечером, когда его оставляют одного с горящей свечой, он повторяет эксперимент Марли Гаммера. Один раз в присутствии Лизы. Она с ужасом отталкивает его руку. Так Джеймс получает еще одно доказательство.

Нога заживает на редкость быстро, что поражает всех, кроме него. Заглядывает Вайни, полчаса осматривает мальчика, говорит, что никогда не видел ничего подобного. Приходит мисс Лакет с корзинкой клубники из собственного сада. Элизабет приносит еду, смотрит, как он ест, разглядывает его, словно хочет понять, что же он такое. Однажды утром в комнату, ковыляя, заходит вдова, опускает палец в ночной горшок, нюхает и бросает на мальчика злобный взгляд.

Гаммер не приходит. Но Джеймсу хочется, чтобы он пришел.

Чаще всего его навещает Лиза. Она приносит выдержки, собственноручно переписанные из местных газет. Читает их Джеймсу, сидя в изножье кровати и изо всех сил стараясь выразить голосом характер сплетен или сенсаций, вдохнуть жизнь в сообщения о прибытии или отбытии кораблей и лордов. На коров снова напала чума. В Сент-Филлипс-Грин, угрожая оружием, ограбили квакера. Старушка, оставившая рядом с занавеской зажженную свечу, сгорела заживо. Их светлости герцог и герцогиня Сент-Олбанс прибыли на воды в Бристоль. Сообщается о смерти ирландца Джона Фоллса, прославившего свое имя тем, что однажды он выпил за один присест две кварты[14] виски, после чего без посторонней помощи дошел до дому.

Лиза знает, что Джеймс слушает, заглядывая в мир через эти газетные щелочки. Когда все уже прочитано, она принимается болтать, рассказывает, кого сегодня видела, кто, что и кому говорил. Задает вопросы и сама же на них отвечает. Эта манера выработалась с годами, теперь все так

---

[14] Примечания: 14

1 кварта (в Англии) равняется 1,14 литра.

с ним говорят. Такое общение проще всего, да и родные давно уже перестали надеяться услышать от него хоть слово. Поэтому когда однажды вечером — Лиза сидит на кровати, массируя ему ногу, — Джеймс отвечает на ее вопрос, она оборачивается к двери посмотреть, кто вошел. Сказал-то он всего лишь «да» или «нет» — ни Лиза, ни он сам так и не смогли потом вспомнить первое его слою, — но этого оказалось достаточно. Его молчание, словно огромное стекло, дало трещину. Через минуту вся семья уже собралась вокруг кровати.

— Задайте ему вопрос! — просит Лиза.

Никому ничего не приходит в голову. Наконец Элизабет спрашивает:

— Как сегодня твоя нога, сынок?

Джеймс долго не отвечает. Потом говорит:

— Спать хочется.

Джошуа снимает шляпу и с удивлением качает головой. Как будто с мальчика сняли проклятие. Он улыбается жене во весь рот.

— Что дальше? — говорит он. — Что дальше, а?

Легкий ветерок кружится по комнате. Лиза подходит к окну, тянет носом воздух. «Будет дождь», — произносит она со слезами в голосе. И, закрыв окно, задергивает занавеску.

10

Вечером, четыре дня спустя после свадьбы, Амельда Кетч обнаруживает у себя на лбу красную сыпь, которая на следующее утро уже покрывает почти все ее тело. Вызванный по этому случаю мистер Вайни ставит осторожный диагноз: корь. Через шесть часов его вызывают снова — Сайлас Кетч отчаянно барабанит в дверь. Во время вторичного осмотра Вайни видит, что прыщики теперь расположены в виде густых скоплений, и предупреждает семью, что следует готовиться к худшему. По дороге домой он останавливается на холме и окидывает взором местность — тихие деревенские поля, по которым крадется смерть. Не слезая с седла, он возносит Богу молитву, скачет домой и, зная, что в ближайшие недели будет ездить от одной постели к другой, ложится и в ту же минуту засыпает.

Днем позже папулы превращаются в наполненные жидкостью везикулы, которые вскоре изуродуют лицо девушки до неузнаваемости. Он, как умеет, старается облегчить ей страдания не только физические, но и нравственные, ибо она охвачена смертельным ужасом. Вот только сде-

лать он может не много и хорошо понимает, что она это тоже чувствует. Родным дается распоряжение прикрыть огонь валежником, чтобы горел ровно и долго, и давать девушке пить сколько пожелает, добавив в воду вина для подкрепления сил. Но самое главное — за больной должны ходить только те слуги и родные, кто переболел оспой. Не пускать к ней детей. Убрать из комнаты все зеркала. Да, ему случалось быть свидетелем, когда и более тяжелые больные все-таки выздоравливали. Никогда не следует терять надежду.

Вечером образуются пустулы, в полночь девушка впадает в забытье и, к оцепенелому облегчению тех, кто за ней ухаживает, умирает через два дня, за час до рассвета.

Вайни не присутствует при ее кончине. У него уже пять новых больных, трое из которых дети. Они горят, как щепки, и аптекарю остается только гадать, какой силы будет огонь и как скоро он распространится. Он переезжает от одного пораженного оспой дома к другому, ест, не сходя с лошади или стоя на кухне, когда какая-нибудь плачущая женщина отрежет ему кусочек от жаренного на вертеле мяса. Будь он человеком бессердечным, ему было бы забавно наблюдать, как его бессилие вселяет в людей все больше и

больше надежды, словно одной его фигуры на серой кобыле достаточно, чтоб отогнать беду. Никогда еще он не был так одинок.

Первая смерть. Новость разносится за несколько часов. Элизабет узнает о ней от жены Дэна Миллера, Рут, которая в свою очередь узнала от Бидди Бидуэлл, а та от кого-то еще. Все дети Дайеров, кроме Джеймса, до сих пор лежащего в маленькой комнате, сидят за столом на кухне. Мать не говорит им ни слова, но лицо выдает ее. Лиза смотрит на Элизабет с беспокойством и спрашивает:

— Кто к нам заходил, матушка?

— Рут Миллер. Языком почесать.

Элизабет понимает, что скоро они узнают про Амельду. Из всей семьи оспой болели только Джошуа и вдова.

Элизабет уходит с корзинкой в маслодельню, кладет туда сыр, масло и сливки, чтоб отнести семье Кетч завтра утром, затем поднимается к себе наверх. Приходит Джошуа, и оба они сидят у окна на краю старой кровати, держась за руки, молчаливые и бледные, и тишина стоит такая, что слышно лишь их собственное дыхание.

Узнав о смерти Амельды, Сара и Лиза час проплакали, но потом пора было отправляться в

маслодельню, кормить кур, штопать рубашку. Они не очень напуганы. В них столько молодости и силы. И хотя они видели следы от оспы на лицах старших, им никогда не доводилось наблюдать болезнь в ее разрушительном действии. Жизнь продолжается. В Ковертоне сообщается о полудюжине случаев. Рассказывают, что, возможно, но не наверняка, заболела кухонная прислуга леди Денби. Элизабет ищет хоть слабое утешение, убеждая себя, что болезнь распространяется медленнее, чем они опасались, что смертельных исходов не столь уж много. Быть может, на этот раз она пройдет легче, а Амельда умерла скорее из-за слабого здоровья. Да и никто из соседей не пострадал. Хуже всего, кажется, пришлось жителям Кенна и тем, кто живет дальше, по направлению к морю. Проходит один день, другой, и настороженность Элизабет притупляется. И вот тут-то, словно она только того и ждала, чтоб о ней на минутку забыли, болезнь приходит всерьез.

Сара жалуется на постоянную головную боль. Ломит руки и ноги. Ее лихорадит. Когда появляется сыпь, Элизабет отдает всю себя спасению ребенка. За Сарой наступает черед Лизы, потом Чарльза. Элизабет ухаживает за ними без вздохов и слез. Мужественно встречает она болезнь,

пытается сопротивляться этой страшной напасти беспрестанным проявлением материнской любви. Джеймс не заразился. Она держит его отдельно от себя и других детей. Дом разделен на два лагеря. Элизабет, Сара, Лиза и Чарльз. Джошуа, вдова и Джеймс. Из одного доносятся непривычные, жалобные вскрики, лихорадочный бред. В другом — напряженная бессильная тишина.

Элизабет переносит свою постель в детскую и живет там, поит детей с ложечки медовой водой, меняет мокрое от пота белье и, переходя от одного к другому, бормочет молитвы. Она на удивление спокойна, в точности как тогда, на замерзшей реке, только теперь лед слишком тонкий и ломкий и голоса детей, пробивающиеся из распухших, запекшихся губ, напоминают звук темной, холодной реки, текущей внизу.

Джошуа, при условии, что потом он не пойдет к Джеймсу, появляется в комнате у больных, глядит на них сверху, как некая бессмысленная планета, и трогает их с нежным отчаянием. Над Сарой, красота которой внушала ему такую огромную, скрытую гордость, он убивается больше всего. Болезнь превратила ее лицо в маску из лилово-синих волдырей, и он едва ли не рад ее смерти, хотя

в этот час чувствует, что его окутывает безумие. Приходит Вайни, помогает обрядить девочку и, завернув в саван, положить в гроб. В Элизабет он ощущает волю, сдержанную, но непреклонную. Сомнения нет — она выстоит, по крайней мере, пока бушует ненастье. Он уговаривает Джошуа заняться работой, рассказывает о других семьях, где тоже царит скорбь. Но Джошуа почти ничего не слышит.

На обратном пути Вайни разговаривает со своим бывшим помощником через закрытую дверь.

— Твою сестру Сару прибрал Господь, Джем, но мама у тебя прекрасная нянька. Я очень надеюсь, что другие дети скоро поправятся.

Из-за деревянной двери доносится приглушенный голос мальчика:

— А я тоже умру?

Невозмутимый, бесстрастный вопрос.

— Всем нам однажды предстоит умереть, Джем.

— Но сейчас-то? Я умру сейчас, как Сара?

— Думаю, нет, дружок.

— И я думаю, что нет, — говорит голос.

На следующее утро приезжает тележка с обмотанными дерюгой колесами. Джошуа провожает дочь в последний путь. А Элизабет остается с

Лизой и Чарли. В воздухе петляют и дрожат их горячечные голоса. Чарли умирает на другой день после похорон сестры. Перед смертью он тянется куда-то вверх, будто хочет сорвать яблоко. Лиза лежит в постели, протянув одну руку матери, другую — смерти. В коридоре остановились незаведенные часы. Стрелки показывают половину четвертого. На кухне больше не горит огонь. Даже кошки ушли.

Джеймс научился распознавать звуки. Он знает голос могильщика Пега, Вайни, пастора. Иногда слышится голос соседа — жалость пересилила осторожность. Часто доносится тяжелое свистящее дыхание Джошуа, неожиданно прерываемое страшной божбой. Вдова Дайер приносит Джеймсу простую холодную пишу, но он ест с большим аппетитом и начисто вылизывает тарелку.

Он ждет, что и Лиза тоже умрет, но пустулы у нее на лице подсыхают и покрываются коркой. Чтобы девочка ее не сдирала, Элизабет все время держит дочку за руки. Утром на двенадцатый день болезни Лиза садится в кровати и слабым голосом зовет мать. Элизабет, перебирая Сарины платья, смотрит в ее слепленные гноем незрячие глаза, подходит к ней, обнимает, передавая последние свои силы ребенку. Одного удалось

спасти — это огромная победа. И с каким-то странным безразличием она замечает красную сыпь на собственных руках.

11

Последней заразилась Китти Гейт, последним умер мальчик по имени Слайт. Жители деревни хоронят своих умерших, и всюду на кладбище видна сырая перекопанная земля. У камнереза появился новый подмастерье. Одни находят утешение в церкви, другие — в бутылке. Вайни ставит на конюшню лошадь, днем спит, а ночью сидит и пьет бренди, бормоча что-то тем, кто мимо него проносится в вечность; они несутся, как играющие быстроногие дети, ускользая от его неловких рук.

Их много, и почти все молодые, на чьих лицах болезнь оставила свои следы. Встречаясь на улице, они осторожно кивают и оглядываются по сторонам, точно в поисках прежней жизни. И все же жизнь вновь начинает входить в свой привычный ритм. Слышится первый смех, первые дети, забывшись, пускают свои волчки на каменной плите; по тропкам, где некогда гуляли их матери и бабушки, гуляют первые влюбленные. Пора убирать созревший урожай. В этом году людей мало, мало и поденщиков. От этой нехватки селяне пребывают в оцепенении, они слишком

измотаны, чтобы задумываться, слишком усталы, чтобы скорбеть. Яблоки идут по семь шиллингов шесть пенсов за мешок. Зима не станет считаться с людскою скорбью. А потому время, груз сменяющих друг друга дней, ворочает их, как ворочают воду лопасти мельничного колеса.

Фермера Дайера, его слепую дочь и хромого сына жалеют. Среди аристократов страдания фермер Дайер истинный лорд. Не самый знаменитый, но достаточно знатный, чтобы держаться от него на почтительном расстоянии, чтобы упоминать о нем в торжественно-печальном тоне. Кажется, он теряет рассудок, превращается в буйнопомешанного. Кумушка Келли, повстречав на Медердич-роуд кумушку Коулз, говорит ей, что Дайер окажется на паперти еще до Пасхи. Та в ответ качает головой. Джош Дайер успеет к тому времени остыть в сырой земле, а вот что ждет детей и старуху-мать, больно и думать. Кто возьмет их в дом, хоть бы и прислугой? В воздухе витает непроизнесенный ответ. Работный дом.

Двор, некогда подобный ясному немигающему глазу фермы, завален всяческим хламом, зарос, опустел. Продана свинья, а за нею и овцы, в саду высоко поднялись сорняки. Кристиан Вог, управляющий имением Денби, приезжает на

ферму к Джошуа и говорит ему что-то, не слезая с седла. На вопрос Лизы, чего хотел Вог, Джошуа ни в какую не отвечает, лишь пристально на нее смотрит, исполненный стыда. Джеймса он замечать перестал.

Напившись, фермер зовет Лизу и просит петь колыбельные. Однажды ночью, когда ее голос не приносит желанного утешения, он, спотыкаясь, выходит на двор и до изнеможения выкрикивает небесам какие-то тирады, а потом снова возвращается в дом.

Под Новый год Джошуа приходит в комнату, где Джеймс спит с тех самых пор, как сломал ногу. Он будит мальчика, трясет и стаскивает с кровати со словами:

— Я ее видел! В амбаре! Теперь она стала ангелом, Чарли.

У черного хода, набросив на плечи накидку, стоит Лиза. Она берет брата за руку. Втроем они пересекают тронутый морозом двор. В руке Джошуа раскачивается фонарь. Входят в амбар. На стенах висят инструменты и мешки, источающие ароматы трав; зернышки скрипят под ногами. Джошуа поднимает фонарь:

— Вот там!

— Что это, Джем? — спрашивает Лиза, дергая

его за руку.

Джеймс всматривается туда, где слабый свет лижет нечто, затаившееся в темноте в самом углу амбара. Оно едва-едва движется, белое и как будто светящееся. Лишь спустя несколько мгновений Джеймс понимает, что перед ними; различает мягкий изгиб шеи, изящную головку и подобный алмазу глазок.

— Это лебедь, — произносит Джеймс.

— Лебедь? Батюшка, Джеймс говорит, это лебедь.

— О счастие! — восклицает фермер. — Она вернулась.

Птица остается в амбаре несколько ночей, а потом, испугавшись частых приходов фермера, улетает так же внезапно, как и появилась. Но ее исчезновение, похоже, его не беспокоит. Фермер изменился, с появлением птицы он словно бы воспрянул духом. Бросил пить, начал бриться и носить воскресную одежду. Большую часть времени он проводит в своей комнате в молитве и размышлениях. Ферма его не интересует. Он думает о высоком, и, когда Лиза мягко упрекает его, он лишь улыбается и, гладя ее по лицу, говорит: «Скоро возьмусь, девочка моя. Уже скоро».

Джеймс понимает, что «скоро» значит никогда.

Ему любопытно, он с нетерпением ждет, чем все закончится. Ему представляется, что однажды Джошуа исчезнет, уйдет, не сказав ни слова, даже не намекнув куда.

И день этот наконец наступает. На улице весенняя оттепель. По склонам вдоль дороги цветут фиалки, а над живой изгородью порхают первые бабочки. Никто не видел Джошуа с прошлого вечера. С наступлением темноты Лиза, охрипшая от крика, посылает Джеймса за Томом Перли. Тот приходит. У вдовы уже красные глаза. Она беззвучно причитает по покойнику. Том берет фонарь и отправляется осматривать ферму. Джеймс идет вместе с ним, но Том уже не так дружелюбен, как в прежние времена. Не он один думает, что причина несчастий этой семьи так или иначе кроется в этом мальчишке.

Искать приходится недолго. Джошуа в амбаре, в дальнем углу, где до сих пор остались лебединые перышки. Сперва они его не замечают, но потом свет выхватывает из мрака шляпки от гвоздей на его ботинках. Джошуа лежит лицом вниз, одетый в темное платье и крепко сжимая в правой руке нож. Голову обрамляет черная лужа крови. Том подходит поближе. Свет дрожит у него в руке. Он тянется вперед, берет Джошуа за

плечо и осторожно переворачивает на спину. Рот над перерезанным горлом будто бы улыбается, открытые глаза смотрят вверх, точно в минуты последней агонии Джошуа Дайер увидел, как в воздухе над ним движется что-то прекрасное. Том с воплями выбегает из амбара. Джеймс на мгновение остается в темноте, дотрагивается до тела ногой, словно хочет удостовериться, что фермер мертв, потом, повернувшись, на ощупь выбирается наружу, приостанавливается, окидывает последним взглядом освещенный звездами неубранный двор, затем берет из своей комнаты зимнюю одежду покойного Чарли.

Рассвет он встречает, шагая по Бристольскому тракту с узелком под мышкой. В мертвом доме в Блайнд Ио девочка вновь и вновь кличет его по имени. Но на ее зов никто не приходит.

Глава четвертая

1

— Боль, друзья мои, — прислужница дьявола. Это его прикосновение и ласка. Его зловредные объятия! Кто из вас не слыхал, как вопиет в агонии человек, проклиная Бога… Или как женщина в родовых муках своими стонами и криками разрывает еще не родившемуся младенцу ушные перепонки… Любящий родитель превращается в чудовище. Боль мешает вашему чаду молиться, доброму человеку быть добрым. Истинный ад на земле! Она швыряет нас в пламя огненное, но мы-то живы… А доктора! Всякий знает, на что они способны! Всякий знает, как их ухищрения удваивают наши страдания… А потом они грабят нас, когда мы лишены сил сопротивляться, когда рассудок наш слишком слаб, чтоб мы догадались спустить их с лестницы. И смерть кажется нам желанным освобождением. Вспомните, прошу вас, вспомните сейчас о самом сильном пережитом вами страдании, о том дне или той ночи, когда вы корчились в муках от зубной или кишечной боли, когда у вас разрывалась на части голова или ныла нога… Ожог, падение с лошади или одна из тысяч смертоносных болезней, кото-

рые гложут нас изнутри. Припомните, как любой из вас готов был поменяться местами с самым убогим созданием во всем королевстве, лишь бы получить хотя бы минутное, нет, полуминутное облегчение.

Да, говорю я вам, боль придет вновь, и она будет сильнее той, что вы пережили, в десятки раз. Человек — свеча, страдание — пламя. Оно пожирает нас! Но коли так, то что бы ни согласился отдать страждущий за возможность иметь под рукой какое-нибудь недорогое средство, каковое он мог бы употребить по назначению в нужный час? Подумайте, друзья мои. Подумайте, что бы вы ни отдали за этот чудодейственный эликсир…

Гаммер делает паузу, дабы его слова дошли до каждого. Сегодня он в голосе, и народу собралось достаточно, толпа человек пятьдесят, вдыхающая спертый, пахнущий травой и выпивкой воздух. Раздается звяканье монет, совсем тихое, но для уха Гаммера вполне различимое.

Джеймс, слышавший эту речь раз двадцать, крутит по сторонам головой, чтобы получше разглядеть людей, перед которыми ему вскоре предстоит ломать комедию. От фермеров в теплых кафтанах из плотной шерстяной ткани поднимается пар, как от домашней скотины;

подмастерья в рубахах из бумазеи с жадностью предвкушают развлечение, чтоб было что сохранить в памяти и смаковать в течение предстоящей недели, наполненной тяжким трудом. Торговки стоят в льняных чепцах и платьях, некоторые держатся потрескавшимися руками за местных красавцев в кожаных жилетах. По меньшей мере два лица знакомы ему с прошлых ярмарок — это профессиональные актеры балаганов. Один ходит по проволоке, другой продает талисманы, оберегающие либо от пулевых ранений, либо от триппера, либо от зубной боли. Они наверняка его узнают, но это не страшно. Среди балаганных артистов существует негласная круговая порука. Хороший новенький номер скорее приносит пользу, чем угрожает конкуренцией. Больше понтеров — больше азарта. И кошельки развязываются сами собой.

Женщина, стоящая рядом с Джеймсом, незаметно тычет его под ребро, что означает: «Стой тихо. Не привлекай внимания». Это Грейс Бойлан, бывшая проститутка, впрочем и по сию пору готовая предоставить свои услуги тем, кто отдает предпочтение дородным, материнского склада шлюхам. Гаммер говорит, у нее хорошее лицо в том смысле, что оно никак не выдает ее характер. К тому

же она никогда не переигрывает, как это делала нанятая Гаммером потаскушка из Девайзеса, воздевавшая руки к небу и завывавшая словно Фисба. Народ хохотал, и дело иногда принимало скверный оборот. Грейс никогда не теряет спокойствия, на нее можно положиться. Но самое главное — она на удивление неприметна.

Гаммер вытаскивает из рукава носовой платок, чтобы вытереть пот. На нем добротное черное одеяние — не то священник, не то врач. Пот натуральный, так же как и жара и тяжело дышащее, любопытное стоглазое чудище, пялящееся на него со всех сторон. Обман — вещь сугубо материальная. Нелегкое, но изящное завершение рыночного дня. Тут есть чем гордиться. И Гаммер горд. С той поры, когда он был сопливым мальчишкой, жившим на омерзительной окраине одного английского города, его мечтой было стать Марли Гаммером, и благодаря своим непрестанным усилиям и способности безошибочно угадывать человеческие слабости он достиг желаемого. В воображении он уже шествует по полям из золотых ковров. И лишь иногда, пребывая в желчном настроении, мрачными, ненастными днями, он оглядывается вокруг и видит молодых волков, бегущих за ним по пятам. Видит и

содрогается.

— Друзья! Я пришел к вам сегодня как христианин и джентльмен. Я не гонюсь за наживой. — Гаммер ждет смешков, и они раздаются с разных сторон; тогда он закрывает глаза, как бы говоря, что давно привык к подобной несправедливости. — Я не гонюсь за наживой, мне требуется лишь самая малость для поддержания моего крестового похода. Ибо если боль от дьявола, то бороться с ней — значит бороться на стороне ангельской рати!

Позади Гаммера стоит окованный железом ящик. Он поднимает крышку и достает бутыль с темно-коричневой жидкостью. Оставшуюся часть своей речи Гаммер произносит, обеими руками прижимая эту бутыль к сердцу.

— Когда-то в юности я был обручен с девушкой прелести необыкновенной. Девушкой такой красоты и добродетели…

Слышится голос:

— Либо одно, либо другое. Сии качества еще никому не удавалось совмещать!

— …такой христианской добродетели, что никогда мне более не встретить подобного создания. Разве только в мире ином. Она была моей невестой, но лишь один быстротечный

год, потом слегла от болезни, с которой не могли совладать самые знаменитые лекари. Зрелище ее страданий… — Он сглатывает комок, слышится сочувственное женское оханье, — …привело меня к самой пропасти безумия. Я молился, чтоб занять ее место, чтоб умер я, а она осталась жива. Но этому не суждено было сбыться. — Глаза его влажнеют. Одна огромная слеза катится по щеке. Какое-то мгновение кажется, что Гаммер не в состоянии продолжать. Он стонет. — Почему, вопрошал я, почему меня миновала участь сия? За что? Мне не было на земле счастья без моей суженой. Но однажды мне привиделось во сне, будто я, Марли Гаммер, избран орудием, которое должно облегчить бремя человеческого страдания. Задача не из простых! Годами я изучал наследие древнейших мудрецов. Жадно поглощал хранящиеся в библиотеках ученые книги. Штудировал Галена.[15] Состоял в переписке с великим Бурхаве.[16] И все безрезультатно.

---

[15] Примечания: 15

Гален (ок. 130–200) — римский врач. Автор первого анатомо-физиологического описания человека. Ввел в практику вивисекционные опыты на животных.

[16] Примечания: 16

Бурхаве, Герман (1668–1738) — голландский врач и профессор медицины. Его заслугой было собрание, упорядочение и систематизация накопленных к тому времени знаний в области медицины.

Признаюсь, я уже было забросил свои изыскания, как однажды в знаменитой Александрийской библиотеке тамошний ученый муж, человек старинной учтивости, принес мне фолиант, покрытый пылью столетий, и сказал…

— Каким языком он изъяснялся?

Настораживает, что голос, перебивший оратора, явно принадлежит человеку образованному. Лицо Гаммера выдает еле заметную неуверенность, секундное замешательство. Он не видит того, кто задал вопрос. И адресуется ко всем зрителям:

— Сударь, он говорил на своем языке, как и я на своем. Мы владели одним языком. «Вот, — произнес древний муж, — вот то, что ты ищешь». Я открыл фолиант и принялся читать. Когда же пропел петух и солнце взошло на небе, я все еще читал эту книгу. Ее написал, друзья мои, тот самый доктор, что лечил лучника Филоктета[17] от укуса змеи…

— А твой эликсир сводит бородавки?

---

[17] Примечания: 17

Филоктет (в др.-греч. мифологии) — участник Троянской войны. По пути в Трою был ужален змеей. Незаживавшая рана Филоктета издавала страшное зловоние, поэтому греки оставили его на о. Лемнос. Когда грекам на десятом году войны было предсказано, что они не возьмут Трою, пока не получат оружие Геракла (свои лук и стрелы Геракл отдал Филоктету), лучника доставили под Трою, где его исцелил врач Махаон.

— Сколько он стоит?

— Терпение, терпение… В том фолианте я нашел пропись снадобья, которое с некоторыми изменениями, сделанными мною для удовольствия правоверных христиан, я сейчас представляю почтенной публике. — Гаммер поднимает бутылку, как потир для причастия. — И все же я не хочу, чтобы мне верили на слово. Я не продам вам ни одной бутылки, пока действие лекарства не будет подтверждено на опыте.

— Ну и как же ты это сделаешь?

Грейс снова тычет Джеймса под ребро. На этот раз ее жест означает: «Приготовься».

— Я намереваюсь здесь, у вас на глазах, на этом помосте… — Имеется в виду дюжина ящиков из-под чая, покрытых грязной холстиной, — …продемонстрировать самым очевидным образом чудодейственную силу лекарства. Я не вожу с собой никаких свидетельств, хотя если б захотел, то выложил бы ими дорогу до самой Шотландии. Лучше один раз увидеть. В конце концов, Фома все равно стал святым, несмотря на то что возжелал вложить персты свои в раны Спасителя.

— Богохульствуете, сударь. — Опять тот же голос.

— Об этом написано в Евангелиях, друг мой,

если ты, конечно, удосужишься прочесть.

Гаммер ставит бутылку на маленький столик, на котором уже приготовлен огарок свечи и нечто, блестящее на свету: инструмент.

— В поисках verus,[18] — гудит его голос, — конечно же, будет необходимо причинить боль, прежде чем ее снять. Страдание продлится недолго, но чем острее его клыки, тем слаще последующее избавление. Кто из вас готов попробовать? Кто готов пожертвовать каплю своей крови ради облегчения страданий сограждан? Уверяю вас, что риска почти никакого. — Он берет инструмент. Это стальная булавка, заточенная чрезвычайно остро. — Подходите же, кто-нибудь… — Гаммер указывает на тех людей в толпе, которые явно не согласятся, получает ожидаемый отказ, их торопливое: «Только не я, Боже правый!» И тогда его взгляд падает на Джеймса и Грейс. — Сударыня, вы матушка этого милого мальчика?

— Да, сударь. Его единственная родительница, ибо отец его погиб, сражаясь с французами.

Одобрительное и заинтересованное бормотание. Вступает Гаммер:

---

[18] Примечания: 18
Истинного *(лат.).*

— Отдал жизнь за родину. Как благородно. А мог бы мальчик, сударыня, отдать каплю доблестной крови отца своего за то, что важнее любого народа? Я хочу сказать, за правду, сударыня!

— Мой Билли! Ни за что на свете! Да у него кожа шелковая. Стоит ему рассадить коленку, как он бледнеет точно полотно.

— Чувствительный мальчик?

— С позволения сказать, очень чувствительный, сударь.

— Так разве вы не видите, что он именно тот, кто нам нужен? Сударыня, прошу вас, дайте его мне (слышатся крики: «Дайте его, дайте!»), — и он станет, уверяю вас, предметом вашей гордости, ведь это он, Билли, прольет свет понимания, лучик надежды, лекарственный бальзам на этих… — Следует взмах рукой, — …добрых людей. Ну же, сударыня, боль продлится лишь одно мгновение. Вы и моргнуть не успеете. В память о покойном отце.

— Пустите меня, матушка, — говорит Джеймс. — Я хочу быть храбрым, как отец.

Гаммер по опыту знает, что в таких сценах переиграть невозможно. Словно священник методистской церкви, он в порыве восторга протягивает руки над толпой со словами:

— Передайте сюда мальчика! Передайте его мне!

Джеймса передают. Местный мясник с черной запекшейся под ногтями кровью поднимает мальчика на помост.

— Так, — говорит Гаммер. — Вот так. Запомни этот день, Билли. Это великий день.

Джеймс стоит лицом к зрителям. Боязнь сцены ему неведома. На плече у него лежит рука Гаммера, перед ним же тупые бесхитростные лица. В самом конце, у выхода из балагана, он замечает большой парик, часть лица, умный глаз, воротник и плечо в одежде из хорошей материи. Мгновение глаз пристально его разглядывает, как будто изучает, затем Гаммер разворачивает Джеймса и начинается действо.

Чтобы держать мальчика покрепче, на сцену приглашается мясник. Довольный, он смущенно улыбается. Гаммер красивым жестом демонстрирует толпе стальную булавку. Просит мясника дотронуться до острия. Тот дотрагивается кончиком пальца, и на нем появляется капелька крови. Мясник, нахмурившись, глядит на палец, снова улыбается и выставляет его на всеобщее обозрение. Гаммер берет мальчика за пальцы и поворачивает его руку ладонью кверху. Не-

сколько секунд, словно борясь с охватившей его нежностью, он держит иглу над упругой детской кожей. Наконец вонзает — кончик иглы делает маленький неглубокий укол. Джеймс вопит и без чувств падает на руки мяснику. Зрители взволнованно переговариваются. Взмахом руки Гаммер требует тишины. Кладет булавку на стол и зажигает свечу. К носу мальчика подносят нюхательные соли. Он оживает. С видом озабоченного дядюшки мясник хлопает его по плечу, затем по просьбе Гаммера вновь обхватывает его. На этот раз взяв мальчика за запястье, Гаммер быстро проводит пламенем по нежной коже. Джеймс извивается в руках мясника, вопит, кричит, умоляет. Хохочет и опять падает в обморок. Его приводят в чувство. Свеча возвращается на стол.

И тут бутыль со снадобьем откупоривается и подносится к губам ребенка. Джеймс старается глотнуть как можно меньше. Вкус ему хорошо знаком — уксус, настойка опия, мед. Бутыль затыкают. Зрители следят за каждым движением. Всего через несколько секунд силы возвращаются к ребенку. Он уже твердо стоит на ногах. Поразительно, но от прежнего страха не осталось и следа. Гаммер вновь берет булавку. Мясник собирается

схватить мальчика, но Гаммер трясет головой. Снова кончик иглы нацеливается на детскую ладонь, и медленно-медленно Гаммер протыкает руку насквозь, пока пол стальных дюйма не показываются с тыльной стороны. У мясника отваливается челюсть. Гаммер, как, впрочем, и всегда, наслаждается этим мгновением. Теперь сознание зрителей, всех до одного, в полной его власти. Он вынимает булавку, вытирает ее белой тряпкой и показывает толпе, как простыню невесты. Берет свечу и обжигает Джеймсу кожу. Тот даже не шелохнется.

Не успевает Гаммер потушить пламя, как первые голоса уже требуют эликсир. Джеймс спрыгивает с помоста на руки к радостной Грейс Бойлан. Некоторые зрители дотрагиваются до него, словно на счастье. А Гаммер между тем приступает к делу, обслуживая одновременно нескольких покупателей — берет деньги у одного, дает сдачу другому, принимает заказ у третьего, ободряюще улыбается четвертому. Торговля идет целый час. Те, кто не видел представления, но заметил непрекращающийся поток покупателей, выходящих из балагана с бутылками в руках, заходят внутрь и тоже приобретают чудодейственное средство. Раз на него этакий спрос, плохим оно

быть не может. За последние двадцать бутылок Гаммер просит двойную цену. Это рискованно, но никто не жалуется. Последнюю бутыль покупает джентльмен с зелеными глазами.

Джеймс и Грейс покидают ярмарку. Сидя под деревом, они едят хлеб с холодным беконом. Лучше держаться подальше от посторонних глаз. С наступлением ночи они возвращаются назад в балаган. Вход затянут веревкой, за исключением прорези внизу, через которую женщина и Джеймс вползают на четвереньках внутрь. Тихо. Укрывшись тюфяком, спит слуга Адам Лейтер. Гаммер сидит на ящиках. Справа от него, отбрасывая расплывчатые тени на холст палатки, горит свеча. Рядом со свечой лежит длинноствольный пистолет изысканной работы со взведенным курком.

— Ага! — При их появлении лицо Гаммера сияет, он уже слегка пьян. — Эльфов подкидыш и шлюха! Поди-ка сюда, парень. Требуй награды.

Джеймс подходит. Удар сбивает его с ног, и он валится на истоптанную землю.

— Это тебе наука, чтоб держал свой смех при себе. Надо же, он хохотать вздумал! Чего нам стоило выучить тебя голосить.

Джеймс встает, стряхивает с куртки траву. Гам-

мер качает головой:

— Увы, бить его бесполезно. Какое чудо! Какой опасный ребенок. Поди сюда, я больше тебя не ударю. — Он кладет руку Джеймсу на плечо. Несколько секунд они смотрят друг другу в глаза. — Спи, — велит Гаммер, — госпожа Бойлан и я прикончим бутылочку. — Он достает из кармана часы. — Вы вдвоем уходите за два часа до рассвета. Встречаемся в Лэвингтоне.

— Но прежде рассчитаемся, — говорит Грейс.

Гаммер кивает:

— Ты получишь золото, дражайшая Грейс. Золото и серебро.

— А я? — Джеймс стоит как раз за первым круговым сиянием, расходящимся от свечи.

— От этого мальчишки у меня мороз по коже, — говорит Грейс, угощаясь вином из бутылки.

Гаммер пожимает плечами:

— Тебе нет нужды его любить. Ведь, в конце концов, он и сам способен любить тебя не больше, чем это, — и он стучит по стволу своего пистолета.

— Да, — соглашается Грейс. — Не дай Боже ему повзрослеть.

2

Целый час Джеймс лежит, укрывшись одеждой и прислушиваясь к гулу их голосов. Мимо балагана проходят люди, кто-то спьяну распевает обрывки песен, кто-то ссорится, лает собака. Сколь знакомыми стали для него звуки этой человеческой чащи. Поначалу они не давали ему спать, он вслушивался и обдумывал причину каждого крика. Он был осмотрителен и, хотя никогда ничего не боялся, в любой момент готов был удрать. Ему и в голову не приходило, что Гаммер станет его защищать.

Он нашел Гаммера в Бристоле, в доме на Датской улице, неподалеку от сутолоки доков. Разыскать его не составило большого труда, надо было лишь справляться у тех, кто по виду был с ним одного поля ягода. Так, по цепочке, обращаясь к шулерам, владельцам балаганов, имитаторам и сутенерам, он добрался до порога нужного дома. Его впустила женщина средних лет, а другая, помоложе, провела в полупустую комнату, где на походной кровати и на полу в беспорядке валялась одежда, а на столе лежали остатки пищи и рюмка со сломанной ножкой.

Гаммер пребывал на коленях у стены, судя по всему, вознося молитву. На звук открывающейся двери он обернулся. Казалось, появление мальчика его не удивило. Он взглянул на него, потом снова на стену, затем жестом подозвал Джеймса к себе. В стене была просверлена маленькая дырочка. Гаммер отодвинулся в сторону. Джеймс припал к глазку, почувствовав веющую на него с той стороны прохладу. Он увидел комнату побольше Гаммеровой с картинами на стенах, там была кровать с четырьмя столбиками, а под ней — кошка и ночной горшок. По дощатому полу на четвереньках передвигался пожилой мужчина, совершенно голый. На нем верхом сидела женщина, подстегивая его по отвислому заду стеком, чтобы он катал ее по комнате, хотя дышал он хрипло и пот ручьем стекал по ногам. При каждом ударе лицо мужчины искажалось гримасой наслаждения. Женщина посмотрела на дырочку в стене, высунула язык и ухмыльнулась.

— Живописная картина, — прошептал Гаммер. — Вот оно, удовольствие человеков.

Первые недели их совместного житья Джеймс сопровождал Гаммера в скитаниях по городу. Крысиная беготня по кабакам, публичным домам, игорным заведениям, петушиным боям.

Мужчины разглядывали Джеймса оценивающим взглядом, как чью-нибудь лошадь или неожиданно выпавший приз, прикидывая, чего он стоит. Женщины, заметив, что он хорош собой, относились к нему с осторожной, усталой добротой.

В конце июня в комнате на Датской улице, когда солнечный свет оранжевым флагом развернулся на черных досках пола и муха тупо стучала в граненое ромбами оконное стекло, Гаммер дал понять Джеймсу, каким способом он — нет, вернее сказать, они — станут зарабатывать себе на жизнь. Он уже несколько раз с удовольствием убеждался в том, что то, что ему пришлось наблюдать в Блайнд Ио, не было случайностью. Булавки, свечи, шлепки воспринимались столь же безразлично, как если бы адресовались обеденному столу. Чтобы окончательно убедиться, Гаммер позаимствовал у одного строителя клещи и вырвал Джеймсу зуб. Результат был настолько неоспоримым, настолько ошеломляющим, что он наклонился и обнял мальчика, перепачкав детской кровью свою рубаху. Мальчик не способен страдать! Ни разу в жизни он не испытывал страдания! Более того, если он получал какую-то рану, она заживала с такой быстротой, что можно было едва ли не воочию наблюдать, как затягивается

плоть, срастается, бледнеет, восстанавливается. След от ожога был уже невидимым три дня спустя, и, хотя руки мальчика протыкались булавкой десятки раз, кожа оставалась ровной и гладкой.

План Гаммера был прост. И коли возьмутся они за него со всей решимостью, то заработают за одно лето больше, чем Гаммер за тяжкие десять лет мошенничеств и вымогательств. Конечно, дело это не лишено определенного риска. Людям не нравится, когда их обманывают, а тем паче дурачат. Более всего он опасался, что Джеймса узнают. Дабы избежать этого, они станут работать на ярмарках, расположенных далеко друг от друга, и быстро переезжать из одного конца страны в другой. Однако самое главное — чтобы мальчишке поверили. Его надобно научить изображать страдание, он должен знать, что такое боль и каковы ее следствия. Ему следует изучать ее, как изучают иностранный язык, и тут потребуется учитель.

Гаммер знал, к кому обратиться. Он прищемил ему хвост в питейном заведении у Крисмас-Степс, где среди ссутулившихся спин, бессмысленного бормотания и душной вони опустившийся трагик Катон Ли с распухшими от водянки ногами и дюжиной лиц, намалеванных красным одно поверх

другого, пребывал в своем обычном ночном аду.

За рюмку он декламировал строки из «Фауста», когда краем своего огромного глаза сквозь призму навернувшейся слезы заметил тощую фигуру Марли Гаммера, похожего на стоящую на задних лапах гончую. С этим самым Гаммером в тысяча семьсот Бог ведает каком году ему довелось изображать испанского гранда в хитрой интриге, сплетенной с целью надуть картель торговцев хересом. Рядом стоял мальчик с глазами, похожими на голубые звезды.

— Этот парень, Джеймс, — сказал Гаммер, когда они, посулив хорошую выпивку, заманили актера на Датскую улицу, — будет твоим учителем.

Ли посмотрел на мальчика сверху вниз. Он не умел обращаться с детьми. Ему даже трудно было представить, что и сам он когда-то был ребенком.

— Но чему, скажите на милость, мистер Гаммер, должен я учить этого мальчика? — спросил он.

— Вы должны учить его страданию.

— Жизнь, сударь, — тут рука Ли взмыла вверх, — научит его весьма скоро.

— Но вы это сделаете еще скорее, мистер Ли. Начинайте сегодня же. Он должен знать, как вопить, извиваться, в общем, все обычные ужасы.

И должен делать это хорошо. Убедительно. Даю вам неделю.

— Что за ребенка вы отыскали, мистер Гаммер?

— Я наколдовал его в деревне, мистер Ли. Восхитительнейшее, хладнокровное чудовище. Итак, не пора ли вам начинать?

Поначалу Джеймс не мог взять в толк, что от него требуется. Гримасы учителя были совершенно непонятны, но Ли не сдавался, и мальчик стал ему подражать. Вскоре хозяйка дома, сдававшая тут же комнаты с девицами, принялась жаловаться, что ее дело терпит убытки. Палкой с железным наконечником стучал в дверь констебль, и ему приходилось показывать все комнаты, чтобы он поверил, что в доме не совершается ни убийства, ни колдовства.

От будничных несчастий они перешли к изображению более ужасных зрелищ — как извивается несчастный отравленный ядом или получивший различные ранения — кинжальные, пистолетные, толедским оружием. В конце недели Гаммер устроил проверку. Он заставлял мальчика падать на улице, схватившись за коленку, отчаянно выть от полученного удара или бегать, подпрыгивая и вопя от ожога. Первые пробы оказались

либо чересчур, либо, наоборот, недостаточно выразительными. Случайные зрители ничего не понимали и подозревали недоброе. Но Джеймс не был лентяем. То, что он не сумел перенять от Катона Ли, он брал у других. Ходил по пятам за человеком, которого секли кнутом; сидя на корточках, наблюдал мучения уличной торговки, ногу которой переехало колесом телеги. Однажды солнечным днем, забравшись на плечи Гаммеру, наблюдал поверх людских голов, как у ворот Бристольской тюрьмы вешают узника. Оно было повсюду, то, что называют страданием. И какое бесконечное разнообразие! Люди в ужасе пытались укрыться от боли; молились, чтобы Господь избавил их от нее; но, похоже, избавиться им так и не удавалось, никому, кроме него одного. Даже Гаммер был подвержен этой напасти, и, как у всех прочих, его жизнь зависела от прихоти гнилого зуба, незакрепленной черепицы, несвежей устрицы.

Они отправились в путь в июле по зеленой, петляющей, как кишка, проселочной дороге. Город оборвался внезапно — дом, кирпичная труба, дым, уродливые дети. А потом только поля и украшенные завитушками шатры деревьев, фермерские дома, где старые собаки с полузакры-

тыми глазами одуревали на солнце и какая-то женщина в башмаках на деревянной, закрепленной железным ободом подошве остановилась в открытых дверях и, застясь от солнца рукой, глядела им вслед. Марли Гаммер, Адам Лейтер, Джеймс Дайер и Молли Райт — первая его «матушка» — тряслись плечом к плечу в высокой повозке, набитой доверху коробками, шестами и скрученным в рулоны холстом.

Первая ярмарка находилась в Глостере. Представление имело несомненный успех, все прошло так гладко, что Гаммер даже боялся, что им не удастся повторить столь великолепное действо. Однако три дня спустя в Сомерсете все повторилось, как и неделей позже в сопредельном Уэльсе. Потом они направились через колосящиеся поля на восток, до Оксфорда, затем вновь на восток по равнине от одного церковного шпиля к другому до самого Нориджа, и, хотя города еще не было видно, легкий ветерок доносил до них раскатистый звон колоколов нориджского собора.

«Матушки» все время менялись, да и зелье редко оставалось тем же. Его составляющие приобретались у местных аптекарей, которым за хорошую мзду велено было сдерживать свое любопытство. И лишь толпа всегда оставалась

неизменной, толпа и действо. Правда, время от времени Гаммер импровизировал, делал более закрученным повествование о тайных рецептах, бородатых магах и чудодейственных составляющих эликсира.

Гаммер относился к мальчику по-своему неплохо — новая одежда и ботинки, леденцы, шейный платок такого же темно-зеленого цвета, как море, по берегу которого они как-то раз гуляли неподалеку от Кромера. Он обучил Джеймса секретам преступного мира: как срезать кошелек, мухлевать в картах, прятать клинок так, чтобы в нужный момент он выскользнул из рукава прямо в руку. Случалось, давал непрошенные советы по поводу женщин — что они любят и как. В деревне за Линкольном, пообедав зажаренным на вертеле кроликом, Гаммер показал Джеймсу кусок кишки ягненка, который назвал «лондонским пальто». Защищает от синьоры Гонореи, пояснил он, подмигнув и со смехом помахав им в воздухе. Лишь однажды Гаммер решил, что следует наказать мальчишку. Не то чтобы тот что-то сказал или сделал. Дело было во взгляде, возмутительном взгляде, какой Гаммер видел однажды у того треклятого судьи в конце бесконечного суда четвертной сессии в Дорчестере. За подобную

дерзость он крепко привязал Джеймса к колесу повозки и оставил так на ночь. Грейс Бойлан, теперешняя «матушка» Джеймса, божилась, что отыщет способ сделать ему больно, уж она-то с ее опытом и талантами непременно отыщет, и минуту или две Гаммер дал ей попробовать. Потом оттолкнул ее, развязал мальчишку и осторожно вернул к жизни его затекшие ноги. «Где бы мы были друг без дружки, а, Джеймс?» — вздохнул он. И, бредя под сенью деревьев к повозке, запел:

Как прекрасны летом рощи,
Листья зелены.
Птиц веселых в чаще леса
Песенки слышны…

3

Грейс будит его носком ботинка. Пора. Джеймс пробуждается легко, стряхивая сновидения и вдыхая предрассветный воздух. Берет узелок, натягивает одежду, под которой спал, и ждет у отворота палатки. Подходит Грейс, дрожа и потирая лицо нижней частью ладоней. В такое время от нее лучше держаться подальше, она клокочет от безмолвной ярости из-за окружающей темноты, зябкого воздуха и предстоящего долгого пути. Еще она зла на судьбу, ибо слишком много лет у нее за плечами, да еще вдобавок рядом с ней по дороге идет этот странный, ни на кого не похожий мальчишка. У него душа старика или ее нет вовсе. Другой на его месте шел бы себе посвистывая, спрашивал, долго ли еще идти и когда они будут есть. От этого не дождешься.

Чернота. Чернота и золото. Ночь рассеивается. Свет клочьями свисает с деревьев. Тучи величиной с деревню уплывают на запад. Минут пять верхушки пшеничных стеблей поблескивают на солнце. На работу выходят женщины, собирающие оставшиеся после уборки урожая последние колоски. Они сгребают их в охапку, связывают и

передают одному из ребятишек, который бежит к воротам, где на страже стоит другой.

Грейс и Джеймс завтракают на краю поля. Поев, Грейс растягивается на траве, рыгает и закрывает глаза. Дыхание со свистом вырывается у нее через нос; на живот усаживается слепень. Джеймс развязывает свой узелок — там в старый кафтан завернут планетарий. Мальчик ставит ящик поверх кафтана и открывает замок. От планет отражаются утренние лучи. Он поворачивает ручку. Зубцы механизма покрылись ржавчиной, совсем чуть-чуть, но ему приходится давить на ручку сильнее. Подрагивает проволока, покачиваются планеты. Когда Грейс поднимается, Джеймс все еще занят Лизиной старой игрушкой. Грейс ее раньше не видела. Она подходит ближе, тяжело опускается в траву на колени и смотрит. Рот растягивается в улыбке, рука касается медного солнца. Отпустив ручку, Джеймс закрывает ящик и снова заворачивает его в кафтан. Они продолжают путь. Длинная дорога пуста.

4

«Боль, друзья мои, — прислужница дьявола. Это его прикосновение и ласка…»

Солсбери, 10 октября 1752 года

Ветер бьет в холщовые стены балагана огромными мягкими кулаками. Гаммеру приходится повышать голос, чтобы перекричать этот шум. Толпа никак не угомонится. Ветер отвлекает внимание. Люди начинают думать о крышах, выстиранном зря белье, дороге домой. Лишь только когда Гаммер начинает свой диалог с Грейс Бойлан, они замолкают и слегка подаются вперед в сторону женщины и стоящего рядом с ней бледного красивого мальчугана.

— Пусти меня, мама. Я хочу быть храбрым, как отец.

— Молодчина! Передайте его туда! Передайте!

Джеймс снова на сцене. На этот раз в испытании помогает молодой человек с толстыми, как два окорока, руками. Булавка, огонь, зелье, снова булавка. В тех местах, где ладони Джеймса уже однажды кололи, остались едва заметные следы, красноватые точки, но в них нет ничего подозри-

тельного. Его плоть, похоже, лишена памяти.

Когда Гаммер подносит свечку, в дальнем углу балагана Джеймс вновь замечает те же зеленые глаза, которые разглядывали его уже на четырех представлениях. Гаммеру он ничего не сказал. Джеймс ждет, что станет делать незнакомец. Пламя лижет руку. Зеленые глаза впились в его лицо. Толпа ахает, слышится голос: «Дайте мне две!» Суета, кружение людей; дважды, трижды ветер бьет по холсту; зеленоглазый человек исчезает. Гаммер потирает руки и принимается за дело.

На улице ветер отшвыривает птиц от дымовых труб. Какой-то человек бежит к реке вдогонку за улетевшим париком. У законника из рук вырывается газета и вдруг накрывает голову нищему. Грейс и Джеймс направляются к собору. Там, внутри, ветер отдается торжественным эхом. Грейс плюхается на скамью, вытаскивает из-под юбок бутылку и, опустошив ее, запихивает под сиденье.

— Господи, теперь полегчало.

Она оборачивается, ищет глазами мальчика, но не находит. Закрывает глаза. В ней скопилась усталость, черная вода в костях, от которой не избавит никакой сон. Дюжина голосов церковного

хора поют первые строки «Te Deum».[19] Высоко над ней под арками, исчезая среди теней, проплывает ритм кивающих склоненных голов.

Подойдя к алтарю, Джеймс смотрит на мальчиков из хора. Они с ним почти одногодки, лица бледные, точно свечи, глаза следят за руками капельмейстера. Один мальчик очень похож на Чарли. Джеймс вспоминает своего покойного брата, потом мать — как она брала его на руки. Воспоминание такое ясное! Он чувствует запах ее кожи и молока; теплое, вперемешку с ароматом яблок, дыхание. Кровь стучит у него в ушах. Он поднимает руку к груди, потом подносит к лицу, дотрагивается до горящих щек. На руке что-то остается — вода. Он слизывает ее языком. Соленая. Мальчики всё поют. Их голоса, как фонтан, поднимаются вверх и дождем падают вниз. Джеймс подходит к одному из боковых выходов. Там, у двери, со шляпой в руке стоит человек. Он кивает Джеймсу и отодвигает занавес перед дверью. Мальчик останавливается, оглядывается, ищет Грейс Бойлан. На дальней скамье он видит похожую на нее фигуру — кто-то, склонившись, спит или молится. Когда он поворачивается

[19] Примечания: 19

Первые слова псалма «Te Deum laudamus» («Превознесем Тебя, Господи»).

назад, человека не видно. Приглушенные, неразборчивые голоса бормочут с разных сторон собора. Джеймс делает шаг вперед. Некто поджидает его за занавесом. В противоположном конце собора мелькает полоска света. Быстрым шагом входит Гаммер, такой маленький среди колонн, величественных гробниц, серых каменных плит. Заметив Джеймса, машет ему. Джеймс, отступив к боковой двери, выходит. Он не может разглядеть того человека, но чувствует, что его хватают за руку. «Быстрее!» — звучит чей-то голос, и его толкают вперед сквозь вздыбленный ветром воздух. Их ждет запряженный четверкой экипаж. Теперь они бегут, Джеймс и мужчина, вниз по дороге, через мост, Река так и сверкает. По ней, как обезумевшая, мечется пустая лодка. Когда они достигают экипажа, оттуда высовывается другой человек, втаскивает Джеймса внутрь и захлопывает дверь. Экипаж клонится назад, потом вперед. Вдруг в окне появляется лицо Гаммера, его протиснувшаяся в экипаж рука хватает Джеймса за шею и тянет наружу. Мальчик видит, как двое сбивают Гаммера с ног и валят на обочину. У одного в руках палка. Гаммера бьют. Не слышно ничего, кроме шума ветра. Зеленоглазый человек тихонько толкает Джеймса на

место и спускает штору. Откуда-то из темноты до него доносится голос: «Теперь ты в безопасности, мальчик. — Рука хлопает его по колену. — В полной безопасности».

5

Гладкая, как бутылочное стекло, земля. Прелестные золотые леса, змеею вьющийся зеленовато-стальной ручеек. Пруд удобного размера со шпилем вырастающей из воды церкви, разрывающим водную гладь. Подъездная дорожка с падающей, точно штриховка, тенью молоденьких деревьев; итальянские сады; широкие аллеи; панорамы; растянувшаяся на мили стена из красного кирпича, железные зубцы.

Джеймс открывает глаза. Он не понимает, что его разбудило. На верхушке куста сидит птица и глядит на него, склоняя голову то на один бок, то на другой. Джеймс смотрит, какой длины тень, чтобы сообразить, как долго он спал. Часа два, не меньше. Его удивляет солнечный свет. Во сне он видел снег, огромный снежный мир, и слышал, как его зовет чей-то голос, окутывающий его со всех сторон.

Он неуклюже встает на ноги. Теперь Джеймс спит так много и так глубоко, словно его тело готовится к какой-то новой жизни. Он хлопает в ладоши; птица улетает и уносит с собой его сон.

Вечером дом поистине великолепен. Бледный камень впитывает в себя медово-розовый свет; в каждом окне свое, непохожее на другие солнце. Щедрые руки Паллады простираются по обе стороны господского дома. Он подходит ближе, и под ногами скрипит ровно насыпанный гравий. По лестнице с пологими ступенями он идет к двустворчатой двери. Стучать не нужно. Невидимые глаза всегда его замечают. Ему открывают затянутые в перчатки руки. Слуги в желтых ливреях.

Через эту дверь он впервые вошел в дом вместе с зеленоглазым джентльменом, чья рука временами трепала мальчика по плечу, как будто желая ободрить. Он передал Джеймса на попечение слуги, и тот повел мальчика вдоль вьющихся серпантином перил, по широким, как дороги, коридорам, мимо череды дверей, ведущих так далеко, что и конца-края не видно. Послышались голоса, говорившие на каком-то неизвестном ему языке, раскованная, выразительная болтовня, и, взглянув вверх, он увидел на строительных лесах людей с темными волосами и тонкими чертами лица, держащих в руках длинные кисти. Они расписывали фриз над одним из огромных окон. Приостановив работу, они поглядели вниз на Джеймса и заулыбались, качая головами: «Ah,

povero ragazzo!»[20]

Джеймса провели в комнату, где стояла кровать с балдахином и в камине тихо потрескивал огонь. Теперь слуга глядел на мальчика без выражения почтительности, точно актер, вдруг позабывший свою роль.

— Захочешь есть, вот тебе шнурок — дергай.

Тогда Джеймс спросил:

— А тот человек вернется? Тот, с которым я сюда приехал?

— Мистер Каннинг? — Слуга покачал головой. — Он сам за тобой пошлет, когда понадобится. Он человек занятой. Ты тут не один такой.

Дверь закрылась прежде, чем Джеймс догадался спросить: что это значит — «не один такой»?

Кроме слуг, к нему никто не приходит; да и слуги уже другие, не такие свойские и лукавые, как тот, кто провожал его в комнату в первый день; от них ничего не узнаешь. Они только прибирают в комнате и приносят подносы с едой. По сравнению с овощами, копченой грудинкой и дешевым хлебом, которыми его кормили Грейс и Гаммер, его нынешний рацион содержит много дичи и сладостей. От столь обильной пищи ему

---

[20] Примечания: 20
Ах, бедный мальчик! *(ит.)*

не сидится на месте. Непонятно, он гость или пленник. Его, конечно, никогда не запирают на ключ, а в коридоре не видно никого, похожего на охранника. Джеймс начинает исследовать дом. Когда все вокруг стихает, он выходит из комнаты со свечкой в руке, звук его шагов тонет в плюшевом ковре, и лишь желтовато-розовое пламя может его выдать.

В первый свой выход он не встречается ни с кем. Дом, словно нарочно, совсем пуст. Через час Джеймс понимает, что заблудился, заплутался в симметрично расположенных покоях, и находит свою комнату только под утро, когда свеча уже давно потухла. Он все еще думает, что не на том этаже и не в том коридоре, как вдруг видит знакомую дверь.

Следующей ночью он идет дальше. Впереди двое слуг со свечами, свет от которых красиво падает на их желтые ливреи, пересекают огромную залу. На мгновение они останавливаются поглядеть на язычок его пламени, потом исчезают. Что за тайную жизнь ведут эти люди, увертливые, как ужи? Джеймс пытается догнать их, но не знает, в какую сторону они направились, не видит даже отблеска их свечей.

Лишь на третью или четвертую ночь он встре-

чает человека, с которым можно поговорить; луна сияет так ярко, что ее свет проникает даже в коридоры без окон и лежит под дверьми, словно листы свежей газеты. Джеймс бродит уже почти целый час, когда часы в сотне комнат начинают бить полночь и он слышит голос, тихий, но ворчливый. Он движется на этот голос и доходит до большой двери, приоткрытой как раз достаточно, чтобы его впустить. Джеймс входит и в лунном свете видит какого-то господина, его подернутую серебристым сиянием фигуру, стоящую на некоем возвышении, похожем на кафедру, у стеллажа с книгами. Человек поднимает руку, чтобы поставить на место том, но тут оборачивается и внимательно смотрит на мальчика.

— Ты кто таков? И что тебе здесь надобно? Это библиотека. Мальчишкам, по-моему, библиотека ни к чему. Может, ты кухню искал?

Кряхтя, он запихивает книгу на место и спускается вниз. Джеймсу казалось, что господин высок ростом, однако теперь видно, что он едва ли выше самого Джеймса.

— Ну, раз уж ты сюда явился, пойдем, я покажу тебе, что тут имеется. Меня зовут Коллинз, я библиотекарь мистера Каннинга. Сопровождал его в путешествии по Испании и Италии. Да, в

Италии мы провели много лет. Он говорит поитальянски совсем как местный житель. Целый час может декламировать Данте. Вот на этих полках — история. Геродот, Плиний, Тацит, Гомер. Здесь — философия. Аристотель, Бэкон, Ньютон, Эразм… Гоббс, Локк… А на этих полках, от коих ключ только у меня и у мистера Каннинга, кое-какие редкостные и… особенные тома. Тебе сколько лет, мальчик?

— Тринадцать.

— Тебя посещают амурные мысли?

— Амурные?

— Да. Когда охватывает жар. Вожделение. Ты любишь подглядывать в замочные скважины? Ты загораешься при виде вздымающейся женской груди?

Мгновение Джеймс пытается вспомнить, грудь каких женщин ему случалось видеть. Однажды он видел у Лизы две щенячьи головки, когда летней ночью она задрала свою сорочку. У актрис, представлявших на ферме Моди. У Грейс Бойлан, когда она давала их тискать Гаммеру. Джеймс вертит головой. Библиотекарь пожимает плечами:

— Значит, ты не будешь клянчить у меня этот ключ. Так, на чем же мы остановились? На фило-

софии? Далее следует поэзия, ее особенно любит мистер Каннинг.

Он останавливается. Поднимает руку. Прислушивается, глядя через плечо Джеймса в сторону двери.

— Ты их слышал? — спрашивает он.

Джеймс считает пальцы на руках у библиотекаря. Один, два, три, четыре, пять, шесть.

— Это близнецы, — говорит Коллинз, и на мгновение странная улыбка появляется у него на лице.

Джеймс оборачивается. Из-за двери выглядывают две головки. Его изучают четыре глаза, потом головки исчезают, и он слышит шуршание обутых в туфельки убегающих ног.

— За ними! — Библиотекарь толкает Джеймса между лопаток. — Торопись или не догонишь!

Джеймс пускается в погоню, время от времени останавливается, прислушивается и бежит дальше. Вот они мелькают на лестнице, потом в конце галереи, проскользнув через дверь в сумрак другого перехода. На полминуты он совсем теряет их след; потом раздается приглушенный грохот, крик: «Черт! Черт!» Он бежит на звук голосов, находит осколки фарфора, но девочек не видно, не слышно и шуршания их туфелек.

Они спрятались в комнате, которая, как он узнал потом, зовется залом Статуй. Луна висит за окном между двумя кипарисами, и статуи отбрасывают на мраморном полу длинные контрастные тени. Мужчины с вьющимися волосами, чьи мускулистые обнаженные тела пребывают в расслабленных позах, опираются на копья или устало указывают куда-то отсутствующими руками. Женщины и богини, чьи руки сложены на груди, а головы лишены носов, глядят внутрь себя пустым взглядом.

Девочки спят на скамье у окна. Джеймс подходит ближе, чтобы их рассмотреть. Они лежат рядом, свернувшись калачиком, у обеих высокий белый лоб, их головки прижаты друг к другу. Глаза под бескровными веками кажутся непомерно большими. Рты маленькие, а губки пухлые, как у младенцев.

Вдруг одна из девочек открывает глаза, словно ее сон был притворством, и улыбается.

— Я видела тебя во сне, — говорит она. — И теперь ты здесь.

— Откуда ты меня знаешь?

— Мистер Каннинг сказал, что ты должен сюда прийти. А потом я увидела тебя из окна. Мистер Каннинг говорит, ты похож на самого обычного

мальчика, но что ты совсем, совсем не такой. Он бы не привез тебя, если б ты был как все.

— Я не видел мистера Каннинга со дня приезда.

— И не надейся видеться с ним часто. Разве что иногда. Он пошлет за тобой, когда ты ему понадобишься. Меня зовут Анн, а это моя сестра Анна. Когда мистер Каннинг нас нашел, мы работали в цирке. Нам там не нравилось. Ты ведь тоже работал в цирке?

Джеймс мотает головой:

— Я работал в балагане. Мы продавали лекарство.

— Хорошее лекарство?

— Ничего. Ничего хорошего.

— А вот мистер Каннинг дает нам хорошее лекарство. Он сам его делает.

— Чем вы больны?

— Да в общем-то ничем. Только иногда у нас болит голова и мы так устаем, что засыпаем, даже когда разговариваем.

— Ты всегда вместе с сестрой?

Она смеется, хмыкает так, будто он сказал нечто забавное, хоть и несколько сомнительного свойства.

— Конечно. Но с ней бывает так скучно. Зато

скоро мы будем существовать отдельно, и тогда я не увижу ее целую неделю или даже месяц, а когда мы опять встретимся, нам будет о чем поговорить, как всем обычным людям.

Только теперь Джеймс понимает, в чем дело. Вот почему они так уютно устроились на скамье, точно две половинки чернильной кляксы.

— Когда вас должны разделить? — спрашивает он.

— Когда нам будет шестнадцать. Мистер Каннинг обещал.

— А сколько вам теперь?

Она уже спит. Вторая сестра смотрит на него.

— Ты утомляешь нас своими разговорами. Почему ты не в постели?

— А вы почему не в постели, если так утомились?

— Нам здесь нравится. Нам нравится смотреть на статуи. А вон та нравится больше всех, — она указывает в угол комнаты. Коренастая фигура с огромным, готовым к половому акту фаллосом, поднятым в небеса. — Мистер Каннинг говорит, что это бог садов Приап. Мы зовем его… — Она шепчет какое-то прозвище, которого Джеймс не слышит, и громко истерично хихикает. Сестра не просыпается. Ее большая голова раскачивается

на груди.

— Давно вы здесь? — спрашивает Джеймс.

Она пожимает одним плечом:

— С тех пор как мистер Каннинг нас нашел… Мы позируем для портрета. Его рисует мистер Молина. Может быть, он и твой портрет нарисует, если ты к нему зайдешь.

— А где он рисует?

Она указывает куда-то наверх жестом таким же устало-изысканным, как жесты статуй. И тоже засыпает.

Он долго стоит над ними, наблюдая их сон и ожидая, что, быть может, хоть одна девочка проснется. По отношению к ним он чувствует какое-то родство, но это не нежность и не дружба. Стало быть, мистер Каннинг коллекционер, а он, Джеймс Дайер, как и эти близнецы, как и мистер Коллинз, — взят в качестве экземпляра в его коллекцию. Точнее, украден. Но Джеймса это не заботит. Каннинг послужит ему так же, как и Гаммер. К тому же в доме много такого, о чем он хочет разузнать побольше. Шестипалый библиотекарь; две девочки, сросшиеся в одну. Как это Гаммер назвал его однажды? Rara avis. Сколько здесь таких в золоченой клетке мистера Каннинга?

6

Проходит много дней, прежде чем он заговорит с ними вновь, хотя несколько раз он видит, как они прогуливаются по парку под одинаковыми белыми зонтиками — Анн и Анна, в ожидании своего шестнадцатилетия. Дважды он видит, как они идут вместе со слугой к маленькому домику, стоящему на пригорке неподалеку от озера. Слуга каждый раз несет туда ведро. В ту сторону — полное; обратно, если судить по тому, как свободно оно болтается на ручке, — пустое. Что до мастерской мистера Молины, то он ее не нашел. Джеймсу даже кажется, что она существует только у девочек в воображении.

Если ему скучно и хочется побыть в чьем-нибудь обществе, он идет в библиотеку. Мистер Коллинз, как ранее мистер Вайни, — они оба быстро заметили, сколь жадно мальчик впитывает знания, — заставляет его снимать с полок тома в кожаных переплетах и читать. Не стихи, разумеется, и не истории — к ним мальчик совершенно глух, — а книги по анатомии, атласы, описания опытов, книги со сложными любопытными схемами, книги по астрономии, геометрии… Мистер

Коллинз стоит у него за плечом, декабрьский дождь стекает по оконным стеклам, и свечи мерцают в долгих зимних сумерках. Джеймс продирается сквозь латинские страницы «De motu cordis» Гарвея.[21] Но наибольшей притягательностью обладают для него рисунки: мир, скрывающийся под человеческой кожей, многочисленные петли кишечника, округлости и выпуклости крупных органов; ткани мускулов, прикрепившиеся к прочным костям; сложный механизм сердца, от которого в разные стороны отходят вены и артерии, извиваясь и разделяясь на маленькие венозные веточки.

Всю унылую пору года мистер Коллинз потчует мальчика книгами Борелли и Мальпиги[22] («Я принес в жертву почти все лягушачье племя…»);

---

[21] Примечания: 21

Гарвей, Вильям (1578–1657) — английский врач, основатель современной физиологии. Впервые изучил и описал систему кровообращения. Здесь цитируется часть названия его работы «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных».

[22] Примечания: 22

Борелли, Джованни Альфонсо (1608–1679) — итальянский натуралист. Мальпиги, Марчелло (1628–1694) — итальянский анатом, биолог и врач.

Фабриция[23] из Падуи; с верхней полки, стоя на цыпочках на своей передвижной кафедре, библиотекарь достает анатомию Везалия[24] «De humanis corporis fabrica», на обложке которой изображен собственной персоной знаменитый автор, чьи пальцы по самую ладонь погружены в живот женского трупа в Падуанском анатомическом театре. Джеймс даже запоминает десяток греческих слов.

Мастерская Молины, обнаруженная Джеймсом, как и все в этом доме, совершенно случайно — всего лишь повернул ручку выбранной наудачу двери, — расположена в верхних этажах среди лабиринта предназначенных для прислуги комнат, над кронами деревьев, почти вровень с кружащими по небу грачами. Она завалена всяким домашним хламом: перемазанными краской рубахами, чашками и чайниками, пустыми винными бутылками; среди прочего виднеются большие сломанные часы и кисти в кувшине с

---

[23] Примечания: 23

Фабриций из Аквапенденте, Джероламо (1533–1619) — итальянский анатом и хирург, профессор кафедры анатомии Падуанского университета. Учитель В. Гарвея.

[24] Примечания: 24

Везалий, Андреас (1514–1564) — основоположник научной анатомии. Упоминаемый труд «О строении человеческого тела» стал научной основой современной анатомии.

какой-то жидкостью. Серый кот припал к тарелке с рыбьими головами, не обращая никакого внимания на присутствие мальчика. Молина стоит к Джеймсу спиной. Не отрываясь от холста, он отводит назад руку и машет, приглашая Джеймса сесть на какую-то сломанную восточную тахту рядом с девочками. Похоже, что из-за своей неподвижной позы двойняшки впали в оцепенение, их платья сверкают, и в свете дюжины канделябров их лица покрыты лихорадочным румянцем.

— Ya está…[25] — говорит Молина. — Отдохни.

Он обходит холст, опускает кисть в желобок кремового цвета, с наслаждением потягивается.

— Так вот он каков, тот мальчик, о котором мне рассказывали.

Джеймс и Молина внимательно смотрят друг на друга, художник кивает головой. Высокий, худой человек с густыми бровями и густыми каштановыми волосами, перевязанными черной ленточкой.

— Ты пришел, чтобы я написал твой портрет, друг мой?

— Вы должны сначала закончить наш! — кри-

---

[25] Примечания: 25
Ну вот… *(исп.)*

чат близнецы.

— Не бойтесь, — отвечает Молина, — вы уже почти увековечены.

Близнецы вскакивают с тахты, бросаются к картине и радостно хлопают в ладоши.

— А вы нарисуете нас потом? Нарисуете? Джеймс, ты никогда не догадаешься, что произошло! Мистер Каннинг пообещал, что представит нас ко двору! Ты только вообрази!

Молина смеется:

— Может быть, Джеймс тоже сможет туда пойти и танцевать с вами на балу. Сначала с одной, потом с другой. Пригласи их теперь же, Джеймс. Потом они будут иметь большой успех. Ну а сейчас вам следует снова сесть, дорогие мои, еще немного…

— Нам надоело! Мы хотим поговорить с Джеймсом.

— Джеймс посидит с нами и послушает вашу болтовню. А покамест сядьте как раньше, вот так… Руку, Анна, еще немного… прекрасно. Итак, я пишу.

Художник работает. Когда же близнецы стихают и вновь впадают в оцепенение, он говорит Джеймсу:

— Мера дара художника зависит от степени его

внимания. Понимаешь? От того, как он смотрит на изображаемый предмет. Быть может, это также мера, которая определяет человека, как ты думаешь? Скажи, Джеймс, тебе нравится твой новый дом?

— Да, пожалуй.

— Так-так. Насколько я понимаю, ты обладаешь одной очень необычной… способностью. Не ведаешь чувств… ощущений. Честно признаюсь, не могу себе этого представить.

— А у вас какая способность? — спрашивает Джеймс.

— Вот эта. Только это жалкое владение красками. Посмотри, они уснули. Так часто случается. Кровь у них общая, и ее не хватает. Как тебе кажется, они красивые? Сейчас я тебе кое-что покажу. Когда они так засыпают, их нипочем не добудишься — хоть из пушки пали.

Молина подходит к девочкам и, наклонившись, берется за кайму на платье.

— Иди сюда, Джеймс.

Художник поднимает перепутанные оборки. Четыре полные ножки в красных чулках, подвязанные ленточкой выше колен; четыре ослепительно белых обнаженных бедра и две аккуратные бородки жестких медного цвета куд-

ряшек. Девочки срослись боками. Молина берет руку Джеймса и прикладывает ее к тому месту, где сливается плоть, соединяются кости и кровь. В его глазах стоят слезы.

— Как мягко, не правда ли? Как… No sé cómo se dice…[26] Такое чувство, что стоит немного нажать, и твоя рука войдет внутрь. Я видел нечто подобное, Джеймс, у себя дома в Гранаде… Один человек, мавр, целитель… он забрался прямо внутрь мальчика и вынул из него всю скверну… Без ножа и без крови. Я своими глазами видел. Мальчику было немного больно, но не слишком. Его держала мать. Мавр забрался внутрь… так, словно вытаскивал рыбу из пруда. Я бы хотел написать их без одежды, но они стесняются. Думаю, если я налью им немного вина… Может, тогда они согласятся.

Джеймс легонько трогает девочек. Интересно, как распределены между ними основные органы: пищеварительный тракт и ободочная кишка, селезенка, почки, поджелудочная железа… что, если их недостаточно, если, к примеру, у них на двоих одна печень? Есть ли способ узнать об этом заранее или все выяснится только на операци-

---

[26] Примечания: 26
Не знаю, как сказать *(исп.)*.

онном столе? Известно ли что-нибудь мистеру Каннингу?

Молина убирает руку мальчика, одергивает платье.

— Ты когда-нибудь писал красками, Джеймс?

— В школе я рисовал. Мне это давалось легко.

— Так я и думал. У тебя руки живописца. Руки художника. — Молина смотрит на мальчика и улыбается доброй, сострадательной улыбкой. — Ты и вправду ничего не ощущаешь, друг мой?

Джеймс мотает головой. Ему не требуется ничье сочувствие.

— Никакой боли?

— Никогда.

— А удовольствие? Ты испытываешь удовольствие?

Об этом его еще никто не спрашивал. Он смотрит на кота — тот с наслаждением обгладывает оставшуюся голову.

— Удовольствие?

Некоторые вещи, без сомнения, ему нравятся: знания, которые можно почерпнуть из книг мистера Коллинза, разные блюда, планетарий, богатый дом Каннинга. Но можно ли назвать это удовольствием? Или Молина имеет в виду что-то иное, что-то физическое, некое ощущение? В

обособленном девственном мире внутри себя он знает ответ. Боль, удовольствие. Во сне перед ним мелькал их берег, их высокие прибрежные скалы — во сне он вдыхал веющий с берега сладостный бриз. И все же его окружает море спокойного бесчувствия. У корабля высокие борта, он незыблем, его большие серые флаги развеваются на ветру. Разве может быть иначе? Ему не хочется об этом думать.

Молина вновь стоит у холста, смешивая белую и синюю краску на старом обеденном блюде, что служит ему палитрой.

— А что там такое, в домике у озера? — спрашивает Джеймс. — Я видел, как слуга туда заходил. И близнецы тоже.

Молина кивает, продолжая сосредоточенно смешивать краски.

— Там один из самых замечательных… экземпляров мистера Каннинга. Конечно, он не всем о нем рассказывает. Только своим друзьям — ученым джентльменам.

— Но вы не сказали, что это такое.

— Это оттого, что я хочу, чтобы ты смотрел… — Молина ищет подходящее слово, — …с незамутненным сознанием.

— Вы отведете меня?

— Отведу.

— Когда?

— Сегодня вечером.

— Что еще есть у мистера Каннинга?

— Много. Много всего. Например, есть лунный мальчик.

— Ну этому-то я не поверю.

— Многие люди, Джеймс, не поверят, что бывают мальчики, которые не чувствуют боли.

— Как он выглядит, этот мальчик?

— Очень странно, а потом кажется, что совсем не странно. Не большой и не маленький. Без рогов. Ты его тоже увидишь. Когда-нибудь.

Джеймс долго глядит на профиль Молины, но больше ничего узнать не может. Художник полностью поглощен работой. Он пишет голубые глаза девочек, наносит голубой цвет там, где ему следует быть на картине.

Кот закончил свою трапезу. И теперь очень тщательно вылизывает лапки.

В сумерках вдруг появляется солнце; мир расцветает. Яркие краски, пение птиц, покрытая серебром трава. Но это длится лишь час, потом небо затягивают облака, несущие ночь, они торжественно плывут над холмами, деревней, озером. Свет исчезает в изящной золотой башен-

ке. Из комнаты в комнату спешат слуги, зажигая свечи. Подбрасывают дрова в камины, закрывают оконные ставни.

Джеймс встречается с Молиной на черной лестнице. Художник подмигивает мальчику и показывает болтающийся в руке ключ.

— Готов?

Они выходят через низкую боковую дверь. Молина прихватил у одного из слуг фонарь, отбрасывающий слабый свет, достаточный, однако, чтобы увидеть ближайшие две-три ступеньки. По дороге к домику ни один из них не произносит ни слова. Домик невелик, построен в виде игрушечного храма. Рядом с ним, хмуро уставившись в сторону озера, стоит статуя Нептуна с толстым пузом, как у человека, страдающего расстройством пищеварения. Молина царапает ключом замок.

— То, что ты сейчас увидишь, Джеймс, мистер Каннинг нашел неподалеку от острова Капри. Говорят, одна такая была у императора Тиберия. Он держал ее для своих удовольствий.

Замок поддается. Молина осторожно открывает дверь, как будто то, что находится по ту сторону, может испугаться. Следом за ним входит Джеймс. В воздухе стоит вонь от рыбы. Освещенная фонарем поверхность бассейна кажется мраморной.

Молина опускается на корточки у самого края воды.

— Подойди, друг мой. Она тебе ничего не сделает.

Но Джеймс не боится, он лишь испытывает недоверие. Ему на память приходит Гаммер, трясущий бутылкой с бесполезной дрянью над головами пожирающей его глазами толпы. Может, и Молина морочит ему голову?

На дне бассейна заметно какое-то движение, точно извивается чья-то тень. Джеймс опускается рядом с художником на колени и внимательно смотрит в глубину.

— Видел? — спрашивает Молина.

— Нет, ничего не видел.

Вода мутная. Там, где ее пронизывает свет, глаза Джеймса различают ярко-зеленые, похожие на нечистоты, частички. Молина опускает в бассейн руку. Говорит тихо и нежно, как с любимой: «Venga, carina, venga».[27] Вода взрывается, свет бешено скачет по поверхности. Вырисовывается нечто, поднимающееся к ним из глубины и раздирающее хилые мускулы воды. У самой поверхности проносится что-то — кажется, голова.

---

[27] Примечания: 27
Иди сюда, милая, иди *(исп.).*

Мелькает бронзовый цвет, и раздается крик, похожий на крик чаек, отчаянный, жуткий. Секунду Джеймс ее видит, очерченную водоворотом собственного движения; глаз, явно человеческий и явно нездешний; мощное белое плечо, длинная, изогнутая спина, хвост с приставшими к нему водорослями и корочкой прилепившихся ракушек; широкий, рваный, похожий на гребень, хвостовой плавник. Она снова кричит, переворачивается на спину, показывая белую с розовым грудь, и ныряет в глубину, ритмично плеща хвостом и уходя от неглубокой сети пронизывающего воду света. Волны бьются о каменную стену бассейна, затем медленно-медленно стихают.

Молина выпрямляется, жестом велит мальчику идти вперед, они выходят, художник плотно закрывает дверь, запирает ее на замок и кладет ключ в карман. Начинается дождь. На озерной глади капли дождя образуют маленькие белые цветочки. Они бегут к дому, и по дороге чудесное неопрятное существо, принадлежащее Каннингу, заплывает в самые отдаленные уголки сознания мальчика, кружится там, питая его мечты и пробуждая ощущение странной неловкости.

7

В январе наступают заморозки. А в феврале приходит неожиданная оттепель. Реки плещутся у берегов, на дорогах каша. В праздник Святого Валентина Джеймс получает перевязанный нитью локон волос. Опять загадка, почерк чрезвычайно своеобразен. В следующий раз повстречав близнецов, он пытается разглядеть, у которой недостает отрезанной ножницами пряди, но в густой копне колечек и кудряшек разобрать ничего невозможно. Может, это подарок от них обеих. Раз уж у них одинаковые мысли, то почему бы им не испытывать одинаковых чувств? Неделю он пользуется локоном вместо закладки, потом теряет, возможно позабыв его в книге «De revolutionibus»[28] или среди страниц первого издания ньютоновской «Оптики», принадлежащей мистеру Каннингу. Близится самый важный день в жизни девочек. При одной мысли об этом они иногда даже теряют сознание.

Гости. Дюжина экипажей, облепленные грязью колеса. Слуги в дверях, точно пчелы у входного

---

[28] Примечания: 28
О циркуляциях *(лат.)*.

отверстия в улье, мистер Каннинг в камзоле из плотного зеленого бархата — безмятежный хозяин. Джентльмены раскланиваются, пожимают хозяину руку, произносят что-нибудь добродушно-шутливое, однако настроение у них, судя по всему, невеселое, отрешенное, словно в каждой из их голов сложена хрупкая пирамида идей, которые требуют ежесекундного внимания. Сжимая в руках трости, они спешат в мраморный зал. Наконец приезжает последний гость; его кони забрызганы грязью до самых удил. Слуги несут толстого господина через лужи к каменным ступеням.

— Дорогой мой Бентли.

— Мое почтение, Каннинг. Гнуснейшая погода.

Джеймс, затаившись, следит за гостями сквозь балясины перил над залом. Посмотрев вверх, Каннинг замечает мальчика и кивает, ничего более, но они понимают друг друга: Каннинг встретится с ним позже, Джеймс должен прийти. Все абсолютно ясно.

Внизу течет беседа, а сверху Джеймс наблюдает скопление голов; затем все следуют за Каннингом в сторону западного крыла. Дом проглатывает их. Слуга соскабливает с пола оставленную башмаками грязь.

Джеймс ждет в мастерской Молины. Портрет близнецов закончен и небрежно прислонен к кровати художника.

— Я боялся показывать его близнецам, — говорит Молина. — Живопись — недоброе искусство. Искусство вообще не бывает ни добрым, ни учтивым. Они вошли и стали смотреть, долго смотрели. Они очень счастливы. Так счастливы, что даже расплакались. Я тоже расплакался, ибо картина моя истинна. Я подумал о тебе, друг мой, о твоем портрете. Полагаю, мне будет очень нелегко, но я бы хотел попытаться. Ты согласен, не правда ли?

Согласен. Джеймс стоит спиной к невзрачного вида коричневой драпировке. На стол рядом с ним Молина кладет открытую книгу, которую утащил из библиотеки, когда мистер Коллинз вышел, повинуясь зову природы. Это редкое издание Бартоломео Евстахия «Tabulae Anatomicae Clarissimi Viri»,[29] раскрытое на странице с изображением мужской фигуры, ступни которой помещены в двух нижних углах, а кисти уперлись

---

[29] Примечания: 29

Евстахий, Бартоломео (ок. 1510–1574) — итальянский анатом и врач, один из основоположников научной анатомии, открыл соединительный канал между внутренним ухом и носоглоточным пространством (т. н. евстахиеву трубу). Создал упоминаемые «Анатомические таблицы», содержащие 38 рисунков, и опубликовал их в 1714 году.

в небо. Голова повернута в сторону и напоминает воспаленную луну, кожа полностью удалена, дабы обнажить кровеносные сосуды. На рисунке сосуды похожи на запутанную корневую систему. В качестве анатомической иллюстрации это изображение обладает странной экспрессией. Кажется, что человек осознает свое состояние, испытывает боль и отвращение, словно он стал жертвой некоей омерзительной и необъяснимой хирургической операции. Открытое глазу сердце напоминает неаккуратно упакованный сверток. Видны даже мельчайшие сосуды полового члена. Небольшой темный отросток висит между освежеванных бедренных мускулов. Можно сказать и больше: изображенный на рисунке мужчина похож на объятого ужасом человека, который ждет возвращения своего мучителя. Молина находит, что рисунок должен присутствовать на портрете. Но не говорит почему. Наверное, решает Джеймс, чтобы показать его интерес к подобным вещам.

Молина рисует, сначала при свете дня, потом зажигает свечи. Первые наброски выбрасывает. Глядя на последующие, осторожно кивает. Джеймс смотрит на разбитые часы и говорит:

— Мне пора идти.

Молина кивает:

— Господа, вероятно, уже ждут.

Слуга встречает Джеймса в его комнате. На кровати разложена одежда, которой он раньше не видывал: камзол и штаны из красного атласа, шелковые чулки, туфли с серебряными пряжками. Никогда еще ему не доводилось носить столь роскошное платье. Мальчик смотрит в зеркало. Слуга ждет, держась на расстоянии, чтобы не портить картину собственным отражением. Когда Джеймс наконец поворачивается к нему, он ведет его в залу, где собрались господа, — там, на первом этаже, пахнет табачным дымом и химическими веществами. Ярко освещен лишь стол. Рядом установлено нечто непонятное, и именно оно приковывает внимание присутствующих. Это устройство с изящным основанием, наверху которого находится блестящий стеклянный шар. Внутри шара помещена голубка, она то сидит смирно, то бьет крыльями в стеклянные стенки. Стекло забрызгано снизу птичьим пометом. Господа собрались вокруг стола. Некоторые надели очки. Один делает какие-то заметки на пергаментной бумаге. Держась за ручку, прикрепленную к двум зачехленным поршням, расположенным в основании прибора, стоит мистер Каннинг. С помощью поршней из стек-

лянного шара предполагается откачать воздух. Мистер Каннинг называет этот шар «колоколом». Там, куда не доходит неровный свет со стола, очень темно, и эта темнота, возможно, скрывает и других зрителей. Джеймс делает шаг вперед. Головы поворачиваются посмотреть, кто пришел, их взгляды некоторое время задерживаются на Джеймсе, затем вновь обращаются к прибору. Они присутствовали при этом эксперименте десяток раз, но прибор Каннинга, созданный его собственными руками, являет собой образец особой научной роскоши.

— Итак, джентльмены, — говорит Каннинг и начинает поворачивать ручку. Птица тут же реагирует на изменение в атмосфере. Последняя отчаянная попытка улететь, разбить стекло. Яростный сгусток энергии. Потом ей на спину словно ложится невидимая рука и прижимает ко дну колокола. Некоторые из присутствующих кивают. Тот, что делал заметки, поднимает глаза и смотрит на птицу через очки, бормоча: «О, да, да». Другой отводит глаза в темноту. Каннинг продолжает поворачивать ручку. Птица бьется в конвульсиях, ее крылья, наполовину расправленные, прижаты к стеклу. Тело искривлено. Явственно заметны спазмы, которые становятся

все слабее, пока не превращаются в подобие слабой дрожи. Слышно лишь размеренное щелканье храповиков на верхушках поршней. Птица более не двигается. Мистер Каннинг отпускает ручку. Тишина. Потом откуда-то из темноты слышится всхлипывание. Мистер Каннинг улыбается. У него лицо как у мудрого ангела. Он поднимает руку и запускает механизм над колоколом. Свистит проникающий внутрь воздух, и птичка мгновенно оживает, хотя ее движения похожи на движения пьяного. Мистер Каннинг осторожно достает из-под колокола голубку и с нежностью держит в ладонях. Близнецы, утирая слезы, но уже вполне утешившиеся, выходят из мрака, и мистер Каннинг вручает птицу Анн. Голубка, кажется, уже успокоилась, позабыв о своих страданиях. Раздаются аплодисменты, вносят еще свечи, а за ними появляются слуги с хрустальными графинами портвейна, кларета и бренди. Провозглашаются тосты.

— За будущее!

— За науки!

— За Ньютона!

Обойдя стол, мистер Каннинг приближается к Джеймсу.

— Ты очень хорош в новом костюме, мой милый

мальчик. — Он расправляет ему край камзола, и в этом движении проскальзывает что-то материнское.

— Господа! Позвольте попросить у вас еще минуту вашего драгоценного внимания. Мне хотелось бы представить вам этого молодого человека — господина Джеймса Дайера, — который уже некоторое время проживает в моем доме. Надеюсь привести его весной в Лондон, где он будет официально мною представлен на одном из наших регулярных собраний.

Собравшиеся рассматривают мальчика, кое-кто слегка кивает с весьма добродушным видом. Подходят близнецы и становятся рядом. Каннинг, оказавшись сзади, кладет одну руку на плечо Джеймса, другую на плечо Анн и говорит:

— Вот моя семья. Они дороги мне, как собственные дети. Подойдите же. Полагаю, они уже в том возрасте, когда можно отведать по рюмке кларета.

Близнецы всем понравились. От кларета щеки у девочек порозовели, глаза блестят, отражая огоньки всех зажженных свечей, ноздри подрагивают. Господа, поглощая напитки в свое удовольствие, ведут себя с ними все более и более галантно. Похоже, им нравится своеобразное

обаяние близнецов. Девочки благосклонно улыбаются Джеймсу. Манера мальчика держать себя делает его старше, сдержаннее. Если бы не богатый костюм, его можно было бы принять за сына квакеров. У некоторых господ он вызывает любопытство, мальчика осторожно выспрашивают, но скупость его ответов быстро утомляет. И, отвернувшись, гости обращаются либо к графинам, либо к близнецам, либо друг к другу. С Джеймсом остается лишь толстяк Бентли, с лягушачьей головой, сидящей на бородавчатой шее. Он задает самые разные вопросы: что мальчик ест, как обычно спит, каково его общее самочувствие. Но во время беседы его ногти крепко держат запястье Джеймса, вонзаясь в кожу до тех пор, пока на ней не появляются капли крови, пачкающие Джеймсу кружево новой рубашки.

— Молодец Каннинг, что разыскал тебя. Мы еще потолкуем с тобой с глазу на глаз.

Он достает из кармана носовой платок и вытирает с пальцев кровь мальчика.

8

Его ни о чем не предупреждают.

Рано утром его будят, велят тепло одеться, подают чашку горячего шоколада и яичницу на завтрак. В холле ждет мистер Каннинг. Слуга разглаживает плечи его дорожного сюртука.

— Насколько я знаю, — говорит Каннинг, — ты еще не бывал в Лондоне. По мнению одних, это величайший город после Рима времен империи. Другие зовут его гостиной дьявола. Оба определения верны. Ты заходил к близнецам?

— Нет, сэр.

После вечера, когда демонстрировали действие воздушного насоса, близнецы слегли в лихорадке: им мерещился дым и огонь.

— Ничего, — говорит мистер Каннинг, — привезем им что-нибудь из Лондона. Веер или гребень. Что-нибудь à la mode.[30] Я так люблю делать им подарки.

Они выходят из дома, пересекают полосу солнечного света, яркого, как всегда в конце марта, и забираются в прохладное кожаное нутро экипа-

---

[30] Примечания: 30
Модное *(фр.).*

жа. Раздается крик: «А ну, мертвые!», и колеса уже скрипят по гравию, неся их сквозь ласковую тень деревьев по подъездной дорожке к чугунным воротам, а потом все дальше и дальше. Каннинг достает из кармана «Философский трактат» и принимается за чтение, время от времени согласно кивая или с сомнением покачивая головой, если сталкивается с тонким или, напротив, противоречивым суждением. Джеймс, облокотясь, смотрит в окно. Из этого окна он в последний раз видел, как избивают Гаммера, как тот валяется на мостовой в Солсбери. Хорошо было бы снова его увидеть, узнать, что с ним сталось. Славной они были компанией в своем роде, да и дурачить такую прорву народа — дело забавное. Может, люди Каннинга его угробили или он висит, качаясь, на каком-нибудь перекрестке, закованный в цепи, — пожива для ворон. Кому на свете придет в голову оплакивать столь никчемного и хитрого человека?

В сумерках они уже проезжают мимо Кенсингтонского сада. Несмотря на вечернюю прохладу, Каннинг открывает окно, чтобы мальчик мог получше увидеть все вокруг, увидеть и услышать, ибо великолепные, освещенные фонарями площади, скачущие верхом военные, тачки, по-

возки и уличные торговцы создают любопытную городскую суматоху.

То тут, то там экипажи сталкиваются с портшезами. И тогда кучера и носильщики рычат друг на друга злобно и забавно, с поразительно чопорным видом обмениваясь лихо закрученными непристойностями. Между повозками петляют дети с огромными глазами и тоненькими ножками. Нищие тянут руки к окну их кареты, уворачиваясь от кучерского хлыста. Ветер доносит то запах гари, то помойную вонь, а иногда тонкий аромат, если мимо них проезжает карета светской дамы.

Вверх по Пикадилли, мимо Сент-Джеймсского дворца, плац-парада конной гвардии, по Стрэнду и Флит-стрит… Экипаж останавливается, лакей открывает дверь, Джеймс и Каннинг выходят. Поворачивают в узкий дворик налево, туда, где в глубине стоит освещенное фонарем здание. При их приближении пожилой человек в мантии и с жезлом в руке выходит навстречу.

— Добро пожаловать, мистер Каннинг, сэр. Почти все господа уже в сборе.

— Отлично, Лут. — Каннинг кладет монету ему в ладонь. — Ведите.

Они входят в здание, поднимаются по лестнице, шествуя мимо портретов президентов общества

и бывших его питомцев.

— Знаешь ли ты, кто это, Джеймс? — Каннинг остановился перед самым заметным портретом. Худое, скучное лицо человека, пребывающего, судя по виду, в сильнейшем раздражении. — Сэр Исаак Ньютон, Джеймс. В юности я имел честь быть с ним знакомым.

Лут подводит их к двери в глубине дома, над которой в золотых завитках красуется надпись: «Nullius in verba».[31] Он открывает дверь, и оттуда доносится подобный прибою шум голосов. Шум стихает, когда собравшиеся замечают Каннинга. Некоторые лица — включая Бентли — Джеймс помнит по предыдущей встрече у них в доме. Лут жезлом ударяет в пол и объявляет имена вошедших. Взяв Джеймса за руку, Каннинг поднимается с ним на специальное возвышение. Там стоит стол с бокалом и бутылкой. Каннинг спрашивает:

— Вы достали то, о чем я просил, Лут?

— Все здесь, сэр.

И он передает Каннингу небольшой кожаный саквояж. Похоже, новый. Быстро открыв его, Каннинг заглядывает внутрь, кивает. Часы бьют

---

[31] Примечания: 31
Ничего на слово *(лат.)*.

восемь. Снаружи по всему городу разносится звон. Рядом с Каннингом стоит Джеймс, глядя поверх голов в сад. Накрапывает дождь.

— Господа! Коллеги… Я прибыл сюда сегодня, как и обещал, с целью познакомить вас с последним обнаруженным мною чудом природы. Я говорю о мальчике, который — вполне невинно — выступал в балагане бродячего шарлатана. Негодяй использовал его для демонстрации действия обезболивания, и сия демонстрация была на редкость убедительной. Когда же я исследовал состав предлагаемой панацеи, то понял, что это сплошное надувательство. Однако же я собственными глазами видел, что присутствующий здесь юноша оказывался ни в коей мере не восприимчив к боли. Ежели это обстоятельство не было — а оно явно не было — результатом действия снадобья, то как объяснить сей феномен? На некоторых демонстрациях я присутствовал лично, на другие посылал своих агентов. Естественно, я заподозрил какое-то мошенничество, свойственную шулерам и фокусникам ловкость рук. Лишь когда я полностью убедился, что это не так, я спас ребенка из столь несчастного положения и предоставил ему защиту и кров в своем доме. Теперь мне бы хотелось, пользуясь благорасположением

присутствующих, произвести небольшой опыт, который, я уверен, убедит даже скептиков в том, что мы имеем дело с поразительным феноменом, достойным внимания глубокоуважаемых членов общества.

Из саквояжа Каннинг достает семидюймовую иглу. Она более похожа на медицинскую, чем та, которой предпочитал пользоваться Гаммер, но по всем остальным существенным параметрам такую же. Чтобы продемонстрировать ее остроту, Каннинг колет острием собственный большой палец. Потом поворачивается к Джеймсу. Мальчик протягивает ему руку ладонью кверху. Каннинг берет ее за пальцы, нацеливается и протыкает ладонь насквозь. Джеймс вопит. Каннинг с удивлением поднимает глаза. В зале тихо кто-то усмехается.

Каннинг говорит негромко:

— Мы не в балагане, сынок. Нам ничего продавать не надо. — Лицо у него уже отнюдь не ласковое, и отеческого в нем ничего не осталось. Каннинг обращается к собравшимся. Из-за его спины Джеймс смотрит на знакомого толстяка, который широко улыбается в ответ. — Следует объяснить, господа, что мальчику полагалось сперва имитировать боль, дабы убедить толпу

в том, что он обычный человек, человек чувствующий, такой же, как все зрители. Если мне будет позволено еще раз злоупотребить вашим вниманием, я повторю эксперимент.

И он повторяет. На этот раз мальчик никак не реагирует. Собравшиеся ахают в изумлении. Этот звук хорошо известен Джеймсу.

Каннинг сует руку в мешочек, извлекает оттуда клещи и, подняв их вверх, с любезным видом демонстрирует присутствующим. Затем с их помощью вырывает Джеймсу ноготь на большом пальце левой руки. Дело это требует от Каннинга столь значительных усилий, что над его верхней губой выступают капельки пота. Он поднимает клещи с зажатым между стальными зубьями ногтем. Раздаются аплодисменты. Некоторые джентльмены стоят. Каннинг перевязывает Джеймсу палец и гладит мальчика по голове.

— Желал бы я, господа, утверждать, что знаю, отчего этот мальчик, во всем остальном похожий на прочих мальчиков его возраста, не испытывает боли. Увы, я этого не знаю. Мне представляется, что, как все вы только что наблюдали, его способность страдать как бы заморожена, а мы ведь знаем, что лед, приложенный к больному месту, часто приносит облегчение. Возможно, в

данном случае определение «хладнокровный» оказывается не столь уж фигуральным. А если это действительно так — если его чувства так или иначе заморожены, — то сам собою напрашивается вопрос: как нам растопить этот лед и какова будет реакция ребенка, когда он впервые испытает боль?

Следующим выступает преподобный Джозеф Сипер. Он принес любопытную полевку из своего сада в Страуде. Всем не по себе. Господа потихоньку выходят из зала.

Далеко за полночь экипаж катит вверх по Чарльз-стрит на Гроувенор-сквер, где мистер Каннинг снимает небольшое, но роскошное жилище. Мистера Каннинга и Джеймса задержали почитатели, благородные члены общества, угощавшие их в верхних покоях гостиницы «Митра», что на Флит-стрит. Каннинга не раз просили повторить эксперимент, но он отказывался, утверждая, что это нанесет вред репутации общества. Тем временем Джеймс, оставленный без присмотра, обратил свой интерес к бутылочке вина. Ему было любопытно, какое действие оно возымеет и станет ли он разглагольствовать так же громко, как другие. Однако ничего, кроме смутного ощущения теплоты и оживления мыслей, им

отмечено не было. Не стоит оно таких больших денег.

Поднимаясь по лестнице в дом, Каннинг весь сияет. Что-то поет по-итальянски, здоровается с каждым слугой по имени, позволяя им целовать ему руку, словно епископу. В комнате, уставленной хрустальными шарами, он перевязывает Джеймсу палец. Рана от иглы уже начала затягиваться.

Слуга отводит мальчика в комнату на втором этаже. Когда он уходит, Джеймс садится у окна и смотрит через сад на площадь. Несмотря на столь поздний час, там все еще ходят люди и разъезжают взад-вперед экипажи. Появляется городская стража: «Пробило час. Все спокойно!» Какой-то парень в драной одежде, точно таракан, несется что есть сил через площадь. Употребив по назначению ночной горшок, Джеймс ложится спать.

Когда он просыпается, за окном все еще темно, до утра далеко. У него так пересохло во рту и в горле, что кажется, будто внутри все устлано сухой тканью. Сколько он проспал — неизвестно. Джеймс вылезает из постели. Рядом стоит свеча, только вот зажечь ее нечем. Он ощупью выбирается из комнаты. В коридоре темно, и лишь из-под какой-то полуоткрытой двери виднеется

изогнутая аркой полоска света. Он тихонько подходит к ней и слышит доносящееся из комнаты приглушенное пение. Джеймс заглядывает внутрь. У него прекрасное зрение. В спальне у камина сидит нагой мистер Каннинг и читает «Сент-Джеймс кроникл». Газета шуршит, Каннинг переворачивает страницу и вдруг, словно утомившись, складывает ее пополам и роняет рядом с собою на пол. Поначалу мальчику кажется, будто это игра света и тени. У Каннинга, несмотря на заметный между ног мужской признак, ясно очерченные груди. Не сказать, что большие и полные, не сказать, что красивые, но несомненно груди. Легкое движение выдает присутствие Джеймса, Каннинг смотрит в его сторону — глаза на окаменевшем лице пронзают мальчика как стрелы, — но, разглядев, кто это, Каннинг улыбается, словно говоря: «А ты разве не догадывался? Ну конечно, догадывался».

9

В середине июля разразилась буря с градом, градины падали огромные, с голубиное яйцо, такие могли свалить и даже убить овцу. Целую неделю люди говорили о недобром предзнаменовании, но потом за уборкой урожая все как-то позабылось. Мистер Коллинз в летнем камзоле распахивает окна библиотеки. В дом пробивают себе дорогу жирные мухи и носятся среди книг. Джеймс то читает, то дремлет. Дважды ездил он с Каннингом в Лондон и лишился еще двух ногтей. Ничего более от него не требуется. Близнецы все болеют: рвота в мае, лихорадка в июне. Когда в августе они впервые за много недель выходят на свежий воздух, опираясь на руку Молины, из окон библиотеки кажется, что на прогулку отправились две старухи с любимым племянником.

Летняя пора делает свое дело, и девочки обретают пусть хрупкую, но все-таки живость. Вскоре требуется и присутствие Джеймса, чтобы сопровождать их в походах за полевыми цветами. Иногда к ним присоединяется Молина и делает наброски всех троих. Некоторые он пишет маслом: две девочки и мальчик сидят под деревом,

утомленные отупляющим солнечным жаром. Из всех портретов Джеймса Дайера — чудесного мальчика, модного врача — следовало бы предпочесть те, что созданы кистью Молины, хотя это не более чем наброски в красках — причем красках, положенных раскованной рукой, — лишенные мелких деталей. Трагедия девочек заметна сразу, а мальчик сидит, прислонившись к дереву с таким же безмятежно-непоколебимым выражением лица, как у статуй мистера Каннинга. Это лицо убийцы младенцев, короля-идиота. Глядя на него, даже случайному зрителю становится не по себе. Ибо перед ним тайна.

Что же в конце концов заставляет Джеймса пойти? Почему именно в тот, а не другой день? Он словно зажат между влажными зубцами какого-то огромного механизма. Он не понимает, что это. Ему чудится свет, будто от сенной пыли першит в горле. В его снах беспорядочно снуют собаки. На прошлой неделе он час рассматривал расчлененные женские половые органы в анатомическом атласе, изучая их, точно карту страны, в которой ему вскоре предстоит побывать. В это утро он просыпается, набрасывает халат и идет прямо к близнецам, как будто получив от них послание, приглашение, тонкой ниточкой проникшее из

их комнаты к нему в спальню.

Он находит их еще в постели. Они сидят и очищают от скорлупы вареные яйца. До их дня рождения осталась неделя, до его — две. У каждой на шее жемчужное ожерелье, подарок мистера Каннинга. Девочки улыбаются, и их улыбки пересекаются на том месте, где стоит Джеймс. Они откладывают яйца, так до конца и не очистив. Анн откидывает покрывало. Джеймс забирается в постель, ложится на спину и смотрит на полог кровати.

Позже он вспоминает, как много было хихиканья, как много они, оказывается, знали. Годы спустя в Бате, когда он едет в открытой коляске с сидящими напротив двумя молодыми дамами, прижавшимися друг к другу, Джеймс осознает, что познания близнецов могли быть лишь результатом приобретенного опыта. С кем? С Каннингом? С Молиной? Были ли они любовницами Молины?

После хихиканья наступает странная сосредоточенная тишина. Долгие минуты напряженной физической работы. Сросшиеся, они испытывают наслаждение вместе. Стоит погладить одну грудь, как вздыхают обе. Сколько все это длится? Достаточно долго, чтобы ему наскучить. Девочки

дышат тяжело, точно какие-то инвалиды, они то нашептывают ласковые слова, то журят его, то вдруг впадают в неистовство. Он продолжает, желая получить нужный опыт, закончить все как полагается. Через полчаса у Анны разрывается жемчужная нитка, и теплый жемчуг, как ртуть, бежит по их телам в складки простыни. Девочки вскрикивают, встают на колени, начинают собирать жемчужины и складывать себе в рот. Некоторое время Джеймс наблюдает, как они копошатся в постели с набитыми жемчугом ртами. Потом надевает халат и возвращается к себе в комнату.

Следующий день. Рассвет еще не наступил. У Джеймса на краю кровати сидит толстяк и держит в руке свечу. От него пахнет дождем и бренди.

— Как поживает мой чудесный мальчик?

Он протягивает холодную руку и дотрагивается до щеки Джеймса.

— Сегодня? — спрашивает Джеймс. — Я о близнецах. Вы сделаете это сегодня?

— Да, сегодня.

— Мне позволят смотреть?

— Конечно, смотри.

— Они умрут?

— Если да, тебе-то что за дело? Вот кого я бы с удовольствием распотрошил. Готов биться об заклад, у тебя внутри спрятана тайна. Что скажешь, приятель, может, начнем с тебя? Вот уж кто будет лежать смирно. И не пикнет.

Открывается дверь, и в комнату заглядывает мистер Каннинг:

— Бентли?

— Да, Каннинг. Иду.

Они удаляются.

Мальчик лежит в постели, но не спит.

10

Он входит в домашнюю операционную мистера Каннинга через высокую дверь в конце комнаты, ведущую прямо к скамьям на балконе над операционным столом. С ним вместе идет и Молина, зажав под мышкой принадлежности для рисования. Каннинг попросил его запечатлеть все стадии происходящего. Молина выглядит больным, изо рта у него неприятно пахнет. Когда он берется за уголь, руки начинают дрожать.

На Каннинге атласный камзол, белый, расшитый серебряными розами, словно он явился на собственную свадьбу. Рядом уже заняли места господа из научного общества. Они взволнованно и, пожалуй, чересчур громко переговариваются. С неба ровной полосой льется дневной свет, а вокруг стола, пустого деревянного стола, похожего на кухонный, с деревянными подставками для голов девочек, стоят три высоких канделябра, к ним приставлен слуга со щипцами, чтобы снимать нагар. К столу аккуратно придвинуты ящики с опилками.

Открывается нижняя дверь, и входит квартет музыкантов. Они садятся, шелестят нотными

листами и придирчиво рассматривают свои инструменты, словно давно их не видели. Играют на пробу несколько нот и замолкают. Далее появляется мистер Бентли со своим ассистентом мистером Гэмптоном и ассистентом мистера Гэмптона швейцаром Лутом, который несет большой поднос, покрытый салфеткой. Господа, сидящие на скамьях, аплодируют. В нужный момент хирурги изящно кланяются. Засим мистер Бентли отходит, направляется к двери, открывает ее и вводит близнецов в операционную залу. Снова аплодисменты. На девочках надето подобие женской сорочки, разрезанной до середины и перевязанной лентами. Аплодисменты становятся все громче. Мистер Каннинг встает, следом за ним встают и остальные. Молина начинает быстро рисовать — уголь скрипит по бумаге. Рисуя, он словно пытается что-то скрыть.

Близнецы смотрят на балкон, скамьи, мужчин в напудренных париках, свежих рубашках, красивых камзолах, склонившихся к ним с любезными улыбками; среди них нет почти ни одного, по чьему лицу не водил бы сегодня парикмахер Каннинга своею бритвою. Близнецы ошеломленно жмурятся. Их одурманили, а может, и напоили. Когда их взгляды останавливаются на Джеймсе,

они, кажется, даже его не узнают. На плече у Анны лежит рука Бентли. Между девочками и дверью остановился Лут, словно для того, чтобы загородить им дорогу, вздумай они убежать. Господа вновь усаживаются на свои места, и Каннинг делает знак рукой. Бентли, кивнув, подводит девочек к столу, помогает забраться и укладывает их головы на деревянные подставки. Лут, точно фокусник, вынимает из кулака два платка и покрывает каждой лицо. Платки начинают учащенно вздыматься и опускаться. С подноса снимают салфетку, там, под ней, сверкают хирургические ножи. Бентли и Гэмптон внимательно их рассматривают, как будто решают, не купить ли. Лут что-то шепчет на ухо музыканту, после чего скрипач слегка топает ногой, и зала наполняется изысканной увертюрой из какой-то модной в городе оперы. Хирурги берут в руки инструменты. Ленты на сорочках развязаны. Обхватив бедра девочек, Бентли намечает место и вонзает нож. Тела подпрыгивают. Лут и Гэмптон наваливаются и прижимают их к столу. В зале неожиданно становится жарко. Девочки не кричат, пока Бентли не делает четвертый разрез. Молина со стоном отворачивается. Джеймс подается вперед. Их крик длится около

минуты, потом вдруг вырывается фонтан крови, она льется красным потоком, омывая стол. Лут бьет ногой по ящику, чтобы придвинуть его и поймать кровь, но бьет слишком сильно, и кровь хлещет мимо. Гэмптон пытается собрать сосуды, разрезанные Бентли. Найдя один, зажимает его и начинает связывать, но кровотечение не утихает. Музыканты не слышат друг друга — каждый играет, что помнит. У Бентли из рук выскальзывает нож и со звоном падает на пол. Изрыгая проклятия, он хватает с подноса другой. Его фартук весь пропитался кровью. Обернувшись, Джеймс видит, как Молину, согнувшегося в три погибели и пепельно-серого, рвет на собственные ботинки.

Платки на лицах девочек теперь уже почти не шевелятся. Яростно орудует Гэмптон; парик съехал ему на правый глаз, и после того, как он отпихивает его назад, там остается алое пятно. Бентли отступает на шаг от стола, машет слуге, чтобы тот поднес рюмку. Слуга осторожно наливает бренди, но все равно несколько капель проливается мимо. Рюмку подают на маленьком подносе. Осушив ее, Бентли вновь берется за работу. Близнецов связывает теперь лишь небольшой участок ткани у плеча. Он наклоняется, повернув к зрителям свою широкую спину, и разделяет их.

Гэмптон не поспевает за ним. Он кричит Луту что-то невразумительное. Новый поток крови, на этот раз пойманный в ящик. Бентли указывает Гэмптону на разрезанный сосуд: «Держи его, дружище, держи!»

Гобоист покинул залу. Скрипач и флейтист все еще играют — каждый свое, как во сне. Платки более не шевелятся. Бентли кладет нож, ищет глазами тряпку, чтобы вытереть руки, и, не найдя, снимает платок с лица Анн. Лицо девочки повернуто к сестре, рот и глаза раскрыты. Ни малейших признаков жизни. Молина исчез. Взяв бумагу и уголь, Джеймс начинает рисовать. Гэмптон, плача, все еще возится с какой-то артерией. И говорит, словно обращаясь к девочкам: «Все кончено, кончено! Как, черт возьми, быстро!» Каннинг встает и тихо произносит: «Благодарю вас, Бентли. Не сомневаюсь, вы сделали все, что могли». И выходит, словно французский король в сопровождении придворных. Бентли безнадежно машет рукой. Когда он вновь поднимает глаза и смотрит вверх, на скамьи, он видит лишь Джеймса, заканчивающего набросок.

Вечером, раздевшись до пояса, чтобы умыться, Джеймс обнаруживает приставшие к коже маленькие кусочки яичной скорлупы. Их на

удивление трудно отодрать.

Музыканты-кастраты остаются, чтобы играть в часовне на панихиде по девочкам. Минут десять убитый горем мистер Каннинг, сидя на церковной скамье, обливается слезами, потом берет себя в руки, и вот он уже снова такой, как прежде. Во время поминок он прогуливается по галерее под руку с мистером Бентли.

Девочек хоронят в отдельных гробах на домашнем кладбище поместья. На краю могилы стоит Джеймс и смотрит, как гробы опускают один на другой. На мгновение он задумывается, который чей и кто сверху — Анн или Анна. Понять это невозможно. Погода для сентября стоит чересчур холодная; господа уходят, как только брошены первые комья земли.

Лишь на следующей неделе Джеймс видит Молину — он наткнулся на художника, когда тот мочился в одну из амфор мистера Каннинга. Молина пьян, но не слишком.

— Что ж, мой друг, все на свете кончается. Ты, я, Каннинг. Даже этот прекрасный дом когда-нибудь обратится в прах. Что до меня, то я предпочитаю, чтоб мои кости упокоились в цивилизованной стране. Английская жестокость слишком похожа на английские игры. Я этого не

разумею. Я отправляюсь домой. Прощай, Джеймс. Уходи отсюда.

— Однажды ты говорил, — произносит Джеймс, — что покажешь мне лунного мальчика.

Молина оглядывается по сторонам, ничего не понимая, хмурит лоб, потом, вспомнив, смеется:

— Хочешь посмотреть?

Джеймс кивает.

— Bueno, vamos…[32]

Через необъятные залы, мимо золоченых зеркал, гобеленов, заморских идолов, мимо огромных картин, изысканной мебели… А теперь вверх по лестнице, по коридорам, мимо неожиданно возникающих окон, спешащих куда-то слуг, слыша далекий звук закрывающейся двери.

— Сюда, — говорит Молина. — В эту комнату.

Оглянувшись, Джеймс видит коридор, и тут ему кажется, что он сбился с пути. Ему померещилось, будто это его дверь. Неожиданно он понимает, что так оно и есть. Молина открывает дверь:

— Входи, Джеймс, не стесняйся.

Художник довольно грубо берет мальчика за руку и тащит в комнату прямо к зеркалу.

---

[32] Примечания: 32
Хорошо, пойдем *(исп.)*.

— Вы встречались? — Молина пятится к выходу. — Adiós,[33] друг мой. Это опасное место. Peligroso.[34] Даже для такого, как ты.

Джеймс смотрит. Смотрит и лунный мальчик. За окном идет красивый голубой дождь. Слуга с ведром направляется к домику у озера.

---

[33] Примечания: 33
Прощай *(исп.)*.

[34] Примечания: 34
Опасное *(исп.)*.

11

Мальчик, изрядно вытянувшийся за двенадцать месяцев, выходит из леса с блестящим шаром гриба-дождевика, словно неся голову сраженного великана-людоеда. Позади ковыляет собака, серая трехногая дворняга. В своем роде они товарищи — собака ластится ко всем без разбору, а мальчик не противится постоянному присутствию этой хромоногой тени. Иногда он кидает ей палку, забавляясь ее уморительным скоком, ее энтузиазмом. Собака требуется ему и для других целей. Она появилась в доме прошлой весной с оторванным левым ухом, болтавшимся на куске алой плоти. Пока мистер Коллинз держал пса, Джеймс иголкой с ниткой пришил ухо на место, не очень-то прямо, но аккуратно. Это был его первый пациент. Когда же у собаки больше не осталось ран, Джеймс стал наносить их самолично ножом или палкой, так что собака, бегущая сейчас мимо него к стриженым кустам итальянского сада, покрыта дюжиной швов — багровых и бледных, но с каждым разом наложенных все более искусной рукой.

Мальчик идет за ней в сад, теряет ее из виду

среди подстриженных зеленых стен, слышит, как беспокойный лай звучит все громче и громче и вдруг резко обрывается. Джеймс зовет ее, но собака не появляется. Джеймс входит в сад, видит тачку садовника, наполовину заполненную срезанными ветками, но и тут нет ни садовника, ни собаки, хотя тройной след, как от зубьев вил, тянется по траве. Поблескивают листочки живой изгороди. Вдруг вверх взмывает стайка птиц и улетает в сторону леса. Кто-то поет, тихонько, с хрипотцой, быть может, слуга, обращаясь к своей милашке. И вдруг из середины вечнозеленого глобуса раздается чей-то голос, который зовет мальчика по имени:

— Джеймс! Сюда!

В глобус можно пролезть, если нырнуть в него с южного полюса. Джеймс забирается внутрь. Рядом с собачьим телом, весьма довольный собой, сидит Гаммер.

Джеймс молчит. Он глядит на него так, словно плавает в банке с каким-нибудь сохраняющим плоть раствором. Гаммер и вправду неплохо сохранился, хотя из ноздрей торчат седые волоски, зубы стали темнее, а кожа на шее более дряблой. Джеймсу кажется, что он видел во сне эту встречу в зеленом и влажном полумраке сада, видел

все, вплоть до мелочей, таких как, к примеру, пистолет с широким и коротким стволом, наставленный как бы невзначай ему в живот.

— Когда мы уходим?

— Хорошо сказано, парень! Как только пожелаешь. Могу ли я рассчитывать, что ты захватишь из дома свои пожитки? Думаю, могу. А коли случится так, что ты приберешь и немного серебра мистера Каннинга, то это будет всего лишь компенсацией, платой, которая принадлежит мне по праву. Слишком уж хлопотливое дело — заставить негодяя отвечать перед законом. Ибо ты был моею собственностью, приятель, а этот ублюдок тебя украл. А еще немного сыра, раз уж об этом зашла речь, и мяса, и бутылочку хорошего вина. Я буду здесь, на этом самом месте, чтобы видеть, как ты входишь в дом и выходишь. Попробуешь выкинуть фокус — и отправишься вслед за этим бедным Цербером. — Он ласково похлопал собачий труп. — Компрене-ву? Черт, как я все-таки рад тебя видеть, парень.

Джеймс входит в дом, некоторое время раздумывает, а не поведать ли слугам о присутствии Гаммера, потом быстро укладывает свою лучшую одежду. Идет в библиотеку, берет те любимые книги, которые легче достать с полки. Из одной

галереи забирает четыре серебряные табакерки, а из кухни, где, вытянув к очагу ноги, храпит повар, парочку холодных жареных голубей и полбутылки недопитого поваром джина.

Уехать совсем нетрудно. Джеймс сидит на лошади позади Гаммера, они направляются на юг, и между ними болтается перекинутый через лошадиную спину мешок Джеймса. Там, где можно, они стараются держаться подальше от больших дорог и деревень. Временами какой-нибудь деревенский житель с мотыгой на плече или собирающая ягоды девочка глянут на них с вопросом, но большую часть пути они едут одни, и их замечают только коровы, овцы и лесные зверьки, которых привлекает их ночной костер.

На третий день пути они взбираются по дорожке, петляющей среди живых изгородей, покрытых голубыми плодами. Морские птицы парят над головами, а в сотне ярдов от гребня холма мир обрывается и соленый ветер срывает с Гаммера шляпу и, лениво покачивая, несет ее к морю.

Они плывут из Саутгемптона на пароме и в час, когда сумерки сгущаются до полной темноты, различают впереди очертания Портсмута. На воде светлее, чем на суше. Даже в Бристоле не видел Джеймс такого множества кораблей в пор-

ту — их столько, что сразу и не сочтешь. Среди больших кораблей полным-полно маленьких суденышек — лодки-гуари, четырехвесельные ялики, гички — они снуют туда и сюда, и голоса матросов разносятся по воде столь же отчетливо, сколь и крики морских птиц. Джеймс с Гаммером въезжают в город. По качающейся походке легко признать моряков, отпущенных на берег, — они в драных куртках, их говор подобен звериному рыку. Рядом с ними, вцепившись в рукав, тащатся нечесаные шлюхи и орут ничуть не тише своих дружков. Гаммер и мальчик проезжают под фонарями постоялого двора, где вербуют новобранцев. Из верхних окон свешивается белый с красным крестом флаг, огромный, точно парус. Какие-то люди в форме со смуглыми лицами и пронзительным оценивающим взглядом смотрят на проезжающих. Один кричит им: «Эй, парни!..», но Гаммер сжимает пятками бока лошади и щелкает языком, чтобы та бежала быстрее.

Дом расположен в стороне от центральных улиц, и лошадь идет осторожно по тропке среди мусорных куч. В темноте мимо них проносятся чьи-то тени.

— Вот и наш дом, приятель. Покамест. Иди поздоровайся со своей мачехой.

Дом, судя по неясным очертаниям, скорее похож на дворовую постройку фермы, да, наверное, и был таковой, пока ферму эту не поглотил город. Внутри, однако, ощущается примитивная обустроенность. В очаге потрескивает огонь, на стенах картинки, в кухонном шкафу посуда, даже две герани стоят на занавешенных окнах, а над ними большой, злобного вида попугай нетерпеливо раскачивается на своем насесте.

У порога со свечой в руке, покрыв голову шалью, стоит Грейс Бойлан. Она смотрит на мальчика, потом тянется вперед, пытаясь нащупать стоящего у него за плечом Гаммера, чтобы взять того за руку и повести в теплый дом. Она усаживает Гаммера на стул, быстро готовит напиток из свернувшегося молока и эля и, пока он пьет, гладит его, воркуя, по щеке, всей своей тушей примостившись у него на коленях. Со вздохом Гаммер опорожняет стакан и произносит с довольным видом:

— Говорил же я, что разыщу его. Погляди-ка, как вытянулся. Право слово, кормили его неплохо. — Тут он сталкивает женщину с колен, подмигивает и встает. — Но перво-наперво следует исполнить главное.

С завидным проворством он бросается к маль-

чику и дает ему затрещину сбоку по голове. Мальчик покачивается, и Грейс бьет его еще раз, потом, выждав подходящий момент, изо всех сил еще раз. Джеймс падает. Его начинают пинать ногами.

— Голову не тронь! — кричит Гаммер. — Не тронь голову!

Они предаются этому занятию минут пять, затем плюхаются на стулья, тяжко и хрипло дыша. Бойлан, похоже, совсем измоталась, словно избивали ее, а не Джеймса, но зато теперь имеет вид вполне умиротворенный и на душе у нее благодать и спокойствие.

Джеймс валяется на полу. Нельзя сказать, что ему плохо, только никак не вздохнуть. Потолок пульсирует вместе с телесной оболочкой. Комната исчезает в темноте. Он видит, как Гаммер снимает башмаки и греет над углями ноги.

— Завтра, Грейси, мы с тобой повеселимся на славу. Выпьем весь этот городишко до дна! Что скажешь?

Попугай, словно падший ангел, слетает с насеста и усаживается на спинку Гаммерова кресла. «Голову не тронь! — кричит он. — Не тронь голову!»

Когда Джеймс просыпается, он обнаруживает,

что лежит в кровати одетый. Напротив маленькое окошко. Из-за крыши противоположного дома сочится начало серого дня. Мальчик садится, снимает рубашку и разглядывает кровоподтеки на груди. Впечатляюще. Соскользнув с кровати, идет к окну. Нет ни парка, ни лабиринта из стриженых кустов, ни лиловеющего леса. Внизу на улице видна выложенная булыжником сточная канава, маленькая девочка, одной рукой обхватив шею собаки, сидит на корточках и смотрит на золотистую струю, льющуюся из нее и петляющую в трещинах каменной кладки. Какой-то человек высунулся из окна, трет лицо и смотрит вверх на небо — какая-то будет погода?

В изножии кровати сверток. Джеймс садится и кладет его себе на колени. Старая одежда, по большей части уже негодная, слишком маленькая и слишком рваная. Он бросает ее на пол. Под нею — ящик, поцарапанный, кое-где с выщерблинами; Джеймс открывает крышку. Венера катается по дну, как стеклянный шарик из детской игры, на Солнце какие-то зазубрины, Луна, точно пьяная, отшатнулась прочь от Земли.

Джеймс берется за работу — терпеливо восстанавливает свою Вселенную.

Для стороннего городского наблюдателя эти

трое — семья. Гаммер намекает на это где надо; даже Грейс, судя по всему, свыклась со своей ролью, и, когда в пивнушке «Якорь» сводник Израэль Ингланд отмечает у мальчика фамильное сходство — отцовские руки, материнский нос, — она поворачивается к Джеймсу и запечатлевает на его щеке поцелуй, пропахший устрицами и портером.

От «Якоря» к «Возвращению моряка», оттуда к «Черной кобыле», потом к «Королеве Анне», «Звезде», «Белой лошади», «Виноградной лозе», снова к «Белой лошади»; потом, громко разговаривая и балагуря, к «Омаровой похлебке». Гаммер разбивает себе лоб о притолоку, но в этот момент он столь же нечувствителен к боли, как и идущий за ним мальчик, юноша, молодой мужчина.

Промокнув потное лицо носовым платком, Грейс заказывает джин с горячей водой. Они пьют так, словно уже давненько не напивались. И лишь один Джеймс видит, что происходит вокруг, видит, как их собутыльники ладонью, точно картами, прикрывают себе рот, слышит тихий заговорщический шепот, чувствует, не вполне разумея, что к чему, присутствие какой-то опасности. Если он сейчас скажет об этом, спасет ли он их? И надо ли ему это? Он поглядывает на

Гаммера. Он не испытывал неприязни, встретившись с ним в кустах сада, — лукавая улыбка, быстрый веселый взгляд. Но Гаммер успел измениться или это он сам изменился? Что нравилось ему раньше в Гаммере? Что тот понимал, какой он, когда другие не понимали или по крайней мере притворялись, будто не понимают. В Гаммере была доброжелательность, пускай малая толика, теперь вся израсходованная. «Пей до дна, Грейси!» — восклицает Гаммер. Человек в белых парусиновых брюках, с руками, покрытыми синей паутиной татуировок, направляется к двери и, проходя мимо мальчика, долгим взглядом смотрит на него через плечо. Ответить на этот взгляд — значит стать сообщником. Джеймс отвечает. И не говорит ни слова.

Остальные допивают, что осталось в кружках, и, спотыкаясь, выходят на улицу. Темно. Гаммер танцует, раскованно и свободно, потом, упершись в плечо мальчика, кричит: «Тебе этого никогда не понять! — Он размахивает руками, обнимая ночь. — Мне жаль тебя. Жаль. Бог мой!» Он с грохотом валится на колени. Грейс поднимает его и подтягивает к себе на спину, складывая руки вокруг своей шеи. Его голова склонилась к ней на плечо, а носки башмаков волочатся по земле.

Джеймс оглядывается — где тот моряк? Кажется, он видит его в тени обитой досками лавки шипчандлера и с ним вместе кого-то еще.

Теперь домой. Джеймс замыкает шествие. Гаммер безмятежно посапывает на женской спине. Выглядывает луна и озаряет улицы черным блеском. Где-то позади за ними идут те двое. У двери дома Джеймс оборачивается, но улица пуста. «Помоги мне», — велит Грейс.

Джеймс берет Гаммера за ноги. Темная и узкая лестница. С пятого раза Грейс удается зажечь свечу. С полуоткрытым ртом Гаммер лежит на кровати, и между неплотно сомкнутыми веками виднеется белая полоска. Грейс щиплет его за щеку. Он просыпается, садится и принимается петь: «Неси сабинского вина в бутылке лет шести…» Вновь падает и с улыбкой на лице погружается в глубокий сон. «Запри дверь», — обращается к Джеймсу Грейс.

Мальчик спускается вниз. Огонь в очаге еще теплится. Он берет с полки огарок свечи и зажигает его от тлеющих углей. Открывает входную дверь — щель дюйма два — и поднимается наверх собрать свои вещи. Заворачивает планетарий в бархатную куртку и укладывает его на дно мешка, затем вместе с мешком идет вниз и садится

ждать у огня. Ждать приходится не долго. Слышится шорох, как будто собака рыщет в помойке. Мальчик подходит к двери. Там, улыбаясь, стоит матрос с короткой налитой свинцом дубинкой. Он подносит палец к губам. Джеймс показывает наверх.

Огромному китайцу, тому, что стоит позади него, матрос говорит:

— Оставайся здесь, Линь-Линь. Присматривай за нашим новым другом. Уоррен, Киннир, за мной.

Они поднимаются по лестнице, и Джеймс видит, что они босиком. Китаец складывает в карман попавшие под руку вещи. На воровство это совсем не похоже. Джеймс, который отдал Гаммеру только три табакерки Каннинга, протягивает четвертую Линь-Линю. Китаец принимает подарок, проводит пальцем по крышке и говорит:

— Меня называют Линь-Линь, как звенит колокольчик. Вообще-то мое имя Истер Смит. А раньше звали Ли Чан Ву.

Наверху слышен мощный глухой удар, будто кто-то поднял кровать и швырнул ее об пол. Один из матросов, не то Уоррен, не то Киннир, катится по лестнице, выплевывая выбитые зубы. «Убивают! Убивают!» — вопит Грейс Бойлан.

Линь-Линь бежит наверх. Удары, брань, грохот, словно разбился какой-то большой и пустой сосуд. Вдруг тишина, потом по лестнице спускаются Линь-Линь с Гаммером на руках, за ними другие матросы, а следом на карачках Грейс Бойлан.

— Пощадите! — взывает она, громко всхлипывая. — Неужто не видите, что он больной! Больной! Страшная заразная болезнь. Его несет чем-то зеленым. К понедельнику вы все помрете.

— Знаю я эту болезнь, мамаша, — отвечает парень с татуировкой. — Свежий морской воздух его живо на ноги поставит. Снимаемся с якоря, ребята!

Грейс пятится назад, парень бьет ее дубинкой, потом еще и еще. Бог троицу любит.

Затем они выходят друг за дружкой в ночной город. От них шарахаются прохожие, какая-то старуха трясет им вслед кулаком. Налево, опять налево; Гаммер, повиснув на руках у Линь-Линя, точно кукла, едва перебирает ногами, он что-то бормочет, но не сопротивляется. Компания выходит к докам. У швартовой тумбы стоит человек в синем кафтане, с кортиком на боку и смотрит на них.

— Что-нибудь подходящее, Хаббард?

— Парочка сухопутных, сэр. Мальчишка сам

захотел.

Офицер всматривается в лицо Джеймса:

— Ты волонтер?

— Да.

Достав из кармана монету, офицер протягивает ее мальчику.

— Добро пожаловать во флот его величества короля Георга. Отправить их на борт на посыльном судне. Пусть мистер Теддер запишет этого волонтером. Шевелись!

Они плывут. Весла скрипят в уключинах. Матросы говорят на своем морском языке. С других кораблей слышатся окрики: «Эй, там! Вы кто такие?»

— Мы с «Аквилона»!

Какие высокие у кораблей деревянные борта! На некоторых военных кораблях видны пушки, сквозь порты льется свет, слышны музыка и шум голосов. Гаммер, свернувшись клубком, трясется на дне лодки. Джеймс поставил на него ноги и сидит, прижимая к груди мешок и ощущая на губах соленый морской ветерок. С корабля далеко-далеко светит фонарь, кто-то кричит: «Эй, на лодке!», и Линь-Линь, он же Истер Смит и Ли Чан Ву, налегая на весла, шепчет: «Теперь это твой дом».

12

Его преподобие Дэвид Фишер
его преподобию Джулиусу Лестрейду
Кингсвер, января в 10-й день 1773 года

Милостивый государь!

Господин Буллер, служащий в Адмиралтействе, сообщил мне, что вы желали бы почерпнуть некоторые сведения о морской карьере Джеймса Дайера, который, насколько я могу судить, являлся вашим ближайшим другом. Будучи осведомленным о том, что я пребывал на «Аквилоне» капелланом в течение 1750-х годов, господин Буллер предложил мне поделиться с вами некоторыми воспоминаниями, что — полагаясь на вашу снисходительность ввиду возможных неточностей, проистекающих по причине двадцатилетней давности описываемых событий, — я сейчас и намереваюсь исполнить. Я также могу сообщить вам имена других членов экипажа «Аквилона», в частности господина Манроу, чей прежний адрес в Бате, полагаю, до сих пор у меня имеется, и Вы могли бы разыскать его там.

Дабы обозначить собственное место в этой истории, позвольте лишь сообщить вам, что я ступил на борт «Аквилона» весной 1753 года после окончания университета. Годом ранее я еще был студентом Нью-Колледжа в Оксфорде и рассчитывал жить впоследствии у моря, но, поскольку этот жребий выпал другому, я не пожелал брать какой-нибудь бедный приход, а потому обратился к дядюшке, бывшему в то время капитаном «Яростного», с просьбой подыскать мне подобающее место.

О море, равно как и о жизни на военном судне, я знал так же мало, как и любой англичанин, и если бы я мог вообразить, какие трудности, тоска и неудобства меня ожидают, то едва ли ступил бы на корабельный трап и, таким образом, никогда бы не пережил тех приключений молодости, о коих мне так нравится теперь повествовать, к вящему раздражению моей супруги — госпожи Нэнси Фишер, урожденной Арботт, из эксетерских Арботтов, — вам, возможно, известно это семейство, — но с годами человеку нравится оглядываться назад, воскрешая в памяти те времена, когда он находился среди тех, кто жил деятельною жизнью, а не черпал знания о мире единственно из газет.

Возвращаясь к предмету моего повествования: я ушел в плавание с капитаном Рейнольдсом, о нраве которого я вскоре расскажу подробнее, сперва к Гибралтару, потом в порт Маон, оттуда к острову Сент-Люсия в Вест-Индии, где у меня началась рвота «кофейной гущей», и, если бы не старания господина Манроу, полагаю, я бы закончил свои дни на том нездоровом берегу, как это и произошло с несколькими десятками матросов.

Мы вернулись в Портсмут летом 1754 года, где я покинул корабль в надежде попытать счастия на terra firma,[35] но, не особенно преуспев, я опять отправился на судно капитана Рейнольдса и едва успел вновь занять свой пост, как сразу увидел Джеймса Дайера, вернее сказать, познакомился с ним, ибо на борту появились новички. Не могу, однако, припомнить, каков он был тогда, как не могу припомнить и всех прочих, в памяти остался разве что парень по имени Дэбб, который сошел с ума, перемахнул через гакаборт, и более его не видели. Как вам известно, сэр, флот вынужден обеспечивать себя сам, как это ни грустно и даже чудовищно, силой вербуя людей, а потому никогда не приходилось вам видеть

---

[35] Примечания: 35
Твердая земля, суша *(лат.).*

такого откровенного страдания, как на лицах несчастных, впервые привезенных на борт и оказавшихся в мире, для них столь же неведомом, как луна. Ежели, ваше преподобие, вам ни разу не выпала честь ступать на палубу корабля его величества, боюсь, вам будет трудно понять тот мир, с коим столкнулся ваш друг. Сами моряки — своим обличьем, разговором и нравом — совсем не похожи на их сухопутных сородичей. Ваш слух постоянно одолевают разговоры о вантах, фалах, брам-стеньгах, рангоуте, кабестанах и один Господь знает, о чем еще. Но, сударь, мир этот также и очень хорош: он столь необычен и столь ревностно оберегает свои традиции — кто может подобающим образом пройти по шканцам, а кто нет; кто считается джентльменом, а кто нет, — что нет ничего проще, чем ненароком обидеть этих людей.

Я, конечно, был «бездельником», как и школьный учитель — ибо на борту всегда было несколько детей, — как и начальник интендантской службы, плотник, корабельный врач со своими помощниками, сиречь все те, кому не приходилось нести вахту. В этом для нас заключался целый ряд преимуществ, а одно из самых важных я усматриваю в том, что мы могли почти

при любых обстоятельствах наслаждаться беспрерывным сном в течение ночи, тогда как ни один матрос не спит более четырех часов кряду и даже это недолгое время зависит от капризов погоды. Таковая участь ожидала бы и вашего друга — быть зажатым в зловонных помещениях между палубами на подвесной койке, болтающейся рядом с койками его чумазых товарищей, когда кругом слишком жарко или слишком холодно, когда вашей жизнью управляет свисток, проклятия и хлыст — ибо приказ боцмана или его помощников почти всегда сопровождался битьем, хоть корабль наш по строгости дисциплины и считался умеренным.

Боюсь, сударь, вам уже не терпится узнать, когда же я впервые обратил внимание на Джеймса Дайера. Сидя сейчас за письменным столом, я и сам задавался этим вопросом, но лишь минуты две назад память наградила меня желанным воспоминанием, словно сохраненным в кусочке янтаря.

Мы находились в Бискайском заливе, и я, как водится, прогуливался с учителем, господином Шаттом, когда он указал мне на Дайера, присовокупив при этом, что господин Дрейк — очень милый офицер, немного староватый для гарде-

марина, — отметил хладнокровие этого юноши и рассказал, как он, не сгибаясь, ходил по реям, точно занимался этим делом лет двадцать. Я посмотрел, куда указывал господин Шатт, и увидел молодого человека четырнадцати или пятнадцати лет, одетого в холщовую робу и мешковатые брюки, статного, красивого, но с довольно мрачным лицом и, если позволите мне так выразиться, не оскорбляя вашей памяти, весьма высокомерным видом, который, не сомневаюсь, способствовал появлению слухов о его благородном происхождении. Тому нашлись и другие подтверждения. К примеру, когда он прибыл на борт, при нем был мешок с одеждой, среди которой имелись богатые камзолы, жилеты и прочее, а также коробка с планетарием, который господин Манроу уговорил его показать. Кроме этих свидетельств — скорее способствующих рождению предположений, нежели доказывающих истину — постоянно ходили слухи, что один из насильственно завербованных, человек старше его по возрасту, прозывавшийся Ганнером и появившийся на борту одновременно с Дайером, ранее был его слугой. Откуда берутся подобные истории, сказать не могу. Когда-то я думал, что они похожи на геродотовых пчел, плодящихся

сами собою, но, разумеется, раз уж они возникли, то разошлись по всему кораблю. Ганнер, насколько мне известно, такую связь отрицал.

Поначалу я полагал, что подобные признаки благородного происхождения сослужат Джеймсу Дайеру недобрую службу в его отношениях с простыми матросами, однако же, то ли по причине естественного почтения к людям благородным, то ли благодаря его редкостному хладнокровию, он им весьма нравился — я хочу сказать, они уважали его, но не думаю, чтобы любили.

К слову сказать, сударь, господин Даниэль Таскер, мой учитель риторики в школе латинской грамматики, убеждал меня никогда не высказывать общих суждений, не подкрепив их конкретным примером, с помощью коего ярче воссияла бы истина. Позвольте мне именно так и поступить при повествовании о хладнокровии Дайера, его твердости или крепости духа, как вам будет угодно это называть. Осмелюсь предположить, что вам и самому довелось наблюдать некоторые проявления оного качества. Я уже упомянул о том, как он ходил по нокам рея, причем в любую погоду. Кроме того, нашему боцману, господину Гладингбоулу, так и не удалось его запугать, хоть громила он был изрядный, а кроме

того, большой приверженец «посвящений», этого пагубного обычая тайных избиений, на который старшие офицеры смотрели сквозь пальцы. За разнообразные прегрешения, реальные или вымышленные, Дайер очень жестоко избивался Гладингбоулом и его помощниками Домиником и Маддитом, да так, что однажды потребовалась помощь господина Манроу, который обнаружил явные следы битья у Дайера на спине и на ляжках, за что Доминик и Маддит были закованы на неделю в кандалы, а Гладингбоулу удалось избегнуть справедливого возмездия до прибытия на остров Менорка, где он осушил полный бочонок вина и отдал Богу душу.

Господина Манроу поразило тогда то, что мальчик хоть и был оглушен, но не проявлял ни малейших признаков страдания, вполне ожидаемого после такой порки; еще более поразило его — как и всех нас, — с какой скоростью заживали на его спине раны, ибо он провел в корабельном лазарете не более одного дня, а затем объявил о готовности исполнять свои обязанности.

Хотелось бы добавить еще одну деталь, однако боюсь, не вполне имею на это право, ибо сам я не был свидетелем того происшествия, а лишь слышал о нем от лейтенанта морской пехоты

Вильямса. Речь идет о нападении на деревню Баракоа на острове Куба, в котором ваш друг сыграл заметную роль. У меня нет возможности просить лейтенанта Вильямса пересказать вам сию историю, поскольку бедняга имел несчастье умереть от дизентерии, а вот господин Дрейк, проживающий в Бриксхэме, возможно, даст согласие вам ее поведать.

Вскоре после этого сражения на Баракоа Джеймс Дайер стал «поваренком», то есть чем-то вроде помощника господина Манроу и его ассистента господина О'Брайена, по собственной просьбе доктора. Это освободило юношу от тягот вахтенной службы и позволило ему перенести свои пожитки в кубрик, который, несмотря на мрак — он расположен глубоко внутри корабля — и на вонь, идущую из соседней интендантской каюты, должен был показаться ему истинным дворцом по сравнению с его прежним жилищем. Кроме того, он тем самым избежал тиранства Гладингбоула, что, несомненно, также входило в намерения господина Манроу, ибо сей джентльмен, если не замечать некоторых недостатков, свойственных тем, чья жизнь проходит вдали от суши, был по натуре своей очень отзывчив.

Очень скоро обнаружилось, что у доктора нет

никаких оснований сожалеть о своем решении, по крайней мере в вопросах, связанных с компетентностью молодого человека. Он сразу же показал, что подходит для работы, а ежели чего-то не знал, то без труда обучался и вскоре стал столь ловок и умел, что вызвал недовольство господина О'Брайена. Ваш друг и господин Манроу проводили так много времени вместе, что, как ни прискорбно мне об этом писать, дали повод к рождению грязных и подлых пересудов, поддерживаемых в первую очередь господином О'Брайеном и распространившихся по всему кораблю. Мне бы не следовало упоминать об этом, сударь, дабы не оскорбить вас давними сплетнями, если бы не кое-какие особенности поведения их обоих, делающие столь неприглядные отношения вероятными.

К моему отчаянию, господин Манроу почти не заботился о том, чтобы защитить свое доброе имя или имя вашего друга, и в самом деле, казалось, пребывал весь во власти этого юноши. Я не могу удовлетворительно объяснить его нежелание действовать, разве только предположив, что его чувство возмущения было притуплено употреблением настойки опия, каковую, по его собственному признанию, он принимал по тысяче капель

в день — вполне достаточно, чтобы разрушить сознание, и менее привычное к наркотику. Ром он также потреблял в больших количествах, частью по причине совершенно гнилых зубов, которые меньше болели лишь вследствие регулярных полосканий алкоголем. Бедняга никогда не был вполне счастлив, и присутствие молодого помощника было для него столь очевидным благом, что только человек бессердечный мог пожелать бы разлучить их. И все-таки я решился поговорить с молодым Дайером и убедить его в необходимости противостоять клевете. Я говорил с ним со всей возможной в таком деле откровенностью и дал ему понять, что лучше бы ему поменьше общаться с доктором. Поначалу он, по всей видимости, не понял, о чем я вел речь, когда же я выразился более определенно, он лишь улыбнулся и отчитал меня за дерзость в таких крепких выражениях, что, право, сударь, я даже испугался за свою жизнь, хотя человек я не хлипкого сложения и уж никак не трусливый.

Что до господина О'Брайена, ему в конце концов удалось вызвать ярость юноши, но, я уверен, он так и не понял, какого опасного нажил себе врага. Полагаю, я могу рассчитывать на то, что вы хорошо знали характер вашего друга и поймете

меня правильно. Едва ли вас удивит, что очень скоро О'Брайену пришлось пожалеть о своем поведении. О'Брайен был избит, притом жестоко, когда сошел на берег в Коломбо. Никто не видел их драки, да и сам О'Брайен сообщил лишь, что на него напали, когда он шел короткой дорогой назад к пристани по узким улочкам. Однако все решили, что прямо или косвенно к этому делу имел касательство Джеймс Дайер. О'Брайен же неделю пребывал не в своем уме, а посему, когда мы причалили в Портсмуте, он сошел с корабля, и более его никто не видел. Никакого официального наказания не последовало. Ибо, как говаривал капитан Рейнольдс, флот не терпит слюнтяев.

Оставшись без помощника, господин Манроу подал прошение в Общество корабельных врачей с просьбой проэкзаменовать Джеймса Дайера на предмет его пригодности для замены О'Брайена, и благодаря влиянию, которым Манроу пользовался среди некоторых членов комиссии, вашему другу выпала редкая возможность явить свои таланты в столь раннем возрасте, для чего, сопровождаемый своим наставником, он отправился из Портсмута в Лондон и предстал там перед достоточтимой комиссией на следующий же день. Не помню, каким в точности был результат, однако,

по всей видимости, достаточно благоприятным, чтобы получить патент, и я осмелюсь предположить, что он был самым юным помощником корабельного врача, коему разрешено было занять сей пост. Следует, впрочем, добавить, что во флоте мужчина — или юноша, — чья звезда сияет ярче других, может достичь многого гораздо быстрее, чем в иных профессиях: некоторые становились капитанами, не достигнув и двадцати лет, или адмиралами, не достигнув и сорока.

Теперь же, сударь, позвольте мне перейти к описанию того события, которое, как мне представляется, вызовет у вас особенный интерес. Оно не сотрется из моей памяти даже на смертном одре. Тем более что его до сих пор помнит и все королевство. И все же есть еще одно обстоятельство, довольно любопытное, о котором я бы хотел сообщить заранее и о котором следовало бы упомянуть прежде, когда бы изложение иных фактов не вытеснило его из моей памяти. Дело касается предполагаемого слуги Джеймса Дайера, Ганнера, а произошло все через два месяца после того, как они впервые поднялись на борт в Портсмуте. В помещении, где хранился хлеб, обнаружили тело довольно крупной женщины, зашитое в гамак, которое уже подверглось тле-

нию, и его необходимо было похоронить, ибо из-за него хлеб мог стать непригодным в пищу. Следствие установило, что она была «женой» Ганнера — ведь мужчины нередко берут своих женщин в море, хотя имени ее по прошествии стольких лет я не припомню. Меня вызвали служить панихиду. Тело с привязанным к ногам тридцатидвухфунтовым ядром было спущено в воду самим Ганнером и еще двумя матросами, когда мы находились несколькими градусами южнее Азорских островов. Смерть ее потрясла Ганнера, он называл усопшую «моя деточка», что звучало нелепо, если иметь в виду, что мы едва пропихнули ее тело сквозь пушечный порт и что, завернутое в парусину, оно погрузилось в океан, точно белая акула, которую мне довелось видеть в заливе Ботани-Бей. Поистине невозможно понять пристрастий мужчин. Осмелюсь заметить, не всякий находит госпожу Фишер таким же совершенством, каким она кажется мне.

Нет нужды напоминать вам, сударь, о событиях 1756 года, когда французы под предводительством маркиза де ля Галиссоньера и герцога де Ришелье высадились на Менорке и выбили наш гарнизон в форт Святого Филиппа, заблокировав остров и осадив форт. «Аквилон» был одним из

кораблей, отправленных с сэром Джоном Бингом в Средиземное море, к Менорке он подошел в девятнадцатый день мая. Далее нам было приказано идти вперед и попытаться связаться с фортом, но этому помешало появление к юго-востоку от нас главной французской флотилии. Хотя я плавал уже несколько лет и присутствовал при многочисленных погонях и стычках, мне ни разу не довелось видеть так много вражеских кораблей, и зрелище это породило в моей душе трепет, коего я не испытывал ни ранее, ни потом. Наша доблестная флотилия числом тринадцать кораблей выстроилась в линию, дабы перекрыть путь противнику, но прежде, чем начался бой, вокруг стих ветер и сгустилась тьма; нам же пришлось провести бессонную, полную тревожного ожидания ночь. Некоторые просили меня написать прощальные письма своим любимым, что я и делал, сидя на шкафуте и выводя слова при свете звезд под диктовку матросов, и потом, после битвы, я исполнил свой печальный долг и отправил из Гибралтара эти трогательные послания по указанным адресам. Около четырех часов утра я спустился в свою каюту перекусить соленой свининой из моего личного запаса и был весьма огорчен, обнаружив господина Манроу

валяющимся у дверей своего лазарета с бутылкой рома на коленях. Я попытался его поднять, но тщетно, тогда я позвал на помощь Джеймса Дайера, чтобы перетащить доктора в его койку. Ваш друг спал в гамаке и был крайне недоволен, что его разбудили, — уверен, он был единственным человеком на всем корабле, кто смог уснуть в ту ночь, — и коротко и ясно послал меня ко всем ч…м. В конце концов перенести доктора мне помог господин Ходжес, начальник интендантской службы, а затем я вновь поднялся на палубу, ибо не мог находиться внизу в такой час.

Утро встретило нас туманом, и я едва мог различить впереди мачты «Неустрашимого»; но с восходом солнца туман рассеялся и французскую флотилию можно было наблюдать в двенадцати милях к югу и востоку от нас. Прозвучал сигнальный выстрел, и наши корабли, несколько рассредоточенные за ночь, вновь выстроились в линию и двумя дивизионами пошли галсами в сторону противника. Одним командовал адмирал Бинг, а другим, куда входил «Аквилон», контр-адмирал Вест.

Не раз мне приказывали сойти вниз, но я даже на час не мог оторваться от зрелища противника, коего теперь можно было хорошо разглядеть:

они шли почти борт о борт левым галсом с артиллерией наготове, и крохотные человеческие фигурки отчетливо виднелись на палубах.

В конце концов господину Дрейку удалось убедить меня спуститься, и я отправился вниз через палубы, на которых рядом со своими пушками сгрудились орудийные расчеты. Помню, как лейтенант Уитни наткнулся на меня и чуть не сшиб с ног, разразившись при этом ужасной бранью, но когда понял, кто я, то попросил извинения и велел огромному матросу-китайцу проводить меня на нижнюю палубу.

Вы можете вообразить мое отчаяние, когда я узнал от господина Ходжеса, что доктор все еще спит в своей койке. Я отправился прямо к нему, но сразу понял, что дело тут безнадежное. И хотя меня возмутило столь явное пренебрежение своими обязанностями, я все-таки испугался за него, поскольку, дойди эти сведения до капитана Рейнольдса, трибунала доктору было бы не миновать. «Что нам делать, господин Ходжес?» — спросил я. За него ответил Джеймс Дайер: «Все уже сделано». Или что-то в таком роде. В переднике господина Манроу, в котором тот всегда делал операции, Дайер стоял у операционного стола, составленного из матросских сундуков, покрытых

парусиной. При нем были все его инструменты, то есть инструменты Манроу, и вид у него был такой, точно он собирался приступить к вкусной, обильной трапезе. «Вы, конечно, не собираетесь действовать в одиночку, Джеймс?» — спросил я, на что получил ответ, что нет, не собирается и настоятельно просит, чтобы я на время стал его помощником. Подобная мысль была мне вовсе не по душе, но господину Ходжесу она, похоже, понравилась, и он столь смело предложил собственные услуги по наложению повязок, что я счел неразумным отказаться.

Я надел старую матросскую куртку и присоединился к остальным, севшим играть в карты, но как уж я там играл, судить не могу, потому что все время жаждал подняться наверх посмотреть, сколь стойко мы держимся против французов. Незадолго до того, как пробило три, мы почувствовали, что корабль стал разворачиваться. Господин Ходжес, проведший в море лет двадцать, кивнул со словами: «Сейчас начнется» — и попросил меня помолиться, дабы Господь даровал нам удачу и спасение. Я стал читать молитву, но сейчас нипочем не мог бы ее повторить, ибо вышло что-то бессвязное; однако присутствующие в кубрике — две женщины и два ребенка,

господин Шатт и умирающий сифилитик Стокер — склонили головы. Все, кроме Джеймса Дайера. Мое «аминь» заглушил грохот пушек, правда, не наших, а вражеских, и я почувствовал, как, приняв удар, содрогнулся старина «Аквилон».

Это, как мне удалось установить впоследствии, был первый бортовой залп, ударивший продольным огнем по эскадре контр-адмирала Веста, когда мы шли прямиком на линию французских кораблей. С промежутками в четыре и пять минут прогремели еще два залпа, и тут мы почувствовали, что корабль наш вновь сменил курс. «Сейчас! — воскликнул господин Ходжес, вскочив, так и не закончив перевязку и неожиданно преисполнившись воинственным духом. — Сейчас мы расквасим им нос!» Воистину он оказался провидцем, ибо не успели прозвучать эти слова, как грянули наши пушки. Господь Всемогущий, и как грянули! Огонь в фонарях то меркнул, то вновь разгорался, так как от сотрясения верхних палуб воздух из кубрика уходил вверх, и после каждого бортового залпа мы слышали громыхание лафетов и топот ног, бегущих за боеприпасами и ящиками с ядрами.

Я полностью потерял ощущение времени. Помню, во рту было очень сухо. Не стану притво-

ряться, что я не боялся. Невозможно было понять, как корабль выдерживает такой напор и как вообще мог кто-то остаться в живых на верхних палубах. Многие и в самом деле погибли. К нам вниз постоянно приносили раненых — одни вопили, другие лежали без чувств, третьи с самой примерной стойкостью терпели мучительную боль. Вскоре затруднительно стало пробираться между этими несчастными, лежавшими на дощатом полу. Постоянно слышались голоса, звавшие доктора, и многие, даже из бывалых моряков, звали свою матушку.

Посреди всего этого был Джеймс Дайер. Ни на секунду не ослабевало его внимание, ни разу он не остановился, чтобы утереть лоб или выпить. Мы несли к нему самых тяжелых — болтающиеся руки, переломанные ноги, вывороченные животы, — и он отрезал, зашивал, убирал внутренности назад в их естественные полости. Клянусь вам, сударь, он находил в этом удовольствие, так проявлялся его гений, и я полагаю, никто еще не резал человеческую плоть с более холодным рассудком и более твердой рукой, хотя весь мир вокруг него содрогался.

Вдруг я ощутил позади себя какое-то смятение и увидел, как господин Дрейк кричит, что капи-

тан ранен и требуется доктор. Господин Манроу, конечно, не мог оказать помощь не только капитану, но даже себе самому, а потому наверх отправился ваш друг. Я намеревался продолжить помогать в кубрике, но господин Дрейк сказал, что мои услуги, возможно, тоже понадобятся, а потому я последовал наверх за Дайером.

Все батарейные палубы были объяты клубами серого дыма, каждое орудие, как наше, так и вражеское, стреляло без передышки, пушки так раскалились, что подскакивали ввысь, точно норовистые молодые жеребцы, и откатывались с поистине устрашающей силой.

Кое-где нам пришлось переступать через тела погибших, да-да, и среди них совсем еще мальчиков, ибо я отчетливо помню лицо бедняжки Вильяма Оукса, которому за день до сражения исполнилось десять лет. Не пойму, как он погиб, ибо на его теле не было заметно никаких следов, кроме маленького синяка над глазом.

На верхней палубе резня была еще страшнее, и, пока мы пробирались к шканцам, наши чулки сверху донизу оказались забрызганы кровью. Вокруг так и свистела картечь, и я уже не сомневался, что никогда более не попаду назад, на нижнюю палубу, что пробил мой час, ибо невоз-

можно было выжить человеку среди царящей кругом смерти. Неразумный, я и в самом деле был убежден, что против меня одного ополчился весь французский флот, хотя потом узнал, что подобное ощущение весьма часто охватывает людей во время боя. Оно, без сомнения, крайне неприятно, ведь, как бы то ни было, в ожидании пули вам приходится уговаривать себя оставаться джентльменом, то есть не прятаться и не ползать на брюхе, особенно же в том случае, если вы находитесь в компании человека, идущего по «долине теней», словно он прогуливался по Рэнельским садам в Лондоне.

Несчастный капитан Рейнольдс лежал на руках у господина Дрейка рядом с грудой мертвых морских пехотинцев. Ему полностью оторвало левую ногу, и господин Дрейк сказал, что, вероятно, ее перекинуло за борт, так как он нигде не смог ее отыскать. Капитан спросил, где же господин Манроу. Я ответил, что он очень занят на нижней палубе. Капитан улыбнулся и проговорил, что в таком случае он очень рад видеть господина Дайера, поскольку не сомневается, что тот знает, что ему надлежит делать.

«Я буду жить?» — спросил капитан, и Дайер ответил утвердительно, пояснив при этом, что

конечность оторвана ровно и в рану почти не попала грязь. Капитан выразил ему свою благодарность, и мы уже собирались нести капитана вниз, как вражеское ядро ударило в бизань-мачту, разметав по шканцам осколки, один из которых попал мне в глаз.

С этого момента я мало что могу вам поведать. Поначалу я решил, что меня убили, но кое-как все-таки добрался до нижней палубы, как и капитан Рейнольдс, который, исполнив пророчество Дайера, действительно выжил и вышел в отставку как адмирал желтого флага. Что до самого сражения, то вы знаете, сударь, чем оно закончилось и каковы были его последствия для несчастного адмирала Бинга. Противник прекратил бой, отошел и встал в подветренную сторону, дабы перестроиться в недосягаемости от наших орудий. Они действовали быстрее нас, да и приказа преследовать адмирал так и не отдал. По правде говоря, наши корабли были сильно потрепаны, но, окажись с нами какой-нибудь

Энсон[36] или Хоук,[37] мы, без сомнения, погнались бы за противником, однако в тот момент рады были полученной передышке. Никто никогда не упрекнет английского моряка в том, что он предпочел живот битве. Английский моряк бесконечно храбр. Думаю, он никогда даже не задумывается над тем, что может погибнуть. Он живет мгновением. Будущее для него ничто.

Я сошел с корабля в Гибралтаре вместе с капитаном Рейнольдсом и теми членами экипажа, кто был слишком слаб, чтобы перенести тяготы морского путешествия домой. В последний раз я видел вашего друга, когда меня несли мимо лазарета и я своим здоровым глазом случайно заглянул внутрь — по всей видимости, он отрезал кому-то руку. Но поскольку меня лихорадило, я мог и ошибиться. По правде сказать, сейчас, когда я задумался об этом, мне пришло в голову, что это было не в последний раз. Однажды, почти два года спустя, я повстречал его в Лондоне, непо-

---

[36] Примечания: 36

Энсон, Джордж (1697–1762) — английский мореплаватель. Во время англо-испанской войны в 1740 г. потерял семь из восьми кораблей своей эскадры, кроме «Центуриона», но, напав на испанский галеон, вернулся на родину с сокровищами стоимостью 500 тыс. фунтов.

[37] Примечания: 37

Хоук, Эдвард (1705–1781) — английский адмирал. В 1759 г. одержал победу над французским флотом в Киберонском заливе, предотвратив вторжение французов в Англию.

далеку от ворот Темпл-Бар: он шел с каким-то джентльменом старше его и несколько грубоватым с виду, в котором господин Фишер признал одного из знаменитых братьев Хантеров.

Итак, сударь, надеюсь, мне удалось удовлетворить ваше любопытство. Друг ваш был человеком замечательным, и меня ничуть не удивило, когда я прочел о его поездке в Россию с целью привить оспу императрице. Мне было бы интересно узнать, как прошло означенное путешествие, ибо более о Джеймсе Дайере мне слышать не доводилось. Если вам когда-нибудь случится побывать в наших краях, прошу вас, сделайте одолжение, погостите у нас. Живем мы тихо, но на реке можно хорошо порыбачить.

Остаюсь вашим покорнейшим слугой,

Дэвид Фишер.

13

Соломон Дрейк преподобному Лестрейду
Апреля 1774, Брикссхэм

Сударь!

Преподобный Фишер просил меня написать вам про Джемса Даера с «Аквилона» и что вы имеете интерес к тому времени что он служил на корабле в особенности же про сражение на Кубе. Как я догадываюсь преподобный Фишер уже рассказал вам про все остальное.

Городок который мы атаковали назывался Баракоо и вот вкрацце что там произошло. Мы велели нашим матросам быть на стороже и поглядеть чем мы могли бы там расжитца. Мы отправились с корабля на четырех шлюпках под командованием литенанта Уитни держа язык за зубами дабы невстревожить противника. Я командовал третей шлюпкой — Бенсон Макнамара Джонсон Даер Гаммер Паркс Остин ОКоннор Лоуер и китаиц Артур Истер — все вооруженные кортиками топорами пистолетами или дубинками по своему разумению.

За чаз до рассвета мы вошли в не большую

бухту и в далеке могли смутно разглядеть городишко. Было тихо как в магиле только собака нас почуила и принялась лаить. Мы причалили к самой темной стороне пристани под прикрытием табачного склада что стоял не в далеке.

Первый отряд под командованием литенанта Уитни пошел на поиски мэрии а мой двигался следом на случай коли там есть гарнизон. Черес пять минут городок был наш на одной из церквей пробил колокол и началось атское веселье. Ежели бы они знали что нас всего то тридцать пять душ с нами бы быстро разделались но они подумали будто нас тыща и мы явились прикончить их всех в постелях. За чаз городок опустел. Матросы стали фходить в дома и литенант Уитни неасмелился им перечить зная их нрав и понимая что они скорее всадят в нево пулю чем перестанут веселитца.

Они сновали ис дома в дом как пчелы во круг улиев. И брали все ценное но больше всево им нравились красивые наряды, асобенно дамские и когда им было больше не утащить они надевали их на себя и носились во круг как женщины Бедлама. Уверяю вас сударь страннее я ничево невидывал.

Кубинцы же возвратились дабы принять бой

кто на лошедях а кто пеший. Я видел как был убит матрос Паркс но наши люди хоть и обремененные добычей дали им хороший отпор. Мы были на площади Мэрии — главной площади города. Я сбросил с лошеди однаво красавчика и думая что такая прекрасная лошать будет хорошим подарком моей последней жене ежели мне удастца привести ее домой заметил Джемса Даера как он стоит на площади и заряжает пистолет со всей тщательностью точно он один в комнате. Один ис солдат таково же возрасту что и Даер стоял в двадцати футах от нево заряжая мушкет и весь ахваченный яростью. Зарядивши он поднимает его на плечо стреляет и промахиваетца. Он был не трус этот кубинец в отличии от иных прочих ибо у нево был острый штык длиною с руку и он побежал прямо на Даера крича что есть мочи. Провалитца мне на етом месте если тогда Даер не поднял свой пистолет и целился покуда кубинский парень почти не поравнялся с ним. Наверно тот парень ришил что щас победит ибо штык ево оказался на расстоянии ладони от Даерова жилета. Но ежели это так значит ета мысль была для нево последней ибо Даер выстрелил ему прямо в голову и так вот прикончил ево. Ето был самый совершенный поединок в своем роде ис тех что

мне довелось наблюдать. Но что исчо страннее и что заставило меня задуматца каков молодой человек есть етот Даер это то что он даже невзглянул на убитого парня. По своему опыту я знаю что человек всегда смотрит на таво каво убил однако Джемс Даер пошол проч словно ис памяти ево все стерлось как мел с грифельной доски.

Мы пробились к шлюпкам и отдали швартовы. Кубинцы стали палить по нам ис пушек но тогда подошол «Аквилон» и задал им перцу. Мы поднялись на палубу с убитым Парксом и несколькими ранеными включая литенанта Уитни потерявшего большой и указательный палец. Вы бы покачали головой, сударь, увидя как моряки поднимались на борт в нарядах с кружевами все небритые и забрызганные кровью. Я и сам то как вспомню об етом то тоже качаю головой. Таков был набег на Баракоо.

Незнаю что исчо я могу рассказать вам только вот иногда думаю что Джемс Даер поощрял пристрастие господина Манроу к бутылке. Господин Манроу сошел на берег в 56 году Даер стал корабельным врачом и сказать по совести очень хорошим врачом хоть был себе на уме. Он покинул корабль в 58. Я спросил у нево куда он направляетца а он сказал к более изыскан-

ной жизни чем вы можете вообразить господин Дрейк и чтоб слышать звон монет. Однажды ночью очень тихо он уплыл на ялике с корабля. Думаю ево старый слуга Гаммер уплыл вместе с ним ибо более мы его невидели.

Надеюсь я оправдал ваши надежды етим письмом и вы простите мой грубый слог. Я ушел в море в девять лет и корабль был моим университетом.

За сим остаюсь ваш покорный слуга

Военный моряк Дрейк.

14

Госпожа Манроу
его преподобию господину Лестрейду
Бат, июня 1774

Сударь!

Ни одно имя не вызывает у меня такого отвращения, как имя Джеймса Дайера. Ежели вы говорите, что он умер, то я только радуюсь этому, ибо он убил моего мужа так же точно, как если бы сделал это собственными руками. Мой супруг был добрым человеком, чьим единственным недостатком была безрассудная привязанность и доверчивость к тому, кто не заслуживал ни того, ни другого. И хотя мой супруг сам отнял у себя жизнь, я уверена, что он пребывает на небесах, тогда как Джеймс Дайер горит в аду. Прошу вас более не писать мне, ибо я никогда не смогу вести переписку с человеком, называющим себя его другом.

С уважением,

Агнесса Манроу.

15

Пассажиры, сидевшие наверху дилижанса, спустились вниз, насквозь промокшие от дождя, который лупил по ним с тех самых пор, как они проехали деревню Бокс. Они стоят во дворе, покуда слуги с постоялого двора перетаскивают их дорожные сундуки из багажной корзины позади повозки. Кучер открывает дверцу.

— Бат!

Теперь выходят и те, что ехали внутри, числом шесть человек. Они надевают шляпы и, хмурясь, глядят на небо. Большинство в дороге дремали, о чем свидетельствуют их бледные помятые лица. Лишь один, похоже, совершенно безразличен к дождю и не испытывает никакой усталости после долгого путешествия из Лондона. Он легко перешагивает лужу и о чем-то говорит с другим человеком, постарше, тем, что ехал наверху. Человек этот кивает, словно получил от молодого какие-то указания.

Хозяин постоялого двора, держа плащ над головой, приглашает путешественников войти, и они, хлюпая по грязи, проходят за ним в дом. Там пахнет жареным мясом, сырой одеждой и

мокрой псиной. Джеймс спрашивает комнату. На одну-две ночи, не больше. Девушка-служанка провожает его наверх, открывает и придерживает дверь, а когда он входит, приостанавливается на пороге. Обернувшись, он глядит на нее. Она приподнимает брови, делая молчаливое предложение.

— Сколько?

— Пять шиллингов, — отвечает она. — Деньги вперед. Без вывертов и все по-христиански.

Он разглядывает девушку. Вырез до нелепости огромен. На правой груди из-под шемизетки виднеется шрам в виде полумесяца.

Джеймс дотрагивается:

— Что это?

— Узел, сударь, доктор вырезал его еще до Рождества.

Он ощупывает грудь вокруг шрама. Девушка отталкивает руку. Она взволнована, словно его прикосновение разбудило забытый кошмар.

— Я же сказала, деньги вперед.

Он нашел еще два уплотнения. Она отпихивает его и отступает назад, прочь из комнаты. В сером дождливом свете, что падает в коридор, девушка похожа на привидение.

— Пять шиллингов, — повторяет загробный

голос.

Джеймс качает головой:

— Я не дам за тебя и шести пенсов. Разведи огонь. Когда придет человек по имени Гаммер, пришли его ко мне.

Уже совсем темно, когда, брюзжа, появляется подвыпивший Гаммер.

— Нашел ты его? — спрашивает Джеймс.

Гаммер подходит к огню.

— Мне всегда было не по нутру это место, — бормочет он. — Люди говорят, его основал свинопас. Небось, так оно и есть.

— Я спрашиваю, нашел ли ты Манроу. Будь повежливее и отвечай.

Гаммер разворачивается. Прямой, холодный, убийственный взгляд.

— Слишком много ты себе позволяешь, — говорит он.

— Тут нет детей, чтобы бояться вас, мистер Гаммер.

— Повторяю, слишком много. Важности-то напустил! Забываете, мистер, что уж я-то отлично знаю, откуда вы такой взялись.

— А ты выпил больше, чем я думал. Лучше ложись в постель. Что это ты там бормочешь?

— Говорю тебе, щенок, — придет день… Госпо-

ди, правду о тебе Грейс говорила.

— Когда вы так тявкаете, сударь, — говорит Джеймс, — то напоминаете мне старую собаку, давно потерявшую зубы, которая сидит среди вони и грязи и ждет, когда кто-нибудь из жалости вышибет ей мозги. Старики не должны угрожать. Ты видел Манроу?

— Я нашел его дом, — в голосе Гаммера больше нет злости. Он не отрываясь смотрит в огонь.

— Записку отнес?

— Да.

— Тогда навестим нашего старого друга завтра же утром.

Очаг потух. Гаммер храпит в постели. Джеймс усаживается у стола, развязывает кошелек и высыпает в ладонь монеты, затем складывает в два аккуратных столбика золото и серебро. Чуть меньше двадцати пяти фунтов. На такие деньги можно легко просуществовать два-три месяца кряду, ежели жить тихо, питаться в дешевых трактирах, не притрагиваться к картам и разводить огонь только по вечерам. Но Джеймс не намерен довольствоваться таким прозябанием. Именно так он жил в Лондоне — в студенческой каморке на Дюк-стрит, тратя три фунта шесть шиллингов в неделю (домохозяйка миссис Милк,

вдова и дочь священника). Ходил в больницу Святого Георгия в надежде увидеть, как оперирует доктор Хантер, или — через новый мост в Вестминстере — в больницу Святого Фомы, где следовал по пятам за доктором Фодергиллом во время его обходов. Зимой сиживал в кофейне Батсона — там, у камина, всегда было тепло — и долго думал, прежде чем потратить каждый шиллинг. Теперь довольно.

Он ссыпает монеты в кошелек, кладет его в карман, снимает кафтан, жилет, туфли и ложится в постель. Гаммер храпит и, вздыхая, бормочет что-то невнятное. Джеймс задувает свечу. За окном снова стучит дождь.

16

— Милый мой мальчик! Дражайший Джеймс! Вот так встреча! Ты даже не можешь себе вообразить, сколько я передумал о тебе после нашей корабельной жизни. Нашей зеленой юности! Входи, входи же и познакомься с госпожой Манроу. Она уже сгорает от нетерпения, ей так хочется поскорее увидеть знаменитого Джеймса Дайера.

— Покамест едва ли знаменитого, сэр.

— Время об этом позаботится, Джеймс. Мы оба знаем. А с этим человеком я, похоже, знаком. Только вот имя позабыл.

— Мистер Марли Гаммер, сэр. К вашим услугам.

— Гаммер? Да-да, кажется, припоминаю. И вам добро пожаловать. Осторожно, тут собачка, мистер Гаммер. Их у миссис Манроу несколько. Поздоровайся с моими старыми друзьями, Чаудер.

Собачка бросается к ногам Гаммера, трется о чулок.

— Ласковая, чертовка… Ну вот, дорогая, они и пришли. Свистать всех наверх! Ха-ха, черт побери!

Манроу задевает за край деревянной скамьи с высокой спинкой, спотыкается, хватается за буфет, и с накренившегося буфета на пол низвергаются стаканы, рюмки и бутылки бристольского синего стекла, разлетаясь вдребезги. Все четверо смотрят на осколки, потом Джеймс переводит взгляд на миссис Манроу. У нее покраснели щеки. Она молода, лет двадцати с небольшим, лицо почти красивое. «Видите, — говорят ее глаза, — за кого меня выдали замуж? Видите, что мне приходится терпеть?» Она глядит на мужа.

— Боже мой, Роберт, с каждым днем ты все больше похож на быка. Он с утра сам не свой — все мечтал увидеть вас, мистер Дайер. Клянусь, я еще никогда не видела его таким счастливым.

— Я столь же счастлив вновь встретиться с вашим мужем, мадам. На корабле он был мне очень хорошим учителем. И я радуюсь при мысли, что мы опять сможем работать вместе.

Миссис Манроу кидает вопросительный взгляд на мужа:

— Ты берешь компаньона, Роберт?

Манроу глядит на жену, потом на Джеймса:

— Компаньона?

— Ну конечно, ведь я всегда говорила, что именно так следует поступить.

Джеймс кланяется со словами:

— Не сомневаюсь, что среди своих пациентов вы числите половину города, сударь.

— Половину города! Ха! Нет, мой мальчик, мы живем тихо, но живем. Не так ли, Агнесса?

— На столе у нас всегда есть мясо, это правда, хотя иногда мне кажется, что ты слишком неприхотлив.

— Ох уж эти мне жены, сударь! В наше время нужно быть герцогом, чтобы жениться. Им подавай тысячу фунтов годовых — на меньшее они не согласны. Холодное сегодня утро. Выпьем-ка по бокалу глинтвейна с печеньем, а засим мне следует отправиться к мистеру Ливису. Вчера ночью по дороге домой с пирушки у Симпсона он здорово грохнулся. Перелом бедра.

— Возьми с собой мистера Дайера, дорогой. С ним тебе будет веселее. Кажется, в таких случаях требуется сила? Не сомневаюсь, он сможет помочь тебе вправить бедро как надо.

— Сможет, сможет. Где ты поселился, Джеймс? Пошли Гаммера за сундуком. Нет-нет, и слышать не желаю никаких возражений. Миссис Манроу будет только рада обществу человека, более близкого ей по возрасту. Ну так куда же запропастился этот треклятый глинтвейн?

То, на что намекала Агнесса Манроу, Джеймс теперь видит собственными глазами: медленное угасание практики, которая после приезда в Бат Манроу, человека полного сил, только что женившегося и решительно настроенного переменить свой характер, выглядела столь многообещающе и которая в первый год вопреки ожиданиям имела успех. Когда Манроу трезв, он все еще бывает хорошим врачом, а временами заметны проблески даже чего-то большего, но те, кто нынче обращается к нему, делают это скорее из доброго расположения, симпатии, а вовсе не потому, что верят в его способности. Он вежлив, старомоден и, когда сидит у постели умирающей одинокой старухи, удерживая ее блуждающие по одеялу руки, прекрасно понимает, что она никогда не оплатит ему счета. Он отворяет кровь старым господам и их женам, а потом пьет с ними полдня, рассуждая о политике и беззлобно журя молодое поколение за сумасбродство, хотя теперь поворачивается к своему новому помощнику и, кивая, говорит: «Исключая присутствующих», и старики, прищурившись, излучают благоволение и полагают, что господину Манроу здорово повезло.

Весь март холодно, как бесснежной зимой, и

Манроу пьет, не покидая дома. Если за ним являются посыльные, то их отправляют обратно спросить, не согласится ли больной, чтобы его пользовал мистер Дайер. Большинство соглашаются. После первого же посещения они уже хотят, чтобы их лечил Джеймс, а не старый добрый Манроу.

В бальных залах и гостиных хромые, хворые и скучающие, с дыханием, прокисшим от разных снадобий, обсуждают «новичка», годков-то не более двадцати, подумать только. Очень способный. Действительно, чрезвычайно способный. Не столь добродушный, как господин Манроу, конечно. Роберт Манроу — такого славного человека трудно и сыскать. Но…

Джеймс Дайер пользует госпожу Найджеллу Пратт, которая не получила облегчения от господина Криспа с Боуфор-сквер, неумело обошедшегося со вросшим ногтем на пальце ее ноги.

— Просто неприлично, — рассказывает она, — как скор он в работе. Мне кажется, он не пробыл в доме и пяти минут, как все было сделано. Господь свидетель, едва он вошел в дверь и передал шляпу прислуге, и вот он уже стоит в холле и получает от Чарльза гинею. По-моему, он вымолвил

не больше пяти слов за все время визита.

Тобиас Боун, мировой судья графства Мидлсекс, — удаление огромной бородавки на кончике носа. Повествуя о своих впечатлениях в кофейне у Памп-Румз, он для убедительности стучит по столу, отчего сотрясаются чашки и блюдца:

— Джеймс Дайер — единственный настоящий хирург в Бате, не говоря, конечно, о самом мистере Манроу. Похож на одного парня, которого мне довелось судить по обвинению в отравлении обоих своих родителей.

— Кто, Манроу?

— Да нет же, сударь, Дайер. И какие у него ловкие руки. Руки дамы, глаза орла, сердце… один Господь ведает, какое у него сердце. И все это соединилось вместе — но как?

Сальваторе Гримальди, музыканту и близкому другу лорда Б., требуется хирургическое вмешательство — извлечь камень. Он здорово затянул с болезнью. Полная задержка мочи. Его вносят в дом, побледневшего, с землисто-желтым лицом, страдающего от сильнейших приступов. Несмотря на мучения, он держится с величайшим мужеством; лишь однажды, когда носильщики портшеза, поднимая его, задевают о стол, с его языка срывается какое-то ужасное неапо-

литанское богохульство. Но он тут же просит извинения и осведомляется, скоро ли придет мистер Манроу.

Манроу, завернутый в одеяла, в шапочке из тюленьей кожи на голове, сидит у себя в спальне и завтракает мадерой с горячей водой. Он слышал шум и, когда появляется жена, спрашивает, в чем там дело.

— У какого-то иностранца приступ. Джеймс, я думаю, справится.

Манроу кивает:

— Что бы мы без него делали?

Миссис Манроу стучится в комнату к Джеймсу. Ей открывает Гаммер с бритвой в руке. Позади него у туалетного столика без камзола сидит Джеймс.

— Внизу мистер Гримальди, — говорит она. — Иностранный господин, пользующийся определенным влиянием. У него идет камень, и мистер Манроу просит вас об одолжении…

— Я спущусь, как только мы закончим.

Она не уходит.

— Прошу вас не слишком задерживаться, ибо джентльмен весьма страдает.

Джеймс смотрит на нее в зеркало:

— Все зависит от мистера Гаммера. Вы ведь

не хотите, чтобы я оперировал небритым, не так ли?

— Конечно, нет. Я уверена, это будет неуместно.

Лишь через полчаса Джеймс объявляется в холодной комнате в глубине дома, приспособленной Манроу под операционную. Его свежевыбритое лицо сияет, в воздухе витает нежный аромат дорогой туалетной воды, смешиваясь с другими куда менее приятными запахами: пота страждущих и запекшейся крови. Джеймс осматривает больного. Тот, моргая, глядит на молодого человека, стоящего напротив, по ту сторону разверзающейся туманной бездны. Что-то бормочет насчет священника. Джеймс не обращает на его слова никакого внимания. Велит носильщику стянуть с Гримальди бриджи и сам переодевается в одну из заскорузлых от крови курток, что висят на деревянной вешалке за дверью. От третьей пуговицы жилета Гримальди тянется к кармашку массивная золотая цепь. Джеймс вытаскивает часы — золотые, покрытые чеканкой, раскрывающиеся на две половины, с эмалевым циферблатом, изготовлены в Лондоне. Отстегивает их от жилетной пуговицы и передает стоящей в углу комнаты Агнессе Манроу со словами:

— Засеките время от первого разреза до момента извлечения камня.

Затем подходит к Гримальди, склоняется к его уху:

— Господин Гримальди, плата за операцию — ваши часы. Согласны, сударь?

Губы больного кривятся в подобии улыбки. Он еле заметно кивает.

— Вытяните ему ноги.

Джеймс берет скальпель, щипцы и цистоскоп из выдвижного ящика и поднимает глаза на миссис Манроу:

— От первого разреза, сударыня. А вы, — он оборачивается к носильщикам, — будете свидетелями. Итак… начали!

Одна минута двадцать секунд.

Джеймс поднимает вверх камень, который размерами напоминает маленький маринованный грецкий орех.

Входит Манроу, оглядывает, моргая, стоящих у стола и, пробравшись вперед, с восторгом рассматривает разрез.

— Поперечный, да?

— Как рекомендовано господином Чизелденом. Но от его рекорда меня отделяет чуть более двадцати секунд.

— Чизелден! Это надобно отпраздновать, Джеймс. А как себя чувствует джентльмен? Да это же господин Гримальди! Ну как самочувствие, сударь?

— Я потерял часы, — шепчет Гримальди.

— Потеряли часы, зато сохранили жизнь. Скажу вам, господин Гримальди, я был свидетелем, как такие операции длились более часа.

Гримальди переводит взгляд на Джеймса:

— Caro dottore.[38] Этот человек — орудие Господа.

В воздухе над своею грудью он чертит крест. Носильщики помогают ему натянуть бриджи и перебраться в портшез. Гримальди уносят, и он машет сквозь стекло ослабевшей рукой. Манроу достает бутылку «Фронтиньяка», последнюю из доставшейся ему доли добычи с французского капера, захваченного «Аквилоном» неподалеку от Бреста, и хранившуюся как раз для такого случая. В операционной Джеймс переодевается в прежнее платье и с удовольствием потягивается.

— Кажется, мой гонорар у вас, сударыня.

Он протягивает руку. Агнесса Манроу захлопывает крышку и передает часы Джеймсу, а когда

---

[38] Примечания: 38
Дорогой доктор *(ит.).*

он поворачивается к двери, вынимает из рукава платочек и, встав на цыпочки, вытирает каплю крови с его щеки.

— Мне никогда не приходилось встречать такого странного человека, как вы, Джеймс.

Джеймс думает, что бы такое ответить. Что-нибудь галантное, какую-нибудь фразу из романа или пьесы. Но романов он не читает, а те немногие пьесы, что он видел в «Друри-Лейн» или «Ковент-Гарден», не произвели на него почти никакого впечатления. Эта игра слишком утомительна, да и ум его все еще занят мыслями об операции на мочевом пузыре Гримальди, о том, как аккуратно удалось ему растянуть шейку, как мастерски он избежал попадания в артерию. Золотых часов за такую работу мало, а уж тем более «орудию Господа».

Он желает ей всего доброго и выходит. Она медлит, наблюдая, как кровь темнеет на дощатом полу. Содрогнувшись, улыбается. Колокола аббатства играют свою мелодию.

Гримальди поправляется. Лорд Б. посылает Джеймсу бриллиантовое кольцо, а следом друзей и знакомых. К середине лета, к вящей чести докторов, среди их пациентов числятся три баронета, генерал, адмирал, епископ, знаменитый худож-

ник и два члена парламента. Конкурентам это не по нутру. Господин Крисп особенно усердствует в распространении всяческих слухов, называя докторов цирюльниками и шарлатанами и утверждая, что старый Манроу не может утром подняться с постели без бутылочки портвейна, да и ночью тоже ничего не может. Наверное, ночью все хорошо получается у его юного протеже. Он подносит два пальца ко лбу и шевелит ими, ухмыляясь и получая ожидаемые смешки.

Но богатая госпожа Дейви перешла от Криспа к ним, за нею многочисленное семейство Робертсонов, которым Джеймс делает прививку от оспы. Три гинеи с каждого, сумасшедшая плата, однако господин Робертсон убежден, что жизни его дражайших чад будут целее в руках этого человека, даром что молодого, чем в руках любого другого хирурга в Бате. Манроу, конечно же, всегда рядом, следит за молодым доктором, смягчает его манеры и одобрительно кивает как человек многоопытный.

В газетах появляются объявления:

> «МАНРОУ и ДАЙЕР, хирурги, практикующие в Оранж-Гроув в городе Бате, просят позволения объявить о намере-

нии принять НЕБОЛЬШОЕ число НОВЫХ ПАЦИЕНТОВ по причине ЧАСТИЧНОГО и ПОЛНОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ больных, находившихся
на их попечении. ДЕЛАЕМ ПРИВИВКИ, УДАЛЯЕМ КАМНИ, а также ОПУХОЛИ, БОРОДАВКИ, ФИБРОМЫ, ВПРАВЛЯЕМ КОНЕЧНОСТИ, ЛЕЧИМ ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ. К нам предпочитают обращаться ЗНАТНЫЕ ГОСПОДА и все те, КТО ЖЕЛАЕТ ПОЛУЧАТЬ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ. К ДАМАМ у нас относятся с неизменной ПОЧТИТЕЛЬНОСТЬЮ».

Реклама, объявления — этими делами занимается Гаммер. Его длинную, потрепанную жизнью фигуру часто видят среди садов и итальянских аллей; он прогуливается под руку с каким-нибудь знатным господином, и тот кивает ему с улыбкой, отчасти позабавленный, отчасти польщенный обществом столь сведущего в земных делах пройдохи. Следить за оплатой счетов тоже входит в обязанности Гаммера. Он хорошо знает нужных людей, прекрасно умеющих способствовать скорейшей оплате счета: специалистов по части намеков и угроз, которые преподносятся с медоточивой улыбкой. А уж коли эти средства

не возымеют действия, то никогда не бывает недостатка в устрашающего вида типах, готовых за шиллинг целыми днями околачиваться у порога должника. И деньги текут: золото, серебро, большие красивые банкноты. А с ними вместе бочки с вином, рулоны материи, фамильные драгоценности.

Старая вывеска давно снята. На ее месте красуется новая — «Джеймс Дайер и Роберт Манроу, хирурги». Она свешивается с железного завитка над входной дверью, а внизу, в ее тени, движутся обитатели государства страдания: хронические больные и те, кого ужасный недуг поразил внезапно; чуть живых, их вносят на руках суетящиеся друзья. Большинство вновь выходят отсюда в прежнюю жизнь — если не полностью излеченными, то по крайней мере получившими облегчение и неизменно потрясенными искусством молодого врача и умиротворенными добротой пожилого. Некоторые, даже умирая, полны благодарности.

Когда Джеймсу исполняется двадцать один год, Манроу устраивает прием. Друзья и знакомые заполняют столовую на втором этаже, их потчуют говядиной и устрицами, бисквитными пирожными с ягодами, сбитыми сливками с

вином, шампанское течет рекой. Для них поет Гримальди, и его сладостный тенор льется из полуосвещенного дома, достигая слуха направляющейся домой компании, которая останавливается, заслушавшись.

После того как собравшихся по второму кругу обносят графинами с портвейном, Манроу бросает салфетку на стол и поднимается на ноги, чтобы сказать речь. На глазах у него слезы, ком в горле мешает говорить. «Мальчик мой, — произносит он, — мальчик мой», — и указывает на Джеймса, сидящего на другом конце стола, и среди гостей находятся такие, кто задумывается, уж не всерьез ли говорит Манроу, уж не связано ли появление Джеймса на свет с каким-то любовным приключением его молодости. Они разглядывают то одного, то другого, пытаясь обнаружить семейные черты. Может быть, рот? Или подбородок? Затем их глаза обращаются к Агнессе Манроу, и только самые твердолобые не видят произошедшей в ней перемены.

Она не знает, когда именно это началось. Быть может, в тот первый день, когда он, легкий и стройный, вошел в гостиную рядом с ее спотыкающимся супругом; или когда он говорил с ней через зеркало, когда она пришла позвать его к

Гримальди; или в один из тех дней, когда она смотрела, как он оперирует — а такое случалось весьма часто, — и лицо у него было словно водная гладь.

Она осторожна, боится выдать силу своего чувства, но жизнь ее уже исчисляется временем, прошедшим от одной встречи до другой, и течет от тревожного ожидания в отсутствие Джеймса до тревожной радости при виде его. С Манроу она ведет себя вежливо, гораздо вежливее, чем за все время со дня их свадьбы. Но чем старательнее она играет свою роль — роль хорошей, примерной супруги, супруги, не поддавшейся обаянию прекрасного молодого волка, которого они приютили у себя под крышей, — тем упорнее Манроу подталкивает ее к Джеймсу. Походы за покупками, балы, вечерние представления в театре, воскресные прогулки — все по его подсказке, сам же он отправляется в дом какого-нибудь дружка — Кента, Томаса или Осборна, — откуда возвращается хмельной в наемном экипаже или в портшезе и просиживает ночь в кабинете, подремывая, копаясь в старых книгах, что-то бормоча собаке. Кажется, он благодарен Джеймсу за то, что тот взял на свои плечи бремя его брака. Неужели он отдает ее Джеймсу в подарок? Агнесса знает

прекрасно, какой дурной была ему супругой — не пускала к себе в постель, укоряла в присутствии других, да, особенно в присутствии других. И все же в его чувстве к ней ни на минуту нельзя усомниться. Оно такое же большое и неуклюжее, как и сам Манроу. В спальне в лакированной шкатулке она хранит связку посвященных ей стихов, страстные строки, полные непонятных намеков. Хоть бы какой-нибудь знак, слово, сцена. Как может он ничего не подозревать? Как может не знать? Но она ждет напрасно.

Что до Джеймса, то в нем не заметно никакой пылкости, но его хладнокровие лишь сильнее воспламеняет ее, увлекая все глубже в пучину унизительной страсти. Она ничего не может с собой поделать. Вскоре ей уже безразлично, кто что видит, кто что знает, кто и о чем распускает слухи. Никогда прежде она не чувствовала такой свободы и такого чудовищного смущения. В ней открылись хитрость, сладострастие, решительность, о коих она и не подозревала. Ей не узнать себя самое. Отовсюду на нее веет головокружительной и неминуемой катастрофой.

В городе находят эту историю забавной. Ничто не развлекает так, как семейный фарс, а чем больше напускного бесстрастия и чем известнее его

участники, тем веселее. О чем думал Манроу, в его-то годы женившийся на молодой и своевольной девице, такой как Агнесса? Да еще пригласил к себе в дом этого странного Дайера. Половина женщин в Бате легли бы к нему в постель, особенно замужних женщин. Отвечает ли Дайер на ее страсть? Никто не знает, ибо оказывается, у него нет ни конфидентов, ни друзей, за исключением разве что этого прихвостня Марли Гаммера. Ну и, конечно, самого Манроу.

Новый 1762 год. От празднеств у Манроу вновь разыгралась подагра. Его уложили в постель, прописав ангостуру. Агнесса и Джеймс проводят вечера в гостиной у камина за чашечкой чая или за игрой в триктрак. Она расспрашивает о его жизни, он же ничего не рассказывает, вернее, ничего, во что бы она поверила. Агнесса сочиняет иную жизнь — для себя и для Джеймса. Жизнь, полную роскоши и богатства, с кудрявыми детишками по имени Джордж, Каролина или Эстер, с домом на Гроувенор-сквер в Лондоне и завистливыми соседями. Господи, а если ее супругу суждено умереть? Что тогда?

Джеймс обыгрывает ее «всухую» в триктрак, попивает свой чай, глядит на нее. Он понимает, чего от него ждут. Агнесса здесь, чтобы принадлежать

ему — очередной подарок щедрого мира. Когда чайник пуст, последняя игра закончена и свечи, хорошие восковые свечи с приятным ароматом, догорели до последнего дюйма своего бытия, он подходит к ней, целует в горячие губы и мнет ее тело, пока Агнессу не бросает в жар. Она откидывает назад голову, дрожит, отталкивает ногами карточный столик, доску, фишки, и они падают на черные и ярко-красные узоры нового ковра.

Она плачет, не в силах более сдерживаться: любит ли он ее? Как и она его, всем сердцем, безоглядно, навсегда, навсегда, навсегда?

Джеймс кладет на место доску, расставляет фишки на кожаных зубцах. Агнесса пребывает рядом с ним на коленях. Он не понимает, о чем она лепечет. Счастье это или испуг? Говоря откровенно, она словно пьяная. Он помогает ей встать на ноги и на все ее вопросы отвечает лишь «да», «да», «да», «конечно». Он вспоминает девочек-близнецов, жемчужные ожерелья и яйца вкрутую. Кажется, будто чей-то палец уперся ему в грудь. Он смотрит на миниатюрный портрет Манроу над каминной полкой, пытается сосредоточиться. Вот студия Молины, она освещена, свет играет в волосах спящих девочек. Палец давит сильнее. Похоже на кончик трости, только

горячей. Неприятное ощущение. Джеймс трясет головой, чтобы от него избавиться.

— Как ты чувствуешь себя, любовь моя? — спрашивает Агнесса.

Он отвечает что-то, сам не понимая своих слов, и направляется к двери. Лестница невероятно длинная. Он тащится вверх, держась за перила, бешено колотится сердце. Он боится, что не дойдет до своей комнаты. Слышится храп Манроу. Не голос ли это Каннинга? Каннинг?

— Чего же ты ожидал, Джеймс?

— Не этого!

— От этого не уйдешь, Джеймс. Даже ты не уйдешь. Особенно ты.

Он лежит в постели. В камине догорают огоньки. Ломит сжатую в кулак руку. Он раскрывает ладонь. В ней игральные кости от триктрака. Джеймс дает им скатиться на пол. Он лежит долго, сам не понимая, бодрствует или спит. Какие-то ощущения — дребезжание окна, треск огня — его не покинули, но вместе с ними возникают видения, словно дым, поднимающийся из мира иного. «У меня лихорадка. Я болен», — произносит он. Он чувствует, как выскальзывает из собственного тела; комната сияет, вся освещенная ярким светом, и, глядя вниз, он видит себя, лежащего на

кровати, Агнессу, стучащуюся в комнату мужа, ничего не видящее, одурманенное лицо Манроу, который выкарабкивается из своих сновидений. Одно ужасное мгновение ему кажется, будто он сам переживает чувства Манроу, всю глубину человеческого несчастья. Он пытается подавить их, барахтается в воздухе и обращается к новым кошмарам. Мужчины и женщины, шаркая, идут друг за дружкой в тумане, склонив головы на грудь, точно несут на спине какую-то огромную ношу. Впереди зловонная пропасть, из которой поднимается пар, она напоминает общую могилу в чумном городе. Те, кто идет первым, валятся в нее — одни с криком, другие с протяжным, как будто предсмертным, стоном. Некоторые бредут в молчании. Но вот один, диковато озираясь, замечает Джеймса, указывает на него пальцем и машет рукою, зазывая с собой. Очередь останавливается, прочие тоже глядят на Джеймса, двое расступаются, чтобы дать ему место, и чей-то голос кричит: «Здесь твое место, Джеймс Дайер!»

То, что произошло в гостиной, больше не повторяется. Следующие несколько месяцев его сила и поразительная способность сосредоточиться становятся сильнее, чем прежде, как будто тот случай способствовал еще большему их про-

явлению. Несмотря на настойчивые уговоры Манроу почаще отдыхать, Джеймс трудится не покладая рук. Он строит планы покупки здания на Гранд-Пэрэйд и устройства там частной лечебницы. Через полгода состоится ее открытие с китайскими фонариками и концертами. Верхние этажи предназначаются для прививок, а на первом устроен операционный зал — не хуже, чем в лондонских больницах, — вмещающий тридцать посетителей, коим за умеренную плату разрешено смотреть, как Джеймс Дайер режет, рассекает, шьет себе путь к славе.

На операции Манроу тоже можно взглянуть, уже бесплатно, но чаще всего доктора встречают у реки. Он прихлебывает из фляги, кормит лебедей куском пирога или дремлет где-нибудь на припеке — парик набекрень и шляпа на глазах. Иногда его сопровождает жена, она сидит в отдалении, нетерпеливо листая роман или, нахмурившись, рассматривая окрестные холмы, но развязку драмы — скандал, дуэль, стремительный отъезд — покамест еще трудно вообразить. Госпожа Воэн, чьи суждения в делах такого рода непререкаемы, объявляет, будто супруги Манроу и Джеймс заключили соглашение, что весьма недостойно для людей их положения в

обществе, — как если бы дочь фермера вздумала учиться играть на клавесине. Манроу, судя по всему, отступил перед неизбежным. Что же касается госпожи Манроу, то она выказала себя совершенно бесстыжим созданием, и дамы Бата просто обязаны ее презирать. Джеймс Дайер… он и на человека-то не похож. Машина для кромсания плоти. Заводной механизм. Очень опасен.

— Опасен? — вопрошают дамы, и их руки, держащие иголки, застывают в воздухе.

Госпожа Воэн склоняет голову набок:

— Похоже, он родился лишенным души. Тогда разве ему есть что терять?

17

Больные приезжают из Бристоля, Эксетера, Лондона. В Гранд-Пэрэйд Джеймс и Манроу покупают еще одно здание. Джеймс совершенствует свое мастерство, создает новые инструменты: зонды, хирургические щипцы, замысловатые ножницы. В верхних комнатах новой больницы он пользует жертв сифилиса препаратами ртути. Одетые во фланелевые халаты, люди лежат в маленьких палатах с воспаленными от ртути деснами, сплевывая в горшки слюну — от одного до полутора литров в день, — покуда не излечиваются или не прекращают лечение за невозможностью его переносить.

Это лечение слюноотделением и вакцинации, проводимые в другом здании, в 1764 году приносят Джеймсу четыреста пятьдесят фунтов. А коли добавить к ним камнесечение, ампутации и вправление конечностей, то его доход достигает около семисот.

Зимою 1764 года он предлагает жителям Бата новую услугу, в коей заложена еще большая прибыль. Он делается повивальной бабкой, *акушером,* после того как однажды ночью был

призван спасти жизнь роженицы. Некая госпожа Поттер мучилась родами уже три дня, и при ней неотлучно находились доктор Бэкс и господин Крисп. На третий день вечером Бэкс, почесывая подбородок золотым набалдашником трости, решает, что помочь женщине нет более никакой возможности. Оказаться же у постели той, кто вот-вот умрет, означает подорвать свою репутацию. И он передает роженицу заботам господина Криспа, который остается наблюдать, радуясь, что теперь у него развязаны руки. Он просит господина Поттера выйти с ним на лестницу и шепотом, разнесшимся по всему дому, рекомендует прекратить жизнь младенца, оставив его тело в материнской утробе на два-три дня, с тем чтобы оно достаточно размягчилось, после чего они могли бы извлечь его. У него имеется стальной крюк, довольно длинный, которым он и ранее пользовался весьма успешно. Таким образом удастся спасти жизнь матери, то есть, возможно, удастся спасти, ибо ничего утверждать наверное он не может: все мы в руках Божьих, да и конституция дамы и прочее и прочее. Подобные случаи, сударь, не вселяют больших надежд, они крайне неопределенны. Господин Поттер в ужасе хватает Криспа за грудки и трясет что есть силы:

— К черту ваши крюки! К черту вашу беспомощность! — Он подбегает к верхним ступеням лестницы и кричит вниз слуге: — Привезите сюда Дайера!

— Дайера? — восклицает господин Крисп. — Этого шарлатана?!

И удаляется с перекошенным от гнева лицом.

— На свою голову, сударь! — кричит он из окна экипажа. — Я умываю руки! Это безумие, сударь! Неслыханное безрассудство!

Джеймс приезжает в три часа ночи. Погода, и без того скверная, за ночь обернулась настоящей бурей. К утру непременно будет сорвано несколько дюжин труб, да и теперь уже черепица, свистя, падает с крыш в темноту. Не видать ни луны, ни звезд. Окна и двери наглухо закрыты во всех домах. Во всех, кроме одного.

Господин Поттер ждет в столовой, держа у окна лампу. Выпив полбутылки бренди, он чувствует, что никогда еще в жизни не был так трезв, так ужасающе рассудителен. Он замечает мерцание фонаря посланного за доктором слуги, потом неясные очертания коней с опущенными головами.

Как только Джеймс входит в обшитую панелями прихожую, захлопнув плечом дверь, само его

присутствие, естественная точность движений успокаивает домашних. Он поднимается по лестнице с саквояжем зеленого сукна в руках. Он не желает торопиться.

Господин Поттер видел его лишь однажды издалека, находясь в дальнем конце внутреннего двора аббатства. Шел дождь, и Дайер укрылся у западных дверей со своим другом — а может, слугой? — Марли Гаммером. Ждал кого-то или чего-то. На него указала ему госпожа Поттер. «Вон тот человек», — сказала она. Как раз тогда она только что узнала о своей беременности.

Джеймс открывает дверь. Комната роженицы. Больной. Умирающей. Очаг забит дровами. В жарком, перегретом воздухе трудно дышать. Вокруг кровати сидят три женщины. В самой старшей Джеймс признает госпожу Аллен, про которую говорят, что она обладает сверхъестественными способностями и знается с нечистой силой. Ее присутствие явственно свидетельствует об отчаянии Поттера. Она что-то напевно бормочет над лежащей на кровати женщиной. Услышав шаги Джеймса, замолкает. Оборачивается к нему:

— Явился ее прикончить?

Джеймс обращается к господину Поттеру:

— Если вы желаете, чтоб эта ведьма осталась,

велите ей молчать.

Он склоняется над госпожой Поттер. На мгновение их глаза встречаются — ее смотрят из бездны страдания, его отвечают с бесстрастием двух лун. Руки Джеймса ложатся ей на живот. Женщина вздрагивает от холода его пальцев. Это ее первый ребенок, и она шепчет: «Не убивайте его, сэр». Джеймс отбрасывает одеяла. Ощупывает, сжимает и принимает решение. Подходит к господину Поттеру со словами: «У нее узкий таз, потому ребенок и не может выйти. Есть способ спасти и ее, и младенца. Но мне придется ее разрезать».

— Разрезать?

— Как мать кесаря. Разрез брюшной полости.

— Разрез?

— Именно так, сэр. Мы разрежем живот и вынем младенца. Это нужно делать быстро. Если вы не согласны, то я оставляю вас наедине с заклинаниями госпожи Аллен. Конечно, вам придется заплатить за вызов.

— А если разрежете, то спасете обоих?

Джеймс пожимает плечами. Он хочет сделать эту операцию, уверен, что справится, хоть никогда ничего подобного не делал и даже не видел, за исключением разве что операции на кожаной кукле, которую демонстрировал господин Смел-

ли во время лекции по акушерству в Лондоне тому уже шесть лет. Ему также известно, что люди его профессии дружно осуждают этот способ, ибо он почти ничем не отличается от убийства матери. Кроме того, он ни разу не слышал, чтобы такое дело закончилось успешно.

— Вы согласны?

Глаза господина Поттера заволакиваются слезами.

— Ничего другого не остается?

Джеймс смотрит на госпожу Аллен, потом снова на Поттера, поднимает брови. Поттер соглашается.

— Уберите отсюда этих женщин, — приказывает Джеймс. — Нет, вон ту оставьте. — Он указывает на одну помоложе. В ней чувствуются сила и спокойствие. Видно, что не трусиха.

— Принесите воды, теплой воды, вина и свежее белье.

Джеймс снимает кафтан, открывает саквояж, выбирает нужный скальпель, быстро осматривает розовую кожу живота, затем, не раздумывая, делает вертикальный разрез от пупка до лобковых волос. Госпожа Поттер вопит и что есть силы бьет его маленьким белым кулачком в левое ухо. Он смеется, но на нее не глядит.

— Пожалуй, это хороший знак, — говорит он. — Теперь держите крепче. Мне нужно быть крайне осторожным. Только толкните скальпель, миссис Поттер, и умрете от потери крови.

Он разрезает мышцы брюшной стенки, раскрывает брюшную полость, потом делает поперечный разрез справа налево в нижней части матки. Позади него слышится грохот — господин Поттер не перенес этого зрелища: руки незнакомца, запущенные в растерзанный живот его жены. Ребенок, кажется, намерен сопротивляться, бороться со столь ужасным вторжением. Он бьет Джеймса своими ножками, хватает его за руки пальчиками, тонкими, как стебли ромашки, жмется к кровавому материнскому нутру. Наконец удается его извлечь, мокрого от околоплодных вод. Джеймс передает младенца своей помощнице, перевязывает и отрезает пуповину, вынимает плаценту и бросает ее на дощатый пол, где прятавшаяся под кроватью собака, высунувшись, осторожно берет ее зубами. Джеймс зашивает мать стежками, которые некогда так хвалила мисс Лакет. Удивительно, но госпожа Поттер еще жива.

Молодая женщина заворачивает ребенка в шаль.

— Что мне с ним делать? — спрашивает она. — Дать ему поссета?

— Делайте что хотите, — отвечает он, оглядывая комнату.

На полу стонет отец, мать лежит в беспамятстве на кровати, младенец пищит в неловких руках молодой помощницы. Джеймс вытирает скальпели.

— Скажите ему, чтобы заплатил не мешкая.

Женщина хочет что-то ответить, но доктора уж и след простыл.

18

Роберт Манроу словно медленно пробуждается от долгой спячки. Или же, как ему кажется, он похож на человека, ищущего самого себя в темном лесу. Он не спешит, ибо боится того, что ждет его впереди, боится, что ему не хватит духа.

Никогда он еще не испытывал такой нежности к жене. И конечно, не осуждает ее. В ней зародилась страсть, которую не сумело побороть слабое чувство долга. Сам он и виноват. Кто, как не он, свел их вместе? Сера и трут. Все можно понять и даже оправдать. И если бы он знал, что Джеймс Дайер любит его жену, что он испытывает к ней искреннее чувство, то они и в самом деле могли бы прийти к какому-нибудь соглашению. Но Дайер ее не любит; она для него как платье — то наденет, то снимет, когда захочет. А это чудовищно, куда хуже, чем предательство дружбы — хотя, сказать по чести, со стороны Дайера никакой дружбы и не было, — куда хуже, чем преследующие его картины их совокуплений, звуки, от которых он просыпается, ужасный шум, говорящий скорее не об удовольствии, а о глухом отчаянии ребенка.

Что ему следует предпринять? Убить Джеймса? Убить обоих? Он бы за такое повесил, но какой в этом смысл? Больше всего он боится, что не выдержит главного испытания своей жизни. Предаст самого себя. Агнессу. Всех прочих. Ему чудится шепот: «Возьми шпагу, Манроу!», но его руки и ноги словно налиты свинцом, а кровь уже не так резво течет по жилам. Как хорошо просто спать в своем любимом кресле в кабинете с опущенными шторами и одной-единственной свечой. Где-то далеко звенят колокольчики, слышны шаги. Спать все утро, спать завтра и послезавтра. Спать без конца.

Хлопает дверь. Поднявшись, он подходит к окну и видит их удаляющиеся спины. Что там сегодня? Очередной бал, благотворительный концерт, прогулка у реки? Он поднимается в свою комнату, бессмысленно стоит минуту-другую, потом придирчиво выбирает костюм, переодевается и вновь возвращается в кабинет. На часах половина девятого. Чаудер сидит на полу и глядит на него черными просящими глазами. «Хорошая собачка», — говорит Манроу, наливает себе последнюю рюмку и прислушивается снова и снова, пока они вовсе не лишаются смысла, к тем словам, которые звучат у него в голове, словам,

которые ему предстоит сказать.

Джеймс и Агнесса отправились в театр на Орчард-стрит. От Оранж-Гроув идти совсем недалеко, и нет нужды брать новую коляску. В театре многолюдно и шумно. Мохнатый плюш, желтые грибочки света на зажженных люстрах. Пришедшие окликают знакомых, господа предлагают друг другу табаку, дамы с набеленными лицами взирают вокруг, поглаживая взятые напрокат бриллианты и легонько постукивая веерами. В воздухе витает ощущение ужасной скуки, словно ничто в мире не может выйти за рамки общепринятой нормы, светского поведения, предсказуемых поворотов интриги. Нет ни вызова, ни противостояния.

Джеймс с Агнессой усаживаются в ложу. Она кормит его цукатами и по ходу представления спрашивает, почему такой-то герой сделал то-то и то-то, не мистер ли Льюис сидит внизу и не находит ли он, что актриса в красном в высшей степени безобразна. Может, он съест еще одну черносливку?

Пьеса нисколько не интересует Джеймса. Он смутно воспринимает персонажей, резвящихся среди намалеванных деревьев, чьи-то голоса, смех и шиканье публики. Стычка, примирение.

Песня. Шутка по поводу городского совета. Шутка по поводу Уилкса. Еще песня. Возлюбленные умирают, затем оживают. Кто-то кого-то узнал. С колосников, сидя на облаке, спускается человек и бросает в зрителей бумажные цветы. Все хлопают как сумасшедшие и стучат ногами так, что весь театр сотрясается. Как все бессмысленно. По-детски глупо. Что может здесь нравиться?

Они ужинают неподалеку жареной рыбой и вареной бараниной, приправленной соусом с каперсами, и идут назад сквозь влажную прохладу к Оранж-Гроув. Джеймс устал. Утром ему предстоит ампутировать у женщины ногу, потом сделать полдюжины прививок и наконец поехать в Маршфилд осмотреть фермера, чье ружье выстрелило владельцу прямо в лицо. Агнесса что-то щебечет о саде, шляпке, подруге, о происшествии на прошлой неделе, которое ее поразило или не поразило, а может, расстроило или рассмешило. В дом их впускает служанка Дина, которая смотрит на них как-то странно.

Открывается дверь в кабинет, и в проеме появляется Манроу. Он одет так, словно ожидает знатного посетителя. Он не похож на шута или рогоносца.

— На два слова, Джеймс.

— Уверен, что это можно отложить до утра.

— Нет, сударь, нельзя.

Джеймс уже ступил на первую ступеньку лестницы. Ему всегда было так просто не замечать Манроу. Но не теперь. Он поворачивается. Между ним и Манроу, сжав в кулаке свечу, стоит служанка.

Агнесса застывает в тени у входной двери.

— Роберт? — шепчет она.

— Доброй ночи, Агнесса, — произносит Манроу.

— Прошу вас, говорите короче, сударь.

Отступив, Манроу пропускает Джеймса в кабинет и притворяет дверь. Агнесса смотрит на дверь, потом на Дину. Та принимается плакать.

Давно не был Джеймс в кабинете. Уже несколько месяцев Манроу не разрешает слугам сюда заходить, боится, как бы они не нарушили хрупкий беспорядок его бумаг. Рядом с разнообразными стульями и креслами сложены стопки книг, а под стульями свет выхватывает забытые рюмки, пустые бутылки. На письменном столе лежат изрядно перепачканные чернилами листы бумаги. У подноса с песком — очки, в которых не хватает одной линзы.

— Я предложил бы вам сесть, Джеймс, но, бо-

юсь, этот разговор лучше вести стоя.

— К делу, сударь.

Манроу глубоко вздыхает:

— К делу так к делу. Все дело в том, сэр, что вы оскорбили меня. Злоупотребили моим расположением. В моем же доме. Вот уже несколько лет. Я знаю, в этом виноваты не вы один. Часть вины лежит как на мне, так и на моей супруге. Вы сильный, мы же люди слабые, что весьма прискорбно. Я заслужил ваше презрение. Знаю, вы не терпите длинных речей. Вы человек действия. Замечательный человек в своем роде, да… и прекрасный хирург…

— К делу, сударь!

Манроу вспотел. На кафтане под мышками появились темные разводы, похожие на очертания континентов с географической карты.

— Ваши бесчинства в моем доме закончены, Джеймс. Вы дадите мне удовлетворение как можно скорее. А пока уезжайте отсюда. Завтра утром к вам придет мой секундант. Думаю, вы не в первый раз участвуете в подобного рода делах, так что порядок вам известен. Это все.

Поклонившись, Джеймс говорит:

— Вы будете удобной мишенью, мистер Манроу. Желаю вам доброй ночи.

В сумерках на следующий день Джеймс возвращается из Маршфилда. Фермер умер. Повернув к Гранд-Пэрэйд, он замечает мистера Осборна, стоящего у перил лестницы, и подъезжает к нему. Осборн, сухо поздоровавшись, говорит:

— Я не смог переубедить его. Однако извинения и обещания никогда не видеться с миссис Манроу, возможно, будет достаточно.

— Я получил вызов, сэр. Стану я видеться с миссис Манроу или нет, не имеет до этого никакого касательства.

— Если вы убьете его, Дайер, вас арестуют. Одумайтесь. История эта закончилась. Вы молоды, можете куда-нибудь уехать и жить в довольстве и достатке. Чего не скажешь о Манроу. Вы не оставили ему путей к отступлению.

— Он избрал вас своим секундантом?

— По чести, я не мог ему отказать.

— Значит, это дело чести, не так ли?

— Именно так.

— Стало быть, вы пришли сообщить мне, где и когда его честь требует удовлетворения.

— Лэнсдаун. Вверх по дороге на вершину холма. Я буду ждать вас там. Завтра в шесть часов утра. Если один из противников будет смертельно ранен, другому предоставляется день, чтобы

скрыться из города.

— Чем мы должны убивать друг друга?

— Я принесу пару пистолетов.

— И зарядите в моем присутствии.

— Несомненно.

— В таком случае нам больше нечего сказать друг другу.

Он встает в пять, ест легкий завтрак и оставляет мистеру Тимминсу, личному секретарю и ассистенту, письменное сообщение о том, что он не сможет принимать сегодня новых больных.

Едет верхом по почти пустому городу. Двое молодых людей в беспамятстве бредут домой после ночной игры и попойки. На Квин-сквер пастух гонит из города стадо коз. Молочница сидит на перевернутом ведре и заплетает косу. Обычное утро. В воздухе уже пахнет осенью.

Джеймсу приходилось стреляться дважды, оба раза в Лондоне и оба раза с однокашниками, хотя что именно было причиной тех ссор, он уже и не помнит. В первый раз пистолеты оказались испорчены, похоже, что кем-то из секундантов. В другой пуля Джеймса вошла противнику в плечо. Тогда с ними в саду было еще с десяток студентов, и недостатка в желающих удалить пулю не наблюдалось. Впоследствии поднялся страшный

шум, но не надолго, и о деле этом вскоре забыли. Два молодых человека, поссорившихся в саду таверны, никого особенно не интересовали.

На холме Лэнсдаун-Хилл Джеймс, неожиданно обернувшись, глядит на город, на прильнувшие к аббатству домики, из труб которых тянется дымок, на безмятежно переливающуюся на солнце реку. На короткое мгновение ему приходит в голову, что всего этого можно лишиться, что, убив Манроу, он должен будет бежать — во Францию или, быть может, в Голландию. Джеймс внутренне содрогается. Ему совсем не хочется убивать Манроу, он не питает к нему никакой вражды. И уж конечно, он не стреляется ради Агнессы. Пусть себе Манроу забирает ее обратно. Он убьет Манроу из-за его же глупости, из-за этого наглого вызова. Что он себе позволяет? Эта нелепая сцена в кабинете! Нужно было отходить его как следует там же, на месте, и все. А эти дуэли всегда так занудно обставлены.

Впереди на дороге появляется Осборн и поднимает трость. Когда Джеймс подходит, он с удивлением спрашивает:

— Вы один?

— Как видите, сэр. Где мой противник?

— Пожалуйте сюда.

Он ведет Джеймса сквозь просвет меж деревьев, потом через старые каменные ворота со сломанным украшением на верхушке одного из столбов.

— Что это за место?

— Здесь некогда был сад, — отвечает Осборн.

В противоположном конце сада у тюльпанного дерева его ждут Манроу и еще какой-то человек. Осборн подходит к ним, затем возвращается вместе с Манроу. Джеймс спешивается.

— Доброе утро, Джеймс, — говорит Манроу, все такой же собранный и полный спокойного отчаяния.

— Я прошу вас обоих, — говорит Осборн, — отказаться от этого совсем не христианского дела. Хоть оно и зашло столь далеко, все же можно достичь какой-то… договоренности. Что вы на это скажете?

— Ежели мистер Манроу заберет свой вызов, — отвечает Джеймс, — я не стану его убивать.

— Я не могу забрать вызов, сэр, — произносит Манроу. — Оскорбление слишком велико.

Джеймс пожимает плечами:

— Для вашего же блага, сэр, надеюсь, что рука ваша тверже держит пистолет, чем скальпель.

Осборн подает знак стоящему в отдалении че-

ловеку принести ящик, открывает его, заряжает оба пистолета и протягивает их Джеймсу. Джеймс выбирает тот, что в левой руке. Великолепное оружие с кремневым замком: вороненый восьмигранный ствол, золотое затравочное отверстие, рифленая рукоятка. Курок взведен.

Другой пистолет достается Манроу. Повернувшись, они проходят несколько шагов.

— Обождите минуту, — просит Манроу.

Он передает свое оружие Осборну, снимает камзол и жилет.

— Нет нужды беспокоиться, что вам в рану попадет ткань, сэр. Я буду целить в голову.

Ответа нет. Манроу берет пистолет. Осборн отходит в сторону и спрашивает:

— Готовы, господа?.. Тогда стреляйте!

Почти сразу же следует выстрел Манроу. Вспышка, облачко дыма, грохот, разнесшийся на мили вокруг.

Джеймс поднимает пистолет. Он чувствует себя на редкость хорошо этим утром. Подтянут. Способен на все. Он не думает о том, убьет он Манроу или не убьет. Он просто наводит пистолет на цель и нажимает на спусковой крючок. Манроу поворачивается на цыпочках и валится в траву. Осборн бежит к нему.

— Убит? — спрашивает Джеймс.

— Не думаю, — отвечает Осборн.

Джеймс направляется к ним — ему любопытно, какова рана. Смотрит вниз. Осборн держит на коленях голову Манроу, вытирая ему лицо покрасневшим от крови платком. Глаза раненого закрыты, но дыхание слышится явственно. В середине лица месиво — рваная рана, торчащая кость.

— Придется снабдить его новым носом. Отвезите его в дом. Я осмотрю его там.

— Осмотрите его?

— Да, сэр. Неужто вы забыли о моей профессии?

Джеймс бросает пистолет на траву рядом с мистером Осборном, желает всем доброго утра и уходит из сада, ведя под уздцы свою лошадь.

Мужа Агнессы Манроу вносят в дом.

— Джеймс ранен? — спрашивает она.

Осборн качает головой и, осторожно маневрируя с раненым по лестнице, бормочет:

— Это тебя им следовало бы застрелить.

Рана затягивается. Джеймс перевязывает ее ежедневно, заглядывая в открытую полость головы и делая зарисовки, с которых позднее закажет

оттиски. Оба молчат. Манроу не разговаривает четырнадцать дней, когда же он произносит первые слова, его голос кажется таким же искалеченным, как и лицо. Как ни странно, единственный, кто в силах разобрать, что он говорит, — это Джеймс Дайер. Навещая больного, его друзья испытывают недоумение и разочарование. В поведении Джеймса нет ни капли раскаяния, как нет ни капли обиды в поведении Манроу. Они ведут себя словно соучастники одного преступления — обычно подобные отношения связывают любовников или людей, некогда желавших друг другу смерти. Агнессу не замечают. Она бродит по дому в потрепанном платье, изливая жалобы лишь самой себе и выпивая одну за другой чашку дорогого обильно подслащенного шоколада.

Нос по рисункам Джеймса смастерил часовых дел мастер с Пьерпонт-стрит. Он легок, сделан из полированной слоновой кости и прикрепляется к очкам Манроу. Проходит несколько примерок, прежде чем Джеймс удовлетворен. Манроу сидит в постели и разглядывает себя в зеркало. Он возвращает зеркало Джеймсу, и в глазах его стоят слезы.

— Он переживет вас, сударь, — говорит Джеймс, — на много лет. Ему суждена жизнь

дольше вашей.

На что Манроу отвечает:

— Нишколько не шомневаюшь. Жамечачельная конштрукчия. Я ошень благодарен вам, шэр.

В его словах нет иронии. Он протягивает Джеймсу руку, и они обмениваются рукопожатием.

19

В продолжение трех месяцев навещающие Манроу друзья наблюдают, как два доктора ведут себя точно старая супружеская чета. Нет, Джеймс вовсе не пытается подольститься к Манроу. Ни на йоту он не изменил себе: жесткий, упорный, тщеславный, поразительно работоспособный. Ничто в его поведении не свидетельствует о пробудившейся жалости или раскаянии. И все же их часто видят прогуливающимися вдвоем — иногда они беседуют, чаще пребывают в молчании. В сумерках, без определенной цели, бродят по городу.

Достаточно одного их появления, чтобы люди выходили поглазеть на них из магазина или из кофейни. Детям и приезжим беззастенчиво показывают пальцем на искусственный нос. Много судачат о том, носит ли Манроу этот нос дома, в постели, теряет ли, не падает ли он с лица, случись Манроу застегивать пряжку на туфле. Больно ли ему? Что, коли он простудится? Сам же Манроу, похоже, удивительно легко к нему приспособился — даже почесывает его время от времени.

Агнесса толстеет и понемногу сходит с ума,

беспрестанно зовет Чаудера, злобно смотрит на прохожих, которых подозревает в оскорбительных замечаниях в свой адрес. Ее вид внушает жалость и одновременно удовлетворение. Далеко не один проповедник намекает с кафедры на ее историю. И, наклонившись к пастве, потрясает Библией. Вот вам Божий суд! Божий гнев!

И руки прихожан сжимают в воздухе воображаемые камни.

Наконец проповедники получают желанную пищу. Сретение 1767 года. На улицах пахнет дымком и морозом, ночное небо изукрашено звездами, словно богатой чеканкой. Джеймс только что трепанировал молодого человека, получившего удар лошадиным копытом по голове. Выдержавший Джеймсово сверло больной передан на руки друзьям — слабый, плохо соображающий, но определенно живой, и поразительной красоты женщина целует Джеймсу руку, несмотря на оставшиеся у него на пальцах кровавые пятна. Спрятав полученные деньги в сундук в подвале, Джеймс облачается в камзол и едет в Оранж-Гроув.

Там в гостиной у огня сидит Гаммер, сдирая поджаренную булочку с зубьев металлической вилки. Они глядят друг на друга без слов. Джеймс

звонит в колокольчик, вызывая служанку, которая теперь помолвлена с преуспевающим булочником с Трим-стрит. Джеймс велит принести ужин и ест его, сидя с подносом в гостиной. Над головой он слышит бормотание Агнессы, вопрошающей о чем-то пустые стены комнаты. Гаммер отправляется вершить свои темные, подозрительные делишки. У огня, испуская газы и подрагивая, лежит свернувшийся клубком Чаудер.

К полуночи Джеймс удаляется к себе наверх и, натянув ночную рубашку и колпак, ложится под одеяло, намереваясь заснуть. Но сон не идет. Он ждет с нетерпением, ибо не привык просто лежать в постели, как это случается с теми, кто страдает бессонницей. Его коварно подстерегают видения, чудятся бесконечные вправления костей, стук сердца отдается по всей кровати. Он утрачивает всякое ощущение времени, слышит крик дозорных, но не понимает, который теперь час. Два часа или, быть может, три?

Вдруг до него доносится шум. Совсем негромкий. Откуда-то с первого этажа. Что-то как будто упало. Наверное, Гаммер споткнулся в темноте об ножку стола или Дина, неловко ступая от чрезмерных предосторожностей, пытается

проскользнуть незамеченной, вернувшись с Трим-стрит. И все же внутреннее чутье говорит ему, что звук этот не столь уж невинен, что он — свидетельство какого-то несчастья. Джеймс вскакивает с постели и, стоя неподвижно, прислушивается.

Тянется к трутнице, что стоит рядом с кроватью, зажигает свечу и, на всякий случай захватив с собой трость, выходит на лестницу. Ежели там внизу какой-то жалкий ублюдок набивает чужим добром свой мешок, то неудачно же он выбрал и дом, и время. Но, спускаясь по лестнице с тростью наготове, Джеймс и сам не верит в это предположение, и его ничуть не удивляет, что нижние комнаты стоят холодные, нетронутые, пустые. Все, за исключением кабинета Манроу, из-под двери которого пробивается неровный свет. Оттуда доносится запах гари, словно Манроу или кто-то другой жжет там какую-то материю.

Отворив дверь, Джеймс видит сразу две вещи: огонь, не успевший еще как следует разгореться на том месте, где на ковре лежит сбитая свеча; и Манроу, который стоит в воздухе в углу комнаты, а под ногами у него валяется опрокинутый стул. Камзол доктора сложен на кресле у письменного стола. Джеймс швыряет его на

пламя, затаптывает огонь и открывает окно. Когда дым рассеивается, он осматривает Манроу и удостоверяется, что тот мертв. О, эти истории о повешенных, оживших прямо на столе в морге! Как это могло бы быть увлекательно! Манроу, однако, не суждено воскреснуть до Страшного суда.

Джеймс подумывает, не отрезать ли веревку, но покойник настолько тяжел, что веревка, обхватившая шею, натянулась туго, словно морской трос. Покойник подождет до утра. Джеймс берет свою свечу и замечает на столе, рядом с полдюжиной конвертов, запечатанных красным сургучом, очки и искусственный нос Манроу.

На похоронах Джеймс не присутствует. Он отправляется осматривать женщину в родильной горячке. В мире Джеймса людей обычно сбрасывают в яму с известкой или же, как Грейс Бойлан, выпихивают сквозь пушечный порт с ядром на ногах. Только что человек был тут, и его уж нет, да и ничего нет, кроме моря. Никто не обряжает покойника, никакой траурной мишуры.

Официально объявлено, что Манроу умер от сердечного приступа, но правда все равно выходит наружу, и уже через две недели от Тонтона до Глостера люди говорят, что Роберт Манроу повесился или застрелился, а может, даже и

отравился. Довели же его до такого конца родная жена и этот мерзавец Дайер. Кажется, будто все ожидали подобного исхода.

Три дня спустя после похорон Агнессу проводили шиканьем, когда она шла с Диной по внутреннему двору аббатства. Целый месяц она более не выйдет из дома.

Через неделю, приехав в Гранд-Пэрэйд, Джеймс видит, что на первом этаже здания выбиты все стекла. У дверей его встречает господин Тимминс, который объясняет, что не может продолжать работать при таких обстоятельствах и потому, к величайшему сожалению, с неизменным почтением… Джеймс вышвыривает его на улицу, выметает осколки, зовет стекольщика, который уже через час принимается за работу.

С Джеймсом не желают знаться. Практика в упадке. Вскоре лишь только те, кого не заботит, что подумают люди, чьи помыслы сосредоточены на избавлении от невыносимой боли и кто хранит в душе, как драгоценный секрет, репутацию Джеймса Дайера — не человека, но хирурга, — приходят к нему за помощью.

Те же, чье положение менее серьезно, кто пока еще может себе позволить не отказываться от светской жизни, обращаются к господину Кри-

спу, человеку в своем деле сведущему, либо к господину Фарбэнку, господину Боузу, либо к любому из десятка других, кто с гордостью может предъявить докторский диплом и держать в руках скальпель и кто не раз поднимал свой бокал с проклятиями в адрес Джеймса Дайера. Теперь их желание сбылось. Дайеру скоро не поздоровится. Уж мы поглядим, поглядим.

Март. Град камней обрушивается на спину Джеймса, когда поздно вечером в темноте он возвращается в Оранж-Гроув. Той же ночью разбиты новые окна в Гранд-Пэрэйд.

Апрель. Всего четверо новых пациентов за месяц. Дина и повар просят расчет. Замену, однако, трудно найти. Агнесса все чаще остается в постели, лежит среди прокисшего белья, обнимая невидимый силуэт своего покойного мужа. К ней Джеймс не заходит. Они живут в доме как чужие.

Любители шикать и швырять камни ведут себя все более дерзко. Как-то раз Джеймс задремал в седле по дороге домой из долины Святой Екатерины, где навещал больного, но стоило ему открыть глаза, как он видит, что дорога перекрыта четырьмя неизвестными, вооруженными палками, с лицами, замотанными в шарфы. Один из них

бросается вперед, чтоб нанести удар. Джеймс бьет его ногой по голове, и тот катится по дороге. Но тут поспевают другие, один хватает лошадь под уздцы, и Джеймса стаскивают на землю. Стычка длится недолго почти в полном молчании. В драке Джеймс никогда не испытывал ни угрызений совести, ни страха. Он метит хлыстом в глаза и в горло, но все же четверо — это слишком много. Они одолевают, забивают его палками. Будто сквозь туман, он чувствует, что над ним наклоняются и, тяжело дыша, что-то шепчут. Потом слышит, как они удирают. Более ничего.

Когда он приходит в себя, уже светло. Желтоватая заря. Сильный дождь. С обочины дороги на него поглядывает ворона. Но как только замечает, что он пошевелился, то сразу же подпрыгивает и, тяжело взмахивая крыльями, улетает в сторону блестящей от дождя долины. Под дубом прячется лошадь, она стоит неподвижно, под стать дереву. Медленно-медленно Джеймс забирается в седло. Не многие стали свидетелями его возвращения домой, но их было достаточно, чтобы новость разнеслась по городу: негодяя вздули как следует! Хоть малая толика справедливости воздана бедному старому Манроу.

Увидев Джеймса в Гранд-Пэрэйд на следующее

утро, Гаммер качает головой, смеется, потом приносит еду и вино. Полосы, ссадины, отпечатки сапог на спине, руках и ногах сначала покрывают тело Джеймса яркими пятнами, потом бледнеют, сливаясь с цветом кожи. Джеймс сам промывает себе раны, накладывает компрессы, работает иголкой и ниткой. Не проходит и двух дней, как он уже может ковылять, опираясь на трость. Через четыре он поправляется, осматривает тех немногих больных, что остаются в прививочных палатах и в палате для сифилитиков, вырезает ребенку загноившиеся миндалины. Тех, кто напал на него, не разыскивают. Он о них даже не вспоминает. Все это его не заботит. Он Джеймс Дайер. И даже враги зовут его удивительным, великолепным. Страдания он не испытывает. Но впервые за три или четыре года он открывает старый ящик с планетарием и с удовольствием разглядывает его содержимое, вспоминает самого себя в Блайнд Ио, мальчика, уверенного в своем величии.

Планеты не подвели. Пятнадцатого дня мая 1767 года Джеймс получает письмо из Лондона от доктора Фодергилла:

Мой дорогой Джеймс!

Хоть вы и решили забыть своего бывшего наставника, он вас не забыл. Я по-стариковски получаю удовольствие, следя за успехами своих самых талантливых учеников, и мне сообщили из весьма надежных источников, что вы употребляете свои способности по назначению с большим успехом на западе страны. Насколько я знаю, вы делали прививку против оспы, а это крайне важное средство, которое еще внове.

Господин Пускин, русский посол в Лондоне, сообщил о том, что императрица Екатерина желает сделать себе таковую прививку в качестве примера для своего народа и тем самым уменьшить распространение бедственного недуга в своих землях. С этой целью она поручила послу найти английского доктора, могущего осуществить сие намерение, ибо наш народ известен во всем мире своим врачебным искусством и осведомленностью в данном вопросе. Послу было предложено несколько имен, и я взял на себя смелость внести и ваше имя в сей список. Надеюсь, вы не будете за меня на это в

обиде.

Кому выпадет жребий исполнить сие поручение, зависит от того, кто прибудет в город Санкт-Петербург первым, ибо было решено, что все кандидаты одинаково способны выполнить возложенное на них обязательство, а потому должны иметь равные возможности. Будет установлен определенный день, когда те, кто намеревается предпринять означенное путешествие, должны собраться в Лондоне, дабы совместно отправиться на континент, а оттуда, чем быстрее, тем лучше, далее в Россию. Полагают, что это придаст делу захватывающий спортивный дух как здесь, так и в России, с чем я, однако, не могу полностью согласиться.

Ежели вы желаете подтвердить свое участие, то я прошу вас приехать в Лондон, как только позволят вам ваши дела, ибо предполагается, что путешествие состоится до исхода этого года.

Был бы я помоложе, то и сам бы поддался искушению участвовать в сем предприятии. Риск довольно значителен, но и награда обещает быть весьма

щедрой.

Ваш покорный слуга и проч.

Фодергилл.

На следующей неделе Джеймс уже в Лондоне, в саду у Фодергилла. От недавних побоев не осталось и следа. На нем камзол великолепной материи, волосы спрятаны под парик, новый, дорогой и слегка надушенный. Хотя вполне вероятно, что Фодергилл слышал про историю с Манроу и, может быть, именно она подтолкнула его написать Джеймсу, но сейчас в беседе не звучит никаких неприятных намеков, никаких поползновений усомниться в моральных качествах кандидата. Джеймс подробно излагает свою методу использования для прививки зараженного ланцета. Фодергилл одобрительно кивает. Они пьют вино на скамье под цветущей вишней. Провозглашают тост за императрицу.

— Какое приключение вас ждет, мистер Дайер! — восклицает Фодергилл.

Ужинают вместе со всей семьей, блюда совсем простые, за окном виден закат. Дочь Фодергилла заливается краской от того, как ее рассматривает этот красавец Джеймс — точно она лежит перед ним на операционном столе.

После ужина Фодергилл ведет Джеймса на второй этаж в комнату, где полно чучел птиц, испуганно глядящих со стен, костей и окаменелостей, засушенных бабочек с крыльями, точно вырезанными кусочками шелка.

— Прошу сюда, — говорит Фодергилл. Рядом со столом стоит бочка. Когда он снимает крышку, воздух вокруг наполняется сладковато-горьким запахом табака.

— Мой агент в Северной Америке, мистер Саммз, упаковывает свои охотничьи трофеи в табачную пыль. Это привезли вчера на невольничьем судне из Чарлстона. Пожалуйста, придержите мне рукава.

Фодергилл запускает руки в табак и извлекает оттуда какое-то существо, еле видное в тусклом свете комнаты.

— Что это, сударь? — спрашивает Джеймс.

— Mephitis mephitis, — отвечает Фодергилл, с нежностью поднимая его повыше. — Вонючка. Обыкновенный скунс.

20

Дома в Гранд-Пэрэйд проданы. Один куплен актером, другой капитаном в отставке Ост-Индской компании. На дворе июль. Последняя неделя, которую Джеймс проводит в Бате. У реки собралась толпа. Там, над лужайкой для игры в шары и Оранж-Гроув, круто натянут канат, который прикреплен одним концом к восточной башне аббатства. Подойдя поближе, Джеймс встает позади собравшихся зрителей. Все глядят вверх на башню. Маленькая фигурка на канате делает какие-то движения, ложится грудью на доску, похожую на нагрудник кирасы, еле-еле удерживая равновесие. Кто-то кричит: «Едет! Едет!», и вдруг человечек летит, несется вниз по канату, а позади от трения доски о канат развевается шлейф дыма. Пистолетный выстрел, пронзительный звук трубы, отдающийся эхом среди холмов. В своем стремительном полете фигура напоминает падучую звезду, ангела, низвергнутого с небес. Изумительно! Потрясающе!

Толпа разражается криками. Джеймса проталкивают вперед, и вот он уже выглядывает из-за плеч зевак, ближе всех стоящих к тому месту, где

нижний конец каната прикреплен к специально воздвигнутому помосту. Он видит человека, маленького и хрящеватого, одетого в залатанный кафтан, а рядом с ним, все еще с трубой в руке и слезящимися от ветра глазами, девушку лет четырнадцати-пятнадцати, судя по всему, его дочь. Женщина, стоящая в толпе рядом с Джеймсом, говорит:

— Это она летела. Совсем молоденькая, правда? Молоденькая и веселая.

Он разглядывает девушку. Она смеется, как будто это самый счастливый момент в ее жизни. Глядит в толпу, на секунду встречается глазами с Джеймсом. Какое у нее лицо! Какая сумасшедшая радость в глазах!

Джеймс протискивается назад, выбирается из толпы и идет, отяжелевший, как труп, в сторону Оранж-Гроув. Он не понимает, что его так расстроило. Это же всего лишь цирковой номер, отражающий страсть к полетам, охватившую нынче всю страну. Развлечение для толпы. Войдя в притихший дом, он поднимается в свою комнату. Она всегда была пустой, зеленой и пустой. А теперь кажется еще пустыннее. Подойдя к зеркалу, он проводит по нему рукой. Что это за лицо? Жив ли он? Что значит быть живым? Что

чувствовала та девушка и чего не чувствует он?

Джеймс поправляет шейный платок. Холодные, проворные пальцы. Он думает о России, о России, о России…

Глава пятая

1

Его преподобие Дж. Лестрейд
к леди Хэллам
Париж, октября в 22-й день 1767 года

Любезная леди Хэллам, прошу меня простить за то, что не написал вам ранее. Должен признаться, что вот уже некоторое время не испытываю ни малейшей охоты к любого рода занятиям, и даже самое незначительное дело кажется мне невыразимо утомительным. Боюсь, это обстоятельство делает меня плохим собеседником вашему другу месье Абу, который велит передать вам свой сердечный привет и с особенной теплотою вспоминает о своем пребывании в вашем поместье.

Не думаю, чтобы вам доводилось бывать в том доме, где я сейчас пребываю, что на набережной Бурбона в нескольких шагах от собора Парижской Богоматери. Нравится ли вам готический стиль? На днях я посетил собор, где воздух был так полон благовоний, что у меня закружилась голова. Витражи, впрочем, прекрасны.

Увы, в этом городе слишком много дворцов, слишком много церквей и слишком много

памятников. Таким же, я думаю, покажется чужестранцу и Лондон, но я не испытываю должного восторга и рад, что месье Абу на меня не в обиде. Как вам известно, он человек дела, хотя каким именно делом он занимается, я не знаю. Единственно могу сказать, что он, похоже, выполняет какую-то работу для евреев из предместья Сен-Жермен. Частенько он вверяет меня попечительству своей приятельницы мадам Дюперон, весьма изысканной и остроумной дамы, с которой я имею возможность совершенствовать свой худой французский. Ее же английский можно назвать по меньшей мере экстравагантным, а акцент делает даже самые безобидные замечания на удивление неприличными.

Все это, однако, между прочим. Побудила же меня к писанию сего запоздалого письма не только память о данном вам обещании, но и довольно странный поворот событий, в результате коего мы, кажется, покидаем Париж, с тем чтобы отправиться — ежели только ночной сон не развеет наши фантазии — в Россию! Я и сам не могу толком понять, как явилась нам эта мысль. Мудрой она мне не кажется, однако месье Абу всячески ее поддерживает, утверждая, что бывал в Санкт-Петербурге трижды или четырежды и что

с большим удовольствием поедет туда, нежели в Венецию, Рим или любой другой из знаменитых городов юга. Он предложил нам это путешествие за ужином, когда все мы, признаюсь, были воодушевлены его гостеприимством, которое иначе как щедрым не назовешь.

Сказав «мы», я должен представить вам собравшееся общество, как того требуют приличия. Это, конечно, Абу, ваш покорный слуга и мадам Дюперон. Кроме того, английская чета Федерстонов, с коими мы повстречались на прошлой неделе в Тюильри, когда Абу оказал помощь господину Федерстону, пострадавшему от некоего наглеца, укравшего у него кошелек. Дело это разрешилось столь счастливо, что мы порешили в тот же день совместно посетить Версаль. Короля нам увидеть не довелось, однако мы наблюдали кое-что весьма любопытное в бродячем зверинце, а именно маленького черного китайского оленя, молодого слона, а также носорога со сломанным рогом. С тех самых пор Федерстоны неизменно составляют нам компанию.

Господин Федерстон — человек средних лет, крепкий и, как мне кажется, состоятельный. Женился он совсем недавно, его избранница вдвое моложе его, цветущая и красивая и, думается

мне, вполне под стать своему супругу. В Париже они проводят медовый месяц. Он и раньше бывал в этом городе по делам. Она же никогда не выезжала за пределы родного Херефорда, однако галльская изысканность не произвела на эту даму ровным счетом никакого впечатления. По крайности раз в час она сообщает месье Абу или мадам Дюперон — которая, впрочем, ничего не понимает, — что ее повсюду одолевают отвратительные запахи и ужасные манеры. Судя по ее высказываниям, даже в вопросах новейшей моды дамы Херефорда оставили далеко позади своих парижских сестер. Должен признаться, я нахожу Федерстонов несколько утомительными, хотя в теперешнем моем состоянии таковым мне представляется любое общество, что, в свою очередь, делает меня самого человеком скучным. А также, возможно, несколько бестолковым корреспондентом. Разве не о России собирался я писать? Позвольте объясниться.

Ход событий ускорился благодаря этой удивительной гонке докторов. У меня нет сомнений, что ваша светлость читали или слышали о ней. Некая — как бы следовало назвать это собрание лекарей? — «похоронная процессия», состоящая целиком из врачей, выехала из Лондона. Через

Париж и Берлин они направляются в Санкт-Петербург, где одному из них, как видно, суждено обрести бессмертие, сделав русской императрице прививку оспы. Условия гонки, согласно господину Ф., таковы: тот, кто первым приедет в Париж, на следующий день отправится первым же и далее, причем его отъезд состоится на столько же часов ранее, на сколько он обогнал других участников в предыдущие дни. То же самое повторится в Берлине, откуда докторам предстоит мчаться до Санкт-Петербурга. Как здесь, так и в Пруссии британскими послами организованы встречи соревнователей, и, когда сегодня на Королевскую площадь прибыл первый доктор, его встречала толпа придворных, хотя потом выяснилось, что добрая половина этих французов ожидала прибытия одной из королевских любовниц.

Мы оказались среди встречавших более или менее случайно. Господин Ф. пожелал увидеть крепость Бастилию, расположенную неподалеку от Королевской площади. Через десять минут после того, как мы ступили на площадь, туда же вкатилась очень грязная коляска с нелепым форейтором, наряженным в ярко-желтый кафтан, визгливо вопящим на лошадей и осыпающим проклятиями толпу. Дверца открылась, все мы

вытянули шеи и увидели, как из коляски выскочил доктор Дайер со своим помощником. Доктора, с вашего позволения, я назвал бы настоящим франтом, у помощника же было такое выражение лица, словно ничто и никогда не способно более вызвать у него удовольствия. Поверьте, он пробудил во мне жалость!

Следующим — хоть мы и не видели его прибытия — оказался доктор Димздейл, приехавший тремя часами позднее Дайера, и, похоже, он уже обвиняет других в нечестной игре. Какие же мы все-таки ничтожные создания! Мои компаньоны, однако, были потрясены происходящим и продолжали обсуждать всю эту историю, собравшись к обеду в доме месье Абу. Мы перешли к мясу, когда месье Абу в довольно шутливой манере, постучав кольцом по рюмке, предложил нам проделать точь-в-точь такое же путешествие. Он подкинул эту идею с такою непринужденностию, что поначалу никто из нас, кажется, не принял ее всерьез, но потом он вперил в нас столь пронзительный взгляд, что я, а затем и господин Ф. стали понимать, что он отнюдь не шутит.

Брошенную перчатку подняла госпожа Ф., повернувшись к своему супругу и поддержав предложение Абу. Господин Ф., как и любой моло-

дой супруг, вовсе не желал, чтобы его упрекнули в недостатке мужественности, а потому ответил на энтузиазм своей жены не меньшей пылкостию. И тогда совратить с пути истинного оставалось лишь вашего покорного слугу. Абу заговорил со мною по-французски, и по причине незнания Федерстонами этого языка мы словно бы говорили с глазу на глаз. Он сказал мне, что на человека в моем положении такое путешествие окажет самое благотворное действие, оно взбодрит тело и оживит ум многочисленными, волнующими душу впечатлениями и тем самым окончательно избавит меня от теперешней меланхолии. Он рассуждал с таким участием и, как мне казалось, с такою мудростию, что мне пришлось сдаться, правда не без помощи запасов его винного погреба.

Тут господин Ф. спросил, когда же следует нам отправляться. И Абу, ко всеобщему изумлению, ответил, что завтра утром, что он сам позаботится обо всем необходимом, нам же остается лишь собрать свои вещи. Остальное мы купим по дороге, ибо никаких особенных заготовок не требуется. Мы будем держаться того же маршрута, что и соревнующиеся доктора, и даже, возможно, попытаемся прибыть в Петербург раньше их!

Могу только сказать, что сегодня в гостиной при свечах его план казался прекрасным и мы восхищались собственной смелостью и отсутствием всяческих колебаний. По моим часам сейчас без четверти три ночи. В Париже тихо, хотя я вижу скользящую по реке лодку и внизу, на улице, слышу какие-то звуки, похожие на женский плач. Теперь я хорошо знаю эти одинокие ночные часы. Матросы, по-моему, называют их «кладбищенской вахтой»,[39] и даже сейчас, когда я пишу эти строки, мне странно думать о тех, кто, сообразуясь со звездами и направлением ветра, бороздит пустынные просторы мировых океанов.

Пожалуй, это также время причудливых мечтаний. Прошу у вашей светлости снисходительности. По-моему, я не поблагодарил вас как подобает за проявленное ко мне великодушие в данном вопросе. Шаткость моей веры, ставшая в определенной степени достоянием общества, должно быть, привела вас в замешательство, если не оскорбила вашу собственную твердую веру и христианскую праведность. И я навечно останусь у вас в долгу за оказанную мне милость.

---

[39] Примечания: 39

Принятое в британском флоте название ночной вахты (с полуночи до четырех утра).

Мне остается лишь искренне надеяться, что когда-нибудь мне представится случай отплатить вам тою же монетою.

Теперь я прилягу, закрою глаза и по крайней мере изображу — сыграю роль — спящего. Быть может, Морфей проявит сострадание и спустится ко мне. В ближайшее время я вновь напишу вам и сообщу последние новости о великой Санкт-Петербургской экспедиции, хотя боюсь — надеюсь? — о ней все крепко забудут к тому времени, как нам предложат утреннюю чашечку шоколада.

Остаюсь, сударыня, вашим нижайшим, благодарнейшим, заблудшим слугою,

Джулиус Лестрейд.

Его преподобие Дж. Лестрейд
к мисс Дидо Лестрейд
Париж, октября в 22-й день 1767

Моя дорогая Дидо!

Вот и весточка от твоего скитающегося братца. Надеюсь, ты больше на меня не дуешься. Я знаю, что мой поступок вызвал твое неудовольствие. Могу лишь уповать на свойственные тебе терпимость и снисходительность и принести свои уверения в братской любви. Париж довольно

красив. Мой французский вполне сносен, хотя не столь изящен и правилен, как твой. Как идут дела в Кау? Заботится ли о тебе миссис Коул? Что твои головные боли? Приносит ли облегчение лекарство доктора Торна?

Знаешь ли, дорогая, здесь поговаривают о том, не отправиться ли нам в Санкт-Петербург, в Россию. Не тревожься, дорогая! Месье Абу, который тебе непременно бы понравился, уговорил меня предпринять означенное путешествие, однако я совсем не уверен, что оно состоится. Думаю даже, что вовсе ничего не произойдет, хотя это было бы интереснее, чем стаптывать башмаки по здешним улицам.

Я написал письмо леди Хэллам. Видишься ли ты с ней? Какова она на твой взгляд? Не знаю, зачем я задаю тебе все эти вопросы, ибо один Господь ведает, куда ты можешь отправить ответ.

Не сердись на меня, Диди. Мы оба должны стараться жить в дружбе.

Проследи, чтобы Джордж Пейс залатал дыру в крыше, пока погода окончательно не испортилась, и, пожалуйста, удели немного внимания саду.

Твой любящий неразумный брат

Джулиус.

Его преподобие Дж. Лестрейд к леди Хэллам
Берлин, октября 31

Дражайшая леди Хэллам!

Пишу к вам из гостиницы «Бристоль» в Берлине, где в моем распоряжении весьма изысканно обставленная комната и конторка — куда лучше, чем в моем кабинете в Кау, — за которой я и сочиняю сие послание.

Не могу до конца поверить, что я пребываю здесь. Абу — настоящий чародей, добрый Фаустус. Его энергия поразительна. Мы покинули Париж неделю назад. Слуги подняли нас еще засветло, и мы собрались за столом, завтракая горячим шоколадом и булочками, с довольно смутными воспоминаниями о принятом накануне вечером решении. Абу с наслаждением уплетал свой завтрак и выглядел свежим и бодрым, словно проспал все двенадцать часов.

Федерстоны и я, тщательно избегая смотреть друг другу в глаза, были вынуждены изображать энтузиазм, коего никто из нас в то время уже не испытывал. Но кто бы захотел предстать перед остальными обыкновенным болтуном? Пустой трещоткой! Через минуту Абу заставил нас выпить за Санкт-Петербург, императрицу и наше путешествие. Так что забота человека о том, ка-

ким он являет себя свету, немало способствует тому, чтобы он — против собственной воли — объехал половину этого света. Сцена сия, уверяю вас, была весьма комична. Осмелюсь предположить, что на театре мы сорвали бы аплодисмент.

После завтрака наши сундуки были спешно уложены, а сами мы расположились в коляске. Это довольно старый экипаж, покрашенный коричневым снаружи и изнутри, и только на спицах колес заметны остатки желтой краски. Набивка сидений кое-где свалялась в комья, одно из окон ни в какую не закрывается до конца, а ось заднего колеса постоянно издает жутковатый стон, но мы уже привыкли и даже не испытываем неудобств, ибо это очень надежный экипаж с приятным сухим запахом, к тому же довольно поместительный, так что хватает места даже кринолинам госпожи Ф.

Ко времени нашей первой остановки в одной славной гостинице за городом Компьен все мы, как ни странно, уже примирились с судьбой, а тем паче после того, как хозяин угостил нас изысканнейшим рагу из утятины и копченой грудинки и Абу уговорил его расстаться с полдюжиной бутылок великолепного красного вина из его домашней «пещеры». В этот осенний день наш

экипаж, носящий славное имя «Мэми Сильви», данное ему в честь одной из престарелых тетушек Абу, успешно преодолевал дорожные мили, катясь среди живых изгородей и подпрыгивая вместе с нами по дорогам селений, казавшихся нам, несмотря на очевидную нищету, довольно живописными. Ночью я впервые за несколько недель хорошо выспался: словно провалился по крайней мере на семь часов кряду. И теперь размышляю о том, сколько физических и душевных страданий несет нам бессонница. Быть может, средством от многих невзгод и болезней является всего лишь предоставленное каждому необходимое количество крепкого сна.

Вам может показаться, моя госпожа, что мы представляем собою довольно разношерстную компанию путешественников, но должен сообщить вам, что мы совсем неплохо ладим друг с другом. Федерстоны — люди порядочные, правда легко поддающиеся раздражению, а господин Ф. всегда готов прямо-таки вскипеть, но в глубине души они вполне благонамеренные господа, и надобно ли желать большего? Восхитительно, с какой последовательностью они отвергают все неанглийское. Все, что является нашему взору, — коровы, деревья, дома, даже мужчины и

женщины, встреченные по дороге, — оказываются для Федерстонов неизмеримо хуже тех, что можно наблюдать в Альбионе. Однако эта их особенность вовсе не раздражает Абу, который, напротив, хохочет во все горло, и если презрительная ухмылка с его стороны могла бы их обидеть, то столь искреннее веселье воспринимается вполне добродушно. Госпожа Ф. умнее своего супруга. Часто я замечаю на ее лице чрезвычайно проницательное выражение. К концу этого медового месяца наш господин Ф. окончательно попадет под ее каблучок.

Что до капитана экспедиции месье Абу, то вам уже кое-что известно о его характере и способностях. Не находите ли вы, что в нем есть — как бы поточнее выразиться? — что-то таинственное. Я совершенно не могу его постичь и все же абсолютно ему доверяю. Если кто и в состоянии привезти нас всех скоро и благополучно к императорскому двору, то только он.

В Брюсселе мы повстречали доктора Димздейла и еще одного соревнователя, некоего господина Селкерка, а в Ганновере видели Озиаса Гемпшира. Невозможно было определить, кто лидирует в гонке, но по приезде в Берлин обнаружилось, что первым все-таки остается Дайер, и обвинения в

его адрес, а также в адрес его спутника становятся все более яростными. Говорят даже, что он нанял бандитов, которые устроили засаду на пути коляски доктора Леттсома, и теперь доктор Леттсом более не участвует в соревновании.

День я провел, осматривая достопримечательности — Оперный театр, старый королевский дворец, новый протестантский собор в Люстгартене,[40] который из-за формы купола называют «чашкой чая старого Фрица». Сам Фриц находится в городе, и Абу отправился во дворец в надежде получить аудиенцию. Он предпочел пойти туда в одиночестве, утверждая, что его визит исключительно деловой, а потому не представляет для всех остальных никакого интереса. Он взял с собою один из привезенных из Парижа больших ящиков, который потащил за ним нанятый в гостинице слуга. Не знаю, что заключено в этих ящиках, однако когда сегодня утром я выразительно на них посмотрел, Абу подмигнул мне очень странным образом. Не хочется думать, что там заключено что-то неподобающее. Не знает ли ваша светлость о каких-нибудь причудах Фридриха? У великих мира сего таковые частень-

---

[40] Примечания: 40
Парк или сад для гуляния *(нем.)*.

ко бывают. По-моему, месье Абу нравится нас дразнить.

Федерстоны осматривали достопримечательности вместе со мною. Берлин им понравился, а поскольку Пруссия выступала нашей союзницей в последних войнах, то у нее оказалось куда больше оснований рассчитывать на симпатию господина Ф., чем у Франции, которой не приходится об этом даже мечтать. Сегодня мы ужинаем в «Бристоле» и рано ложимся спать, дабы насладиться хорошими прусскими постелями, ведь Абу предупредил нас, что чем далее мы будем следовать на восток, тем хуже будут условия нашего проживания. Пусть будет как будет.

Надеюсь, мое письмо застанет вашу светлость в здравии и довольстве. Собираетесь ли вы отправиться зимою в столицу? В дверях как раз появился месье Абу.

Остаюсь вашим нижайшим и покорнейшим слугою

Джулиус Лестрейд.

Дж. Лестрейд к мисс Дидо Лестрейд
Берлин, ноября 1

Дорогая Дидо!

Твой брат в Берлине! Да, я знаю, что он там

ничего не забыл, но… все-таки он там, и давай больше не будем об этом. Здорова ли ты? Иногда я задаюсь вопросом, понимает ли Торн, что делает. Большинство докторов столь несведущи. Порядочное количество из них безумны. И все до одного жадны. Переезд из Парижа прошел не так уж плохо, хотя спина моя болит от сидения в треклятой коляске и у меня случился мучительнейший приступ геморроя. Частенько мечтаю я о том, чтобы оказаться дома, в Кау, но, поскольку до сих пор не чувствую в себе сил служить духовным наставником своей паствы, мне бы пришлось вновь уехать оттуда и причинить еще большие огорчения тем, кто мне дорог. А может, Господь там, на Востоке? Может, я сделаюсь магометанином? Пустишь ли ты меня на порог, Дидо, коли я сделаюсь магометанином?

Кроме месье Абу со мною вместе путешествует чета неких Федерстонов. Господин Федерстон, владелец акций нескольких бристольских невольничьих судов, — большой краснощекий ребенок. Госпожа Ф. — кокетка, вышедшая за него ради золота, заработанного работорговлей. Трудно поверить, но она, кажется, строит мне глазки! Говорят, путешествие способствует ослаблению моральных устоев мужчины; каково же

его воздействие на моральные устои женщины? Посмотрим.

Завтра утром нас опять ждет дорога. Думается, дальше удобств будет все меньше. Конечно, ничто не мешает мне вернуться назад в Париж, да и в Англию тоже, но я все же намереваюсь завершить задуманное. По крайности, у меня будет что потом рассказать, пусть и не внукам. Прошлой ночью видел тебя во сне в старом матушкином платье. Таком сером, помнишь? Проснувшись, долго лежал, расчувствовавшись. Интересно, был ли отец счастлив в моем возрасте? А счастлива ли ты, дорогая сестрица?

Следующее письмо отправлю со стылой польской земли. Передай мой привет старине Аскью. Не забывай обо мне в своих молитвах.

Джулиус.

Его преподобие Дж. Лестрейд
господину Аскью, эсквайру
Быдгощ, ноября 8

Дорогой мой Аскью!

Не сомневаюсь, что Дидо поведала тебе о моих странствиях. Она была весьма недовольна мною, когда я уезжал, и клялась, что совершенно не понимает, что это взбрело мне в голову. Упрекала,

что я потакаю своим прихотям за счет других. Боюсь, в словах ее есть доля истины, однако надеюсь, что ты, старый друг, не будешь со мною столь суров. Как могу я выполнять свои обязанности, сознавая, что лицемерю. Законник, пожалуй, мог бы заниматься своим делом, не особенно веря в силу закона, или солдат нести службу, не считая войну справедливой, но человек, облеченный саном, не может благопристойно продолжать отправлять свои обязанности, утратив веру. Знаю, друг мой, что ты качаешь сейчас головою, говоря, что ежели дело обстояло бы так, то добрая половина священников в Англии должны были бы оставить свои приходы. Иногда мне кажется, что более всего меня пугает то обстоятельство, что я был бы вполне доволен жизнью и *без религии.* Не дух ли это нашего времени? Самонадеянный век!

Что собаки? Твоя чудесная сука будет в этом году грозой зайцев. Надеюсь, госпожа Аскью пребывает в добром здравии. На днях пережил неприятное приключение — столкнулся с бандой местной солдатни. Даже испугался было за свою жизнь, хотя, кажется, виду не подал. Они подошли ко мне, когда я мочился на стену позади гостиницы, где мы провели ночь. Гнусные черти! Дал им денег, чтобы оставили в покое. Места

здесь очень бедные. Крестьяне носят на ногах древесную кору вместо башмаков. Следующей остановкой будет Данциг, город на Балтийском море, и мы рассчитываем раздобыть там последние новости о гонке врачей.

Надо будет купить себе подходящее пальто, так как погода меняется. Присматривай за моей сестрой, ибо она не привыкла оставаться одна.

Остаюсь, сударь, ваш покорный слуга

Джулиус Лестрейд.

Дж. Лестрейд к мисс Дидо Лестрейд
Кашубия, ноября 12

Дорогая Дидо!

Мы приближаемся к Балтийскому побережью и Данцигу, который, по словам Абу, является процветающим торговым городом, населенным шотландцами. Земля здесь, хоть и плодородная, родит мало — меньше, чем во Франции, но люди, сдается мне, не такие подавленные. Здесь дьявольски холодно, от ветра немеют зубы, ибо он дует со стороны России. Вчера вечером мне так прихватило спину, когда я, лежа в постели при свече, пытался читать «Кандида», что несколько минут я вовсе не мог пошевелиться, и мне даже представилось, что я, безбожный священник, так

и помру здесь, в польской лачуге. Не сомневаюсь, это мне наказание за чтение Вольтера. Книгу дал мне Абу. Вернее сказать, подарил. С Вольтером он встречался в Женеве.

Большая ошибка — пускаться в путешествие в надежде избавиться от груза сомнений. Человек всего лишь тащит его за собою и потому вынужден разрешать их в компании незнакомцев. Ну как, сойдет ли это за pensée?[41] Для нас будет большим облегчением добраться наконец до цивилизованного города. Даже невозмутимость Абу была немного поколеблена за последние два дня пути. Не скажу, что он огрызнулся на господина Ф., скорее это напоминало тихое рычание очень большой собаки, довольно впечатляющее и смешное, если принять во внимание, что из одного Федерстона можно вылепить трех Абу. Для госпожи Ф. очень опасно постоянно наблюдать своего мужа в компании человека, во всем его превосходящего. Уверен, что г-н Федерстон сияет, точно звезда, в обществе своих друзей-работорговцев, но он шипит, как сера, рядом с Абу.

Кажется, я чувствую запах моря. Холодного, зеленого моря.

---

[41] Примечания: 41
Здесь: изречение, афоризм *(фр.).*

Твой любящий брат

Джулиус Лестрейд.

2

Кенигсберг, первый город Прусского королевства, самодовольно нежится под голубыми небесами. «Мэми Сильви» грохочет по снежному месиву улиц, в холодном воздухе заливается колокольчик. Миссис Федерстон желает отправиться за покупками. Взявшись под руки, путешественники выходят из гостиницы. Пастор покупает сенну и табак. Абу — прекрасную меховую шапку. В том же магазине мехов Федерстоны приобретают шубы: «Эту даме, а эту господину — sehr schön, nicht wahr?[42] А тот, другой господин, он также что-нибудь желает?»

Пастор подсчитывает в уме редеющий денежный запас и останавливается на паре перчаток. Выйдя, они наслаждаются видом своего отражения в магазинной витрине.

— Теперь, — провозглашает Абу, — мы готовы к встрече с императрицей!

На свежих лошадях они покидают город на следующее утро и долго и трудно едут до глубокой ночи, следуя полярной звезде, по направлению к

---

[42] Примечания: 42
Очень красиво, не правда ли? *(нем.)*

Риге. Мокрый снег покрывает хлопьями пейзаж, но в середине следующего дня с востока приходят тучи — синие, серые и белые. Всю ночь, тихонько тычась в закрытые окна гостиницы, снег все идет и идет и прекращается лишь наутро, позволив путешественникам продолжить путь, а затем начинается сызнова, падая без конца мягким и тяжелым покровом. Поначалу этот причудливый танец, эта причудливая красота веселят. Потом вдруг сознание каждого словно озаряется вспыхнувшей искрой, и путешественники начинают понимать, сколь опасен их путь. Что, коли экипаж завязнет? Откуда им ждать помощи? Не было ли опрометчивым их решение отправиться в путешествие в такое время года? Абу поднимает руки. Спокойствие! В Риге они приладят к «Мэми Сильви» полозья — весьма обычный способ передвижения в этих краях, к тому же чрезвычайно приятный. Они влетят в Санкт-Петербург как на коньках! Он тысячу раз так делал. Что касается его самого, то он очень рад такой погоде. На полозьях они поедут в два раза быстрее. Все к лучшему в этом лучшем из миров! Он подмигивает пастору, но его преподобию кажется, что когда Абу украдкой поглядывает на невероятную снеговую завесу, застилающую свет, то даже ему

становится не по себе. Как медленно движутся лошади по колено в сугробах! Решено, что следует искать убежища в первой же деревне. Ни к чему искушать судьбу. Им-то нет надобности выигрывать гонку!

Они напряженно всматриваются вдаль, пытаясь увидеть очертания дома, мерцающий огонек.

— Вон там!

— Молодчина, господин Федерстон!

Дом немногим лучше лачуги. Абу выскакивает из экипажа, стучит в дверь. Остальные следят за ним через окно, протирая запотевшие стекла. Дверь открывается, и Абу входит внутрь. Вернувшись через пять минут, он усаживается на свое место, и снег начинает таять на его сапогах.

— Мы спасены! — смеется он. — Один замечательный парень сообщил мне, что в получасе езды отсюда есть монастырь.

Проходит полчаса. Час. Ничего похожего на монастырь. Да и вообще ничего. Миссис Федерстон раздраженно осведомляется, правильно ли понял месье Абу, в какую сторону надлежит ехать. Месье Абу смотрит на нее тяжелым, лишенным уже ненужной им обоим светскости взглядом. Пастор потихоньку прикидывает, сколько у них шансов выжить, останься они наедине с мете-

лью. Немного печенья и последние полбутылки французского коньяку. Можно ли будет разжечь огонь? У него есть с собой трутница, а вокруг, должно быть, достаточно сучьев и веток.

Слово «волк» одним прыжком, точно живой зверь, вскакивает в его мысли. Детские сказки про волка. Детские сны, в которых животное с колючим мехом и прозрачными ледяными глазами следит, притаившись и принюхиваясь, за спящим в лесах сновидений. И нет рядом матери, чтобы прогнать это чудовище колыбельной песней. Вот, оглядывая товарищей, думает пастор, вполне подходящий момент вспомнить об утешительной силе молитвы, и он уже проговаривает про себя «Отче наш», хоть слова громоздятся во рту, как огромные камни, когда вдруг и молитва и мысли его обрываются.

— Это что же такое было?.. — спрашивает мистер Федерстон.

Второй выстрел звучит отчетливее. Коляска останавливается. Все молчат. Крик? Люди боятся дышать. Слышно лишь, как бьются их собственные сердца и воет ветер.

— Охотники? — предполагает пастор.

— В такую-то погоду? — усмехается миссис Федерстон.

— Может, это сигнал? — говорит пастор. — Какой-нибудь путешественник, попавший в отчаянное положение. Не следует ли нам это выяснить, месье?

— В здешних краях есть бандиты, месье? — спрашивает мистер Федерстон.

Абу пожимает плечами. Потом опять.

— К сожалению, — говорит он, — есть на свете вещи, которых не знает даже Абу.

— Почему бы кому-нибудь из вас не взглянуть, в чем там дело? — предлагает миссис Федерстон. — Почему вы все сидите и ничего не предпринимаете?

— Я абсолютно уверен, дорогая, — говорит мистер Федерстон, — что мой главный долг защищать тебя.

— Браво, месье! — восклицает Абу. — Что касается меня, то я уже выходил однажды и мне это совсем не понравилось. Чулки у меня до сих пор мокрые.

Все глядят на пастора. Секунду он выдерживает их взгляды, потом застегивает ворот, с трудом открывает дверцу коляски с той стороны, где сидит, и спрыгивает, как можно легче, в ревущую метель.

3

Кучер держит на коленях короткоствольное ружье с раструбом. Лишь глаза у него не замотаны и с живостью смотрят вокруг. Тулуп покрыт ледяной коркой, а в складки шляпы толстым слоем забился снег.

— Пойдем посмотрим вместе! — обращается к нему пастор по-немецки, и снег бьет пастору в лицо, пока он подыскивает подходящую грамматическую конструкцию. Императив или кондиционалис? Кучер мотает головой — скупой жест, но свидетельствующий о непоколебимом решении.

Его преподобие отворачивается, поглаживает ближайшую гнедую лошадь. Даже сквозь новые перчатки он ощущает тепло. Бедные животные. Какой у них жалкий вид. Прикрывая руками лицо, он глядит вперед на рижский тракт, потом пускается по нему, пригибаясь на снежном ветру, но, пройдя двадцать ярдов, вспоминает, что безоружен. Наклоняется, поднимает с земли сук, стряхивает снег и берет его наподобие мушкета. В такую погоду можно и ошибиться. Выстрелов не слыхать. Никаких признаков жизни вокруг.

Сколько же ему так идти? Главное, не терять из виду коляску. Тогда недолго и заблудиться, сбиться с дороги, потерять представление о верном направлении и, постепенно слабея, замерзнуть. Стоит только лечь, и его занесет в считанные минуты. До осени пролежит он так, погребенный под снегом, а весной какой-нибудь крестьянин с собакой найдет его окоченелый труп. Какое пустынное место! Точно вся земля вокруг беспрерывно стонет о небытии.

Пастор оборачивается. «Мэми Сильви» хоть с трудом, но еще различима. Еще десять шагов — и назад. Он считает вслух до семи, но вдруг останавливается. Что-то появляется впереди него среди метели. Человек? Там двое. Один стоит, другой лежит на снегу. На обочине почтовая карета, колеса которой завязли в сугробах. Одна лошадь.

Сжимая свой сук, пастор подходит ближе. Кто бы они ни были, но на разбойников не похожи. Это скорее жертвы, чем злоумышленники.

— Эгей!

У человека в руке пистолет, он быстро наводит его на лицо пастора, затем опускает руку. Пастор делает еще несколько шагов. Отбрасывает сук.

— Доктор Дайер?

Теперь они стоят рядом на дороге. В подстри-

женной голове Дайера зияет глубокая кровавая рана.

— Дорогой сэр, что случилось? Вас ограбили?

— Вы знаете меня, сударь?

— Я видел вас в Париже на Королевской площади.

— Не припомню.

— Преподобный Джулиус Лестрейд, сэр. Это ваш компаньон? Он тяжело ранен?

— Это форейтор. Мой «компаньон» выстрелил в него, когда удирал.

— Выстрелил?

— Но сначала ударил меня и набил карманы моим золотом.

Пастор встает на колени в снег рядом с мальчишкой-форейтором. Оказывается, это вовсе не мальчишка, а взрослый мужчина лет пятидесяти, остолбеневший от ужаса. Пуля вошла ему в запястье и вышла у локтя. Когда пастор поднимает голову, то видит, как Дайер, наклонившись, вытаскивает из почтовой кареты саквояж, вернее сначала один саквояж, дорожный, а потом другой, поменьше, зеленого сукна, который немного позвякивает, когда он его поднимает.

— Насколько я могу судить, Лестрейд, вы не пешком пришли сюда из Парижа.

— Конечно же нет. Вон там экипаж.

— В таком случае буду вам очень признателен, если вы подвезете меня до ближайшего города. Если вы знаете меня, то, следовательно, знаете также и то, куда я направляюсь.

— Боюсь, никто из нас в такую погоду далеко не уедет. Ага! Вот и они!

«Мэми Сильви» потихоньку подкатывает поближе. Мистер Федерстон сидит рядом с кучером, который вскинул ружье, уперев его в плечо. «Будет чудо, если в этой заварушке меня не пристрелят», — думает пастор.

— Эгей!

— Эге-гей!

Раненого форейтора вносят в коляску, за ним садится Дайер, чье лицо оплетено страшной кровавой паутиной. Оставшаяся почтовая лошадь привязана к коробу позади экипажа. Мистер Федерстон решает остаться на козлах с кучером. Внутри его преподобие без особого успеха возится со стонущим форейтором, а миссис Федерстон предлагает Дайеру платок вытереть лицо. Он вытирает и отдает платок назад. Миссис Федерстон берет его и без лишних эмоций бросает под ноги.

— Негодяй далеко не уйдет, — говорит пастор.

— Черт поможет, — отвечает Дайер. — Помя-

ните мое слово: когда его станут вешать, веревка оборвется. Куда вы направляетесь?

— Куда сможем. Нам сказали, что где-то неподалеку есть монастырь…

Тут слышится радостный крик мистера Федерстона.

Абу открывает окно.

— Ба! — восклицает миссис Федерстон. — Неужто это он? Такая развалина?

Строение похоже на корпус древнего корабля. Две центральные башни, два низких крыла, одно из которых явно заброшено, ибо через зияющие окна видно, как внутри падает снег. Другое крыло вселяет больше надежды, хотя нигде не видно ни огня, ни гостеприимной струйки дыма.

Они подъезжают. Месье Абу и мистер Федерстон стучат в деревянную дверь между башен. Выглядывая из коляски наружу, пастор думает, что дверь навряд ли откроется. Однако она все-таки открывается, но по чьей воле, разобрать невозможно до тех пор, пока мистер Федерстон, повернувшись, не пускается торопливыми, мелкими шажками к коляске. Но даже и тогда среди нагромождения теней и последних отсветов дня трудно различить, что это за человек. Видно лишь, что он пожилой и в руке у него небольшой

огонек, который каким-то непонятным образом выдерживает яростные порывы ветра.

Мистер Федерстон и пастор несут форейтора. Позади, точно плакальщики, тянутся остальные: Дайер с непокрытой головой; миссис Федерстон, дрожа в своей шубе; месье Абу, тихонько напевая и время от времени говоря:

— Все будет прелестно. Вот увидите!

Пустынные коридоры. Неосвещенные пустые комнаты. Повсюду запах сырости и кошек.

— Полагаю, — шепчет пастор мистеру Федерстону, — этот человек живет здесь один.

Согласившись с ним, Федерстон замечает:

— Главное, чтобы у него был огонь и что-нибудь съестное в котле. Разве они не обязаны делиться с путниками?

Огонь действительно имеется, хоть и еле тлеющий в огромном каменном очаге. Есть и висящий на треножнике котелок, в который, что-то помешивая, заглядывает старый монах. Форейтора кладут на письменный стол, прекрасный образчик изысканной мебели, который некогда, как думается пастору, мог принадлежать аббату.

— Он умер? — спрашивает миссис Федерстон.

— Жив, — отвечает его преподобие, — но признаки жизни слишком слабы.

Дайер смеется, громко и невесело.

— Может, сударь, вы осмотрите его? — просит пастор. — Если, конечно, у вас на это есть силы.

Дайер подходит к столу, быстро смотрит на раненого, берет зеленый саквояж, вытаскивает связку бинтов и швыряет пастору.

— Кажется, вам нравится принимать в нем участие.

Пастор, сознавая, что всеобщее внимание обращено на него, перевязывает форейтору руку. Он уже затягивает узел, когда вдруг форейтор издает душераздирающий крик, приподнимается и хлопается в обморок, сильно ударившись о стол головой. Пастор отступает, как убийца на театральной сцене. Все, кроме Дайера, глядят на растянувшегося на столе человека.

— А теперь он умер? — спрашивает миссис Федерстон.

Позже, перенеся форейтора на лежанку из соломы в углу комнаты, они едят из прокопченного до черноты котелка монаха. Что-то вроде каши с добавленным для запаха свиным жиром. Пьют козье молоко из общей миски. Старый монах в залатанной и полинялой рясе бенедиктинца и тяжелым деревянным распятием на шее наблюдает за ними с неизменной спокойной улыбкой. С

ним живет мальчик, толстый, лет четырнадцати или пятнадцати, с откровенным лицом идиота.

Полиглот Абу пытается втянуть их в разговор. Когда языки не помогают, он переходит к жестам и рисует на ладони географические карты. Монах дружелюбно кивает, бормочет дюжину слов на каком-то неизвестном наречии, потом указывает на мальчика и, усмехаясь, произносит: «Понко».

— Понко?

— Понко.

Мальчик пускает слюни, болтает языком и, тоже тыча себе в грудь, подтверждает:

— Понко, Понко.

Мистер Федерстон отрыгивает, а его жена спрашивает:

— Неужели здесь нет кроватей?

Абу кладет свою голову на ладони: так дети изображают спящего. Монах что-то говорит Понко. Тот выходит. Путешественники тоскливо глядят на горящие в очаге шишки. Время от времени снежные хлопья залетают в трубу и шипят на тлеющих углях. Джеймс Дайер, дотронувшись до головы, обращается к миссис Федерстон:

— Не найдется ли у вас зеркала, мадам?

Зеркало находится, но не у миссис Федерстон, а у месье Абу. Дорожное зеркальце в футляре

из змеиной кожи. Дайер вынимает из зеленого саквояжа подсвечник, к которому приделана изогнутая серебряная пластина, тщательно отполированная. В подсвечнике небольшой огарок, который он зажигает от ламп монаха. Порывшись еще, извлекает иголку с ниткой. Продев нитку в иголку, говорит:

— Я буду вам весьма обязан, месье, если вы подержите подсвечник так, чтобы свет отражался от этой пластины. А также и от зеркала, дабы я видел, что делаю.

— А что вы собираетесь делать? — спрашивает миссис Федерстон.

Дайер смотрит на нее:

— Это, мадам, по-моему, очевидно.

И он начинает зашивать себе голову, соединяя разорванные края раны с такой быстротой и невозмутимостью, словно, как позже пастор напишет в письме к леди Хэллам, зашивает лишь отражение в зеркале. Все, за исключением старого монаха, наблюдающего за Дайером с таким видом, будто он давно ожидал от него подобного фокуса, потрясены.

— Браво! — восклицает месье Абу.

— Удивительно, — говорит пастор.

— Пожалуй, — признается мистер Федерстон, —

я бы не смог перенести это с такою легкостию.

Дайер не обращает на них внимания. Возвращается Понко. Монах встает со своего табурета, берет скрюченными пальцами одну из ламп и ведет путешественников в их комнаты, бывшие кельи братьев. Пастор остается сидеть с Понко и форейтором. Вскоре монах возвращается, шаркая, подходит к своему табурету, садится. Он сух, как старое дерево. Пастор ему улыбается, и они кивают друг другу. Потом, сложив на столе руки, пастор кладет на них голову и засыпает. Последнее, что видится ему в полусне, это как Джеймс Дайер протыкает изогнутой иголкой собственную плоть. Собственную плоть!

Удивительно.

Когда наутро они вновь собираются вместе, не особенно хорошо выспавшиеся на холодных и убогих соломенных постелях, встает вопрос о том, как быть дальше. Джеймс Дайер настаивает на продолжении пути. К черту метель! Неужто они боятся снега?

— А вы видели, каков этот снег, сударь? — спрашивает пастор.

— Вы, наверное, собираетесь проторчать здесь неделю? Или месяц? — не унимается Дайер.

— Уж лучше сидеть здесь, — замечает Федер-

стон, — чем искушать судьбу там.

— Я вынужден согласиться с господином Федерстоном, — говорит Абу. — Отправляться в путь в такую погоду — полное безрассудство.

— Я путешествую не для забавы, сэр, — отвечает Дайер. — И не для поправки здоровья.

На что миссис Федерстон заявляет:

— Что до меня, то я и носа на улицу не высуну. Возможно, пребывание здесь не слишком удобно, но мы по крайней мере не погибнем. Да и такая метель долго не продлится.

Дайер встает:

— Если вы, господин Абу, будете столь добры, чтобы попросить для меня у монаха немного провизии, то я отправляюсь один.

— Вы и вправду хотите идти, сударь? — спрашивает пастор.

— Да.

Дайер уходит. Оставшиеся глядят друг на друга вытаращенными глазами, и Федерстон говорит:

— Он обезумел. Совершенно обезумел.

Пастор соглашается:

— Наверное, удар по голове подействовал на него сильнее, нежели мы полагали. Мне случалось и раньше видеть людей с сотрясением мозга; часто в течение некоторого времени они пребы-

вают не в своем уме. Попытаюсь уговорить его.

— Сделайте одолжение, — говорит Абу, — проследите, чтобы он взял только свои вещи. Все, что он возьмет, пропадет непременно.

Пастор с трудом пробирается вдоль монастыря к конюшне. Снаружи стоит «Мэми Сильви», вся заваленная снегом. Но внутри конюшни на удивление тепло и уютно. Горят две лампы, взятые из экипажа. Пахнет конской шкурой, навозом и сеном. Скудная монастырская десятина, свидетельствующая о том, что путников, кажется, бывает здесь больше, чем им представлялось. Джеймс Дайер осматривает у своей лошади подковы. Кучер, попыхивая трубкой, занят другими лошадьми. Рядом, жуя соломинку, вертится Понко.

Пастор подходит сзади к Дайеру и заговаривает с ним тихим, умиротворенным голосом. Дайер злится, поняв, что еды ему не принесли, и идет назад, в монастырь. Пастор остается ждать в конюшне. Он улыбается Понко. Кучер показывает куда-то на крышу. Его преподобие не понимает, что тот пытается ему рассказать. Кучер выговаривает слова, словно обращаясь к ребенку. Пастор может лишь разобрать «ехать» и «снег», но вдруг замечает, куда именно показывает кучер. Длин-

ные, загнутые на концах деревяшки. Ну конечно же, это те самые полозья, о которых говорил Абу. Когда Дайер возвращается, пастор сообщает ему о полозьях. Сегодня, без сомнения, уже ничего не поделаешь, но вот завтра или послезавтра…

— Вы кое в чем помогли мне вчера, — перебивает его Дайер, — и я вам за это весьма благодарен.

— Выкажите мне, сударь, свою благодарность, оставшись здесь еще на сутки. Вы не можете ехать. А что будет с форейтором? Только вы один можете его спасти.

Дайер выводит лошадь из конюшни.

Пастор, прикрывая от снега глаза, смотрит, как он уходит. Лошадь плетется медленно, с трудом разбирая дорогу, всадник ее пришпоривает. «Мне следовало остановить его, — говорит сам себе пастор. — Человек едет навстречу собственной гибели».

В конце дня Дайер возвращается. Компания собралась у очага. Между пастором и месье Абу разложена доска для игры в триктрак. Понко, ничего не понимая, следит за ходами как зачарованный. Издалека слышится стук в дверь. Старый монах пробуждается от своих раздумий, уходит и через четверть часа возвращается с Дайером. Хирург в застегнутом пальто и с саквояжем в

каждом посиневшем кулаке. Говорить он не может, ибо лицо замерзло от ветра. Его усаживают как можно ближе к куче тлеющих шишек. С одежды начинает капать растаявший снег, потом поднимается пар. Мистер Федерстон протягивает Дайеру свою флягу. Дайер делает глоток, и к лицу его приливает кровь. Голосом, подобным голосу ледяной пустыни, говорит:

— Меня подвела лошадь.

За целый вечер он больше не произносит ни слова.

На завтрак им дают лишь небольшой кусочек сыра и черного хлеба. Хлеб такой черствый, что, прежде чем откусить, приходится размягчать его над огнем.

— Как чувствует себя раненый? — спрашивает Абу.

— Сами можете взглянуть, месье. На руке гангрена.

— Нелегко будет его похоронить, — замечает Абу. — Земля как железо.

Входит Дайер и, сев к столу, говорит:

— Снег прекратился.

— Прекратился, сударь, — подтверждает Абу. — Но надеюсь, вы не собираетесь повторять свои вчерашние приключения. Сегодня вам придется

идти пешком.

С улыбкой он выдерживает взгляд доктора. А пастор говорит:

— Коли уж нам пришлось тут задержаться, не осмотрите ли вы форейтора, доктор?

— Он не мой пациент, ваше преподобие. Он вообще не имеет ко мне никакого отношения.

Пастор настаивает:

— Благодаря данной вами врачебной клятве он все же имеет к вам отношение. А если не клятве, то хотя бы обыкновенной человечности.

— Не льстите себя надеждой, сударь, что можете указывать, что мне следует, а чего не следует делать.

— Сударь, по-моему, кто-то должен вам указать.

— Вы дерзкий человек, сударь. Дерзкий и праздный.

— Вы зовете дерзостью желание спасти человеческую жизнь? Вы зовете это праздностью?

— Я должен ехать к императрице, сударь. Я проделал такой путь не для того, чтобы прислуживать каждому форейтору, лакею или горничной, которым вздумается заболеть и получить пулю. Таким манером я не добрался бы дальше Дувра.

Сказывается нехватка сна и горячей пищи.

Пастор чувствует, как его голос дрожит от гнева.

— Этого человека наняли вы, а ранил его ваш товарищ.

— Господин Гаммер мне не товарищ, сударь. — Дайер показывает на свою голову. — А это не прощальный поцелуй.

— Но вы ехали вместе, черт побери! У собаки и то больше сострадания.

— Вы называете меня собакой, сударь?

— Нет, сударь, ибо даже собака не бросит человека умирать только потому, что она куда-то торопится.

— Не хотите ли, сударь, испытать своей задницей силу моего сапога?

Дайер встает и подходит к пастору. Пастор поднимается. Уже много лет его не охватывали подобные чувства. Слепая ненависть. Он сжимает кулаки со словами:

— Ничто не принесет мне большего удовлетворения, чем расквасить вам физиономию, сударь. Странно, что вы вообще дожили до ваших лет.

— Назовите цену, доктор, — вмешивается Абу, — за то, чтобы помочь этому, — он делает жест в сторону форейтора, — несчастному созданию.

— Вы имеете в виду мой гонорар, месье?

— Да-да, гонорар. Слово как-то вылетело.

Дайер садится. Он абсолютно спокоен. Словно в последние три минуты не произошло ровным счетом ничего. Пастор тоже садится, от ярости у него кружится голова, и он поражен тем, что испытывает разочарование. Не отрываясь, он смотрит на свои ногти. Пальцы его дрожат.

— Вам это будет стоить лошади, — говорит Дайер.

Абу качает головой:

— Нет, сударь, вы уже потеряли одну. И мы не допустим, чтобы вы потеряли нашу. Подумайте о своем положении. С нами, не сегодня, но в скором времени, вы доберетесь либо до ближайшего города, где сможете нанять экипаж, либо до самого Санкт-Петербурга, ибо мы тоже следуем туда и сочтем за честь доставить вас к императорскому двору. Однако без нас… — Он многозначительно пожимает плечами. — Как видите, сударь, сила на нашей стороне. Как вы полагаете, ваше преподобие?

— Не только полагаю, но так оно и есть, месье.

Дайер берет со стола кусок черного хлеба, разглядывает его и кладет назад со словами:

— Мне требуется, сударь, слово чести, что вы довезете меня до Санкт-Петербурга без лишних

проволочек. Что мы ни часу не потратим зря. Согласны?

Абу смотрит на пастора. Пастор кивает. Абу протягивает Дайеру руку:

— Согласны.

4

Его преподобие Джулиус Лестрейд
к леди Хэллам
Плунге? ноября 18

Дорогая леди Хэллам!

Не знаю, когда у меня появится возможность отправить это письмо. В настоящий момент я нахожусь в монастыре между Кенигсбергом и Ригой, и, если не считать маленькой деревушки — о которой подробности далее, — мы точно в пустыне и по уши в снегу, ибо по дороге были застигнуты настоящей снежной бурей.

К нашей компании, в коей все пребывают в добром здравии, хоть и испытывают недостаток в хороших постелях, присоединился не кто иной, как один из докторов, вслед за которыми мы отправились в Санкт-Петербург! Речь идет о докторе Дайере, коего, к несчастью, ограбил и ранил человек, путешествовавший с ним совместно. Дело это темное, но имевшее почти роковые последствия для форейтора, оставшегося с простреленной рукой. Теперь бедняга тяжело болен и лежит не более чем в двух ярдах от того места,

где я пишу вам это письмо. Дайер, получивший ужасный удар по голове, поправился поразительно быстро, да и вообще кажется мне человеком во всех отношениях незаурядным. Он хладнокровен и, судя по всему, невероятно живуч. Мы надеемся, что он прооперирует форейтора сегодня вечером или завтра утром, так как очевидно, что форейтору следует отнять руку, дабы сохранить жизнь. У него на языке коричневый налет и краснота по краям.

Трудно сказать, сколько мы будем вынуждены пробыть здесь. Погода улучшается. Это означает, что снегопада больше нет, но земля вся покрыта снегом, и дорога еще несколько недель может оставаться непроезжей! Наше спасение, возможно, будет сопряжено с обнаруженными в конюшне деревянными полозьями, которые обычно используются в здешних краях для превращения коляски в некое подобие саней. К несчастью, такое превращение трудноосуществимо, поскольку переделки должны затронуть не только полозья, но и оси нашего экипажа.

Сегодня в полдень мы ходили по снегу в деревню за едой — ваш покорный слуга, месье Абу, господин Федерстон и мальчик по имени Понко, бывший нашим вожатым. Поначалу мы долго не

могли придумать, как идти по столь глубокому снегу. Однако на все вопросы всегда находится ответ. Старый монах, который, если не считать мальчика, является единственным обитателем монастыря, подвел нас к огромному чулану, помнящему, судя по небывалому количеству пыли и паутины, еще допотопные времена. Старец показал нам хитрые приспособления, принадлежавшие его братьям-монахам. Они надеваются на ноги и похожи на ракетки, в коих полоски кожи натянуты на деревянный обод размером в большую сковороду. Многие со временем развалились, но мы в конце концов нашли себе по паре и благодаря этому вышли в белое сверкающее море.

Месье Абу благоразумно прихватил с собою пару закрашенных очков для защиты глаз от отражаемого снегом солнца, сияние коего поначалу чрезвычайно мешало господину Федерстону и мне. Однако еще большие неудобства приходилось нам терпеть от снегоходов, пока мы не научились кое-как ими пользоваться. Не берусь вспомнить, сколько раз ваш покорный слуга оказывался носом вниз или ногами вверх, но ваша светлость даже представить себе не может, как трудно в этой обуви сохранить равновесие,

не говоря уж о достоинстве! Господин Федерстон выполнял такие же кульбиты, и даже месье Абу два или три раза ткнулся своим галльским носом в ледяной наст. И все же, выучившись на собственных ошибках и следуя примеру Понко, мы довольно скоро стали передвигаться, точно жуки-плавунцы по поверхности пруда.

Нашим первым впечатлением от деревни была завеса серого дыма; один из домов на краю деревни — а все они сложены из бревен — сгорел дотла. Судя по тому, как был вытоптан снег вокруг тлеющих балок, было похоже, что все жители пришли на помощь погорельцам, хотя совершенно ясно, что их старания не увенчались успехом, ибо от дома ничего не осталось. Понко разволновался и, без сомнения, рассказал нам всю историю, так как бедняга долго о чем-то бубнил и тарабанил, кроя самые невероятные рожи.

В самой же деревне на улице не было видно ни души, а единственным признаком, что она обитаема, оказался огромный английский дог, очень злобно зарычавший при нашем приближении, но убравшийся восвояси, когда Понко запустил в него несколько раз снежком. В деревне не было ни церкви, ни каких-либо других строений, пригодных для христианского богослу-

жения. Когда я заговорил об этом с Абу, он сказал, что обитатели этих мест совсем не обязательно христиане, что они предпочитают поклоняться богам своих предков, а многие обожествляют природу и что священники до сих пор вынуждены срубать деревья, которые в народе считают священными. Не удивило ли меня ранее, куда подевались все монахи? Я сказал, что, по моему мнению, в некоторых уголках Англии тоже есть деревни, где христианству еще только предстоит укорениться, но Абу ответил, что здесь суеверия очень глубоки, и, проходя по деревне, я увидел несколько вырезанных из дерева идолов, что заставило меня поверить его словам. Поэтому я был рад, что с нами пошел Понко, ибо неизвестно, как бы нас приняли, явись мы без него.

Еды мы смогли раздобыть не так уж много. Люди, оно и понятно, неохотно расстаются со сделанными на долгую зиму запасами. Однако нам все же удалось разжиться несколькими колбасами, маслом, каплуном, твердым желтым сыром и кожаным мехом с местным «вином». За все это пришлось отдать хороший нож, купленные в Кенигсберге перчатки и защитные очки месье Абу. Мне было жаль перчаток, но их ведь не съешь. На обратном пути каплун сбежал, и

нам пришлось пуститься в погоню. Господин Федерстон, отличающийся отменным аппетитом, а потому крайне заинтересованный в поимке беглеца, настиг его, когда тот добежал до самой кромки леса, и спрятал за пазуху, где каплун сидел тихо, пока ему не свернули шею. Приготовлением пищи занимается Абу. Наш друг монах поделился несколькими картофелинами, и мы даже обнаружили какие-то старые засушенные травы, свисавшие с балки потолка. Бульон будет очень питателен для форейтора. Надеюсь, он даст ему силы перенести предстоящее испытание.

Что до меня, то здоровье мое, кажется, улучшилось. Воздух бодрящ и свеж. Надеюсь и верю, что вернусь в Кау не только в чем-то мудрее касательно своих представлений о мире, но и будучи в состоянии служить вам всем сердцем, занимая тот пост, который был дан мне вашей милостью. Вот уж воистину пути Господни неисповедимы.

Месье Абу велит передать вашей светлости поклон и просит, чтобы вы позволили мне на этом закончить, ибо пришел мой черед мешать еду в котелке. А потому остаюсь вашим благодарным, верным и преданным слугою

Джулиус Лестрейд.

5

Насытившись, они вот уже час сидят вокруг стола, пребывая в оглушенном состоянии и разливая вино из меха, и мысли их плывут, кружась и успокаиваясь. Пастор набивает трубку, угощает своих спутников табаком. На стол неслышно прыгает кошка и принимается грызть куриную кость.

Абу спрашивает, не желает ли общество поразвлечься. Да, пожалуй. Что он предложит — карты, триктрак или отгадывание загадок?

Абу качает головой, встает и, извинившись, выходит. В отсутствие Абу мистер Федерстон говорит:

— Благодаря ему мнение госпожи Федерстон о французах совершенно переменилось.

— Надеюсь, к лучшему? — осведомляется пастор.

— Совершенно переменилось, — повторяет мистер Федерстон.

Входит Абу с тремя ящиками. Два из них по размеру напоминают детский гробик, третий — поменьше, и все сделаны из отменно отполированного самшита.

— Я боялся, что холодная ночь их испортит, но нет, все оказалось в порядке. Сначала надобно очистить стол.

Ножи и тарелки всевозможных размеров и видов складываются на пол. Стол вытерт. Кошка спрыгивает со стола, потом забирается на колени к монаху.

Абу ставит ящики у своих ног. Его преподобие слышит, как он их открывает, а затем раздается звук, словно заводят часы.

— Позвольте представить вам, — говорит Абу, — изысканную светскую пару.

Он поднимает на стол фигурки господина и дамы, одетых в элегантные французские туалеты, чуть меньше двух футов высотой каждая. Абу дотрагивается до замочков у них на спине, и куклы начинают прохаживаться: господин — помахивая своей витой тросточкой, дама — поворачивая головкой и поднося к лицу кружевной платочек, словно нюхая духи, которыми он надушен. Кошка встает на коленях у монаха, выгибая спину. Фигурки останавливаются напротив Джеймса Дайера, сидящего во главе стола. Кланяются, поворачиваются на невидимых колесиках, продолжают свой променад в обратную сторону и, когда кончается завод, доходят как раз до того

места, где сидит месье Абу. Тот вновь укладывает их в ящики.

— Стало быть, вот каково ваше дело, месье, — говорит пастор. — Вы торгуете заводными куклами?

— Во Франции, — отвечает Абу, — джентльмен никогда не признается, что занимается торговлей, но среди англичан я могу ответить на ваш вопрос утвердительно, не рискуя своей репутацией. Да, я торгую, ваше преподобие. Среди моих покупателей герцоги, князья, короли и, бог даст, императрица. Мои куклы самые великолепные в Европе — и самые дорогие. Потому, путешествуя, я, быть может, чересчур осмотрителен. Прошу меня за это простить. Не хотите ли взглянуть на… autre chose?[43]

Он ставит на стол ящик поменьше, открывает и вынимает дуэльные пистолеты такой изящной работы, какой пастору никогда и видывать не приходилось. На обоих Абу взводит курки и оглядывает присутствующих.

— Доктор Дайер, не окажите ли вы мне любезность? Мистер Федерстон, пожалуйста, передайте один доктору. Осторожно, сударь, механизм

---

[43] Примечания: 43
Кое-что еще *(фр.)*.

очень тонок.

Федерстон берет пистолет со словами:

— Надеюсь, он не заряжен!

Абу поворачивается к Федерстону, но на его лице нет ни тени улыбки, ни следа не осталось от радушного хозяина, веселого, изобретательного попутчика. Федерстон явно смущен. А вместе с ним и его преподобие. «Если он играет, — думает пастор, — то играет отлично». Меж тем Абу говорит:

— Конечно, они заряжены. С таким человеком, как господин Дайер, не шутят. Ведь, насколько я понимаю, вы доктор, а не какой-нибудь цирюльник, сударь.

Дайер берет пистолет из рук Федерстона:

— Не советую вам сомневаться, месье.

Абу поднимается с места. Встает и Дайер. Миссис Федерстон покашливает. Монах гладит кошку.

— Хотелось бы еще раз посмотреть ваших кукол, месье, — вступает в разговор пастор. Но Абу не обращает на него внимания.

— Госпожа Федерстон, дайте, пожалуйста, команду стрелять. Когда вам будет угодно.

Пастор с удивлением рассматривает Абу. Какое лицо! Глаза сузились до маленьких черных

точек, губы плотно сжаты, челюсти напряжены. Пистолет в вытянутой руке направлен прямо Дайеру в грудь, в самое сердце. Дайер медленно поднимает свой. Какое наслаждение следить за его движениями, думает пастор, рядом с ним кошка и та кажется неуклюжей. Но Абу явно что-то задумал. Понимает ли это Дайер? Ведь Абу для него человек посторонний. О чем он думает, когда видит нацеленный в сердце пистолет? Судя по его виду, ему все равно. Нет человека опаснее того, кому все равно. Не считает ли он себя бессмертным? Может, в этом все дело?

— Огонь!

Невозможно сказать, чей палец раньше нажал на спусковой крючок. Пастору, сидящему на одинаковом расстоянии от обоих, слышится, что хлопки выстрелов почти слились в один, хотя, если быть очень точным, он сказал бы, что Дайер оказался на долю секунды быстрее. Но нет ни вспышки, ни грохота. Однако же что-то, какой-то яркий предмет… Какой?.. Птички! Маленькие, украшенные каменьями птички медленно появляются из стволов каждого пистолета, хлопая своими золотыми крылышками и заливаясь механической песней — полдюжины музыкальных нот отдаются в глубокой тишине комнаты самым

нежным и приятным звуком.

Сзади раздается исступленный, полный ужаса вопль:

— Jesu! Bin ich tot?[44]

На своей соломенной постели сидит форейтор, оглядывая присутствующих безумным взглядом. В руке Дайера, как и в руке Абу, маленькие птички, сложив крылышки, прячутся назад в пистолетные стволы.

[44] Примечания: 44
Боже! Я умер? *(нем.)*

6

— Время?

Миссис Федерстон со старыми часами Гримальди в руках отвечает:

— Три минуты. Быть может, чуть меньше.

— Ну что, ваше преподобие, вы довольны?

Пастор не сразу обретает дар речи.

— Поздравляю вас, доктор, — говорит он наконец, — это было…

Дайер моет руки в ведре, очищая пальцы от сгустков крови. Взяв у миссис Федерстон свой сюртук и часы, покидает комнату. Остальные, подавшись вперед, смотрят на человека, лежащего в бесчувствии на столе.

— Что нам теперь с ним делать? — спрашивает миссис Федерстон.

— Не много найдется работы для однорукого форейтора, — отвечает ее муж.

7

Смеркается. Преподобный Лестрейд неуклюже тащится на своих снегоходах в сторону леса. Между тем в конюшне остальные путешественники прилаживают полозья к «Мэми Сильви». Делом этим они занимались почти целый день — расчистили сугробы, в которых увяз экипаж, сняли задние колеса и прикрепили два полоза, хотя пришлось изрядно построгать и постучать молотком. Без сквернословия тоже не обошлось, в чем, к стыду своему, его преподобие весьма преуспел.

Теперь, ища уединения, он вышел насладиться прелестью вечера. За лесом садится белесое солнце, кругом лежит сине-серый снег, свет пронизывает воздух, и небо похоже на огромный стеклянный колокол, в котором редкие звуки природы наполняют печальную тишину. Мир и час, созданные для уединения. Пастор вкушает разлитое вокруг очарование и с каждым шуршащим шагом все более и более ощущает у себя внутри живую душу, заполонившую все его естество. В такую погоду нужно сочинять гимны во славу Господа.

От монастыря до черной кромки леса всего лишь полмили, а быть может, и того меньше, но приближается она медленно, точно береговая линия к стоящему на палубе мореходу. И, подобно берегу, лес вырастает перед ним внезапно, и он вдруг начинает ясно различать его очертания — каждое дерево по отдельности: они уже не черные, а зеленые и лиловые. У опушки он останавливается и глядит назад. Кто-то стоит у монастырской стены. Не разобрать. Пастор машет рукой, но человек не отвечает. Возможно, в лесной тени тот его не видит. Лестрейд поворачивается и заходит в лес. Дальше идти ни к чему. Разве что еще несколько ярдов. Но каков соблазн! Такой лес бывает только в сказках. Он углубляется в чащу, будто пробираясь к логову великана-людоеда или дракона, а быть может, к прекрасной принцессе.

Потом, в грядущие лета, постаревший, с негнущимися членами, когда его уже не будут более ждать никакие путешествия, кроме самого последнего, он задумается о том, как бы все обернулось, если бы, достигши опушки, он решил пойти назад. Поступил ли он именно так, как того желал человек у монастырской стены? Или все они были лишь ничего не ведающими ис-

полнителями всемогущей воли, которая давно уже предназначила ему не останавливаться, а идти глубже и глубже в чащу, пока он не увидит огни, собак и женщину, со всех ног бегущую от погони…

Она бежит совершенно бесшумно по снеговой наледи, так тихо, что он вполне мог бы подумать, что перед ним дух, привидение. Лишь по сероватому пару, вырывающемуся у нее изо рта, он понимает, что она живая. За несколько футов перед тем местом, где притаился пастор, женщина останавливается и смотрит прямо на него. Огни преследователей надвигаются на них в сумерках. Прелюбодейка? Ведьма? Он протягивает к ней руку. Его жест непроизволен, и на мгновение кажется, что она вот-вот подойдет ближе. Но она отскакивает, легкая и быстрая, как косуля, и уже бежит между деревьями, а факелы преследователей разворачиваются по лесу мерцающей сетью. Пастор думает: «Ее поймают и убьют на месте. А что будет со мной? Какой закон убережет меня в этой глуши?» Здравый смысл подсказывает, что надо уходить, что не след ему вмешиваться не в свое дело. Но он ждет и даже прокрадывается немного вперед. Слышен смешанный шум собачьего лая и человеческих голосов. Огни со-

бираются в одной точке. Неужели догнали? У пастора дрожат колени. Он медленно продвигается ближе, скользя по снегу и почти не дыша. В свете факелов он видит танцующие на снегу тени. Это преследователи. Неужели все-таки догнали? Он ждет крика, какого-нибудь звука, свидетельствующего об убийстве. Но огни рассеиваются, удаляясь в глубь леса, и очень скоро ни голосов, ни лая собак уже нельзя более различить.

Да, они были здесь. Здесь, где снег весь перерыт. Он чувствует оставленный ими запах, запах жира от факелов. Оглядывается и замечает на земле тело женщины. Он идет к нему, ожидая увидеть нечто ужасное — утративший первозданную белизну снег, зияющую рану на горле. Но вот он наклоняется, дотрагивается до платья — пусто. Платье, ботинки, чулки, шарф. Вся ее одежда. Он потрясен даже больше, чем если бы увидел мертвое тело. Поистине, это, должно быть, ведьма — нагая, она взмыла в воздух. А может, они раздели ее и увели, чтобы вдоволь поиздеваться, прежде чем убить? Он собирает вещи. Ткань все еще хранит остатки человеческого тепла, и вот тут-то, засовывая под мышку куль одежды, он отчетливо ощущает, что она где-то здесь, совсем рядом с ним. «Я друг, — говорит он, — я друг,

друг».

Он берет ее шарф, привязывает к ветке, что пониже, и изо всех сил спешит, делая большие шаги, по скользкой наледи, по сверкающему снежному полю прямо к монастырю. Его компаньоны уселись полукругом у огня. Они оборачиваются, пораженные выражением пасторского лица, а также свертком, судя по всему, женской одежды, зажатым у него под мышкой.

Лестрейд без всяких объяснений говорит, что они должны идти вместе с ним, причем говорит так настойчиво, так уверенно, что месье Абу сразу же застегивает пальто. Следом поднимается Федерстон, хотя жена и пытается дернуть его за локоть. И совсем уж удивительно ведет себя Дайер, что, правда, в тот момент никому не приходит в голову. Он идет вместе с Абу, надевает у двери снегоходы и спешит следом за ринувшимся вперед пастором.

Никто не произносит ни слова, пока они не достигли опушки. Наконец пастор объясняет:

— Там нужна наша помощь. Одной женщине. За ней гнались…

— Вы знаете, где она? — спрашивает Абу.

— Я знаю, где ее искать.

Дайер молчит, пытаясь разобраться в каких-

то своих мыслях, подгоняемый вперед тем же непреодолимым влечением, которым охвачен и пастор.

Тяжело дыша, они ступают в лес. Пятна лунного света лежат точно кости под разорванным покровом листьев. Преподобный Лестрейд думает, а найдет ли он то место, но, думая так, он все равно знает, что непременно найдет, и ничуть не удивляется, когда в темноте замечает висящий на дереве шарф.

Начинаются поиски. Он тычет палкой в мохнатые еловые лапы, укрытые снегом с дрожащими на нем тенями. Двое других, следуя его примеру, делают то же самое. Полчаса они бродят кругами, возвращаясь наконец на прежнее место. Пастор чувствует, что замерзает. Неужели он привел их сюда понапрасну? Отчего он решил, что женщина должна быть здесь? Бессмыслица. И все же, убегая из леса, он был уверен, что, когда вернется, она будет тут, что она спряталась и ждет его. Он замечает блеск в глазах Дайера и подбирает подходящие слова, чтобы извиниться. Но Дайер говорит:

— У вас была ее одежда?

— Да.

— Долго на таком морозе она не протянет, —

говорит Абу.

— Ей надо было, чтоб собаки потеряли след.

Дайер смотрит через плечо пастора. Бросается мимо него к сугробу у подножия огромного дерева. Из снега торчит что-то темное. Дайер опускается на корточки. Неуверенно тянется вперед. Это рука.

Они копают, согнувшись над снежным холмиком, как кладбищенские воры, отбрасывая в стороны снег. Роют по линии руки до еще чуть теплой подмышечной впадины. Откапывают плечо, грудь, шею. Потом лицо — сначала подбородок, затем рот и глаза.

— Она жива? Дышит?

Дайер прикладывает руку к шее женщины, чтобы прощупать пульс, их лица совсем рядом, щекой он почти касается ее рта.

— Она жива, доктор?

— Едва.

— Сдается мне, у нее нет никаких ран, благодарение Господу.

— Сама себя закопала, обманщица.

Пастор снимает пальто и говорит:

— Нужно вытащить ее и отнести в монастырь.

Женщину поднимают.

— Какая маленькая, — говорит Абу.

Ее заворачивают в пальто Лестрейда. Сам он принимается тереть ей руки и чувствует, как они оживают под его прикосновением. Женщина открывает глаза, и у нее в белках отражается лунный свет. Его преподобие говорит:

— Мадам, мы хотим вам помочь. Не бойтесь. Скажите ей, месье, чтобы она не боялась.

— Она не боится, — говорит Дайер.

— Придется ее нести, — говорит Абу. — Надо уходить отсюда. Не мешкая. Вы из нас самый молодой, господин Дайер. Полагаю, и самый сильный. Вам и нести первому. А потом мы тоже понесем, по очереди. Allez![45]

Дайер берет женщину на руки. Ее голова спокойно ложится к нему на плечо. Они все вместе выходят из леса. Временами откуда-то издалека слышится вой собаки, а быть может, и волка. Пастор дрожит и думает о том, как бы хорошо ему было сейчас в пальто. Вдруг на него наваливается усталость. А луна все плывет низко по краю неба. Он не знает, что именно произошло, но что произошло — в этом нет никакого сомнения. Он не понимает, что именно изменилось, но точно знает, что изменилось. И он рад, что Джеймсу Дайеру

---

[45] Примечания: 45
Вперед! *(фр.)*

не требуется помощь, чтобы донести женщину до монастыря.

8

Женщина — ибо иного имени у нее нет, пока пастор не назовет ее Мэри в честь своей покровительницы Мэри Хэллам, — надела свою старую одежду, а также красновато-коричневую шерстяную накидку госпожи Федерстон. Из-под капюшона она наблюдает за кучером, который укладывает дорожные саквояжи и сундуки в короб для багажа позади экипажа. После долгого стояния в хлеву кони нетерпеливо трясут головами и бьют копытами по снегу. Кучер последний раз проверяет полозья, кроит гримасу, трясет головой. Преподобный Лестрейд, выходя из дверей монастыря, приветствует дам, справляется, а не хотели бы они отправиться в Санкт-Петербург на коньках? Миссис Федерстон объявляет, что она будет счастлива уехать отсюда каким угодно способом, даже верхом на осле, лишь бы поскорее добраться до более цивилизованного места.

Потирая коченеющие руки, пастор задумывается о том, кто сейчас носит его перчатки, затем помогает дамам забраться в экипаж. В меховом пальто появляется Федерстон.

— Ну, Федерстон, как вы полагаете, доедем ли?

— С божьей помощью, сэр. Вы по-прежнему считаете, что брать с собой эту женщину благоразумно?

— Я считаю, что это наш долг.

— Я лишь хочу сказать, что у тех людей, у преследователей, возможно, была причина… Им, наверное, не понравится наш поступок.

— Надеюсь, сэр, они ничего не узнают.

— Нам и без того тесно, ведь и доктор тоже отправляется с нами.

— А вы бы оставили их здесь, мистер Федерстон, ради более удобного путешествия?

В дверях появляется Джеймс Дайер, на нем коричневое пальто и бриджи, длинный серый плащ. Он смотрит на небо, потом на коляску.

— Вы находите состояние форейтора удовлетворительным? — спрашивает пастор. — Мне показалось, что сегодня утром он выглядел совсем неплохо.

Дайер кивает головой:

— Он будет жить.

Доктор смотрит мимо пастора через открытую дверь на коляску.

Федерстон уже сидит внутри и, склонившись, беседует со своей женой. Между ними женщина.

Пастор, следя за взглядом Дайера, говорит:

— Мороз не причинил ей вреда. Надобно решить, как лучше поступить с ней. Не можем же мы взять ее с собой в Петербург.

— Тогда что вы намереваетесь делать, ваше преподобие? — спрашивает в ответ Дайер. — Поселить ее в монастыре? — Он издает какое-то фырканье, означающее, по-видимому, смех. — А как вы объясните ее зубы и татуировку?

— Я совсем забыл про татуировку.

Появляется месье Абу, жадно вдыхая морозный воздух.

— Tout est prêt?[46]

— Только нам осталось сесть в экипаж.

Старый монах поднимает руку — знак благословения.

Коляска качнулась, и вот она уже летит вперед на удивление гладко.

— Недостает лишь колокольчиков, — говорит Абу. — Динь-динь, динь-динь!

Рядом, спотыкаясь и падая, бежит Понко, покуда «Мэми Сильви» не обгоняет его. Стоя на коленях в снегу, он машет что есть мочи, словно в коляске сидят его последние и единственные друзья на свете.

---

[46] Примечания: 46
Все готово? *(фр.)*

Миссис Федерстон расположилась у правого окна коляски и смотрит назад, следя взглядом за плавно изгибающимся следом полозьев. Рядом с нею муж, а за ним Мэри. Месье Абу устроился напротив миссис Федерстон (с его места видна нетронутая снежная равнина, один из коней и брызги снега из-под ведущего полоза). Рядом, с книгой в руке, преподобный Лестрейд. Он смотрит то в одно окно, то в другое и время от времени сгибает и разгибает затекшую спину. Справа от пастора Джеймс Дайер глядит себе под ноги или в окно, но чаще пристально, словно забывшись, на женщину, сидящую перед ним.

После двух дней пути они прибывают в Ригу. Останавливаются на постоялом дворе в тени замка. Федерстоны, Абу и пастор располагаются в двух комнатах. Дайер и Мэри занимают каждый по комнате — их оплатил месье Абу. На обед путешественников потчуют кабаном. Дайер отыскивает английского купца и спрашивает, не слыхал ли тот о каком-нибудь английском докторе en route[47] в Санкт-Петербург. Купец ничего не слыхал. Его жена-латышка мотает головой. Через Ригу проезжает столько народу. Больше,

[47] Примечания: 47
Держащем путь *(фр.)*.

чем через Берлин и Лондон!

Ранним утром следующего дня, когда запряжены свежие лошади, вся компания забирается в промерзший экипаж, крепко сжимая взятую в дорогу провизию — булочки, перченые колбаски, сваренные вкрутую яйца. Мэри все еще с ними. Никто не возражает. Даже Федерстон ей улыбается и галантно очищает от скорлупы яйцо. Они едут на север в сторону Валги. Его преподобие делает заметки и зарисовки на последних страницах «Кандида».

22 ноября. Дороги плохи, но по снегу легче. Сегодня упал, но почти не ушибся. Федерстон. Небо цвета пепла. Днем: миссис Ф. тошнило, лицо зеленое. Остановились. М. надавила ей пальцами у висков. Ф. сразу легче. В экипаже дурно пахнет, но слишком холодно, чтобы открыть окно. Говорили мало.

23 ноября. Дж. Дайер — иногда кажется, он не понимает, что делает. Совершенно ДРУГОЙ человек, не тот, что зашивал себе голову и отрезал форейтору руку. Постоянно смотрит на М. Не могу поверить, что он в нее влюбился, но у нее над ним какая-то власть. Абу тоже так говорит. Ему забав-

но. Абу рассказал анекдот, довольно risqué,[48] об императрице и ее коне. Госпожа Ф. слишком громко смеялась. Спине моей после отъезда из П-жа впервые стало лучше. М. ни разу не сказала ни слова, во всяком случае, я не слышал. Кажется, сегодня в сумерках я видел медведя.

По дороге повстреч. кавалеристов. Офицер заглянул в коляску и отдал честь. Красавец. Впечатляющ, шрам на щеке.

24 ноября. Вчера вечером — в Псков. Крепость и церкви. Впервые попроб. квас, напиток из солода. Хор. утоляет жажду. В Новгород не поедем. А я намеревался посмотреть. Поедем вдоль берега оз. Пейпси в сторону Нарвы. Так доберемся до Финского з-ва, а оттуда совсем близко до конечной цели нашего путешествия. У всех прекрас. настроение, кроме Д., кот. явно не в своей тарелке. М. живет в собств. особ. мире. Глаза — странное чувство, когда в них смотришь. Но на черную кошку не похоже, в лице нет ничего злого. Внизу: рисунок оз. Пейпси.

25 ноября. Гуляли по белому песку залива. Ура! На той стороне — Хельсинки. Спросил Д., уверен

---

[48] Примечания: 48
Рискованный *(фр.).*

ли он, что выиграл гонку. Наверное, я говорил по-китайски, ибо он не ответил. Интересно, каково мнение М. о нем. Ведь это он нашел ее, вынес из лесу. Ни за что не мог бы представить ее женой! Лед. Видел англ. корабль, выходящ. из залива. Думаю, до весны больше кораблей не будет. Возвратившись в коляску, заметил, что Д. хромает. Когда спросил, в чем дело, он ответ., что не знает, потом — что упал. Странно, местность вокруг соверш. ровная.

26 ноября. Много выпили вина вчера вечером и сегодня сидим в экипаже тихие и молчаливые. Во время ужина Д. вел себя почти по-человечески. Принялся рассказывать о сестре, о том, что дурно с ней поступил. Почувствовав его настроение, спросил в лоб: кто ваши родители, сэр? Д. покачал головой. А Гаммер был вам другом? Д. ответил, что когда-то был. Г. причинил ему много зла, и он в свою очередь поступил с ним так же и иногда сожалеет об этом. Казалось, его мучают какие-то воспоминания. Видел весьма непристойный сон, вызванный вчерашними возлияниями Бахусу. Не стану писать, кого он касался. Стыдно, но очень приятно. Когда спустился утром к завтраку, заметил сидящ. на лавке М., а рядом огром. злоб. собаку, кот. нас так напугала прошлым вечером.

Она, как щенок, дремала у ее ног. Голова моя гудит. Все думаю, не попросить ли М. потереть ее. Хотя это, пожалуй, неправильно. Внизу рисую портрет госпожи Ф., которая сидит напротив и сопит, как кузнечные мехи.

27 ноября. Сегодня вечером должны прибыть на место — лишь бы не подвели лошади, полозья и дороги. Благодарение Господу и его слуге месье Абу. Не говорил с ним на такие темы, но подозреваю, что он деист, агностик или кто-нибудь в этом роде. Не так уж и важно. Он мой друг. Без такого путешествия я бы изнывал от тоски месяцы и годы. Когда человек заходит в тупик, ему следует что-нибудь предпринять. Я был глуп и все же понимаю себя и получаю утешение от мысли, что благодаря этому вояжу стану лучшим пастухом для своего стада. Я скучаю по Диди, по Кау и леди Х. и по своему саду, кот. так мил и уютен даже зимой. Федерстонов я всегда буду вспоминать с нежностью, хотя и уверен, что в Англии мы видеться не будем. Д. я также не увижу. Не увижу и М. Уверен, что ее надо оставить в покое. Она принадлежит к тем, кто всегда пробуждает у невежд предрассудки. Вот рисунок ее зубов. Количество и цвет моего утреннего стула вполне удовлетворительны. Почти уже начал думать,

что Д. сходит с ума. Молю Бога, чтобы я ошибался. А может, так всего лишь начинается некое физическое заболевание — даже любовь! Нет ничего страшнее безумия. Сколь многим доводилось узнать тень его черных крыл. Несомненно, сойти с ума — значит быть проклятым еще до могилы.

9

В столицу они въезжают ночью. На улицах горят жаровни, а кучера дрожек, чтобы согреться, хлопают себя по плечам и рукам, глядя блестящими от огня глазами на месье Абу, который справляется о резиденции британского посланника. Кучера пальцем указывают им дорогу. Их язык напоминает скрежет мелких камешков. «Мэми Сильви» катится по городу; на Неве, на ее ледяной спине, мерцают огоньки; в высоких двойных окнах нескольких великолепных особняков видны тени танцующих. Кажется, повсюду возвышаются дворцы, павильоны, церкви с золотыми шпилями, а между ними и позади них видны деревянные трущобы и пустошь. В воздухе пахнет болотом, рекой, зимой.

В резиденции посланника вечерний прием в самом разгаре; приемы даются по всему городу. Пастор, вылезая из коляски на негнущихся ногах, замечает:

— Стоя посреди улицы, только и слышишь, как хлопают пробки от шампанского!

Слуги проводят их в залу, где они останавливаются под портретом короля Георга III, дыша на

кончики пальцев и утирая повлажневшие носы. Наверху лестницы появляется посланник. Он что-то жует, и за ворот заткнута салфетка.

— Чем я могу быть полезен?

Все ждут, что ему ответит Дайер, назовет себя. Но он молчит, и тогда, указав на Дайера, отвечает пастор:

— Это доктор Дайер, сэр. Прибыл из Англии.

— Дайер? Врач?

— Он приехал, чтобы привить оспу императрице, — поясняет пастор.

— Привить оспу? Ах да, конечно. Черт! В таком случае нам следует поспешить. Позвольте мне переодеться. Я запачкал свой камзол бургундским.

Он исчезает и через десять минут появляется вновь. Легко сбегает по ступенькам и зовет слугу.

— Как прошло путешествие? Надеюсь, никаких неприятностей? Вы обедали? Что нового в Англии? Я, наверное, согласился бы на ампутацию ноги, лишь бы снова попасть под английский дождь. Там у меня наверху любовница Никиты Панина и пара казачьих генералов. Я им нужен, чтобы напиться до положения риз. Молю Бога, чтоб они ее не изнасиловали, пока мы будем во дворце.

Тут в разговор вступает взволнованная миссис Федерстон:

— Разве нам не следует переодеться?

— Бог мой, нет. Теперь здесь все довольно неофициально. Не то что при Петре Великом. Да и императрица любит иностранцев. Предпочтительно французов. Но и англичане, по ее мнению, вполне сносны. Вы говорите по-французски, доктор?

Дайер качает головой.

— Не важно. Я буду вашим переводчиком. При императорском дворе русского языка и не услышишь. Разве только на той половине, где проживают слуги. Здесь все французское — язык, манеры, моды. Мы это зовем обезьяной на спине медведя. Что скажете? А вот и сани. Забирайтесь. Это волчья полость. Так как, вы сказали, ваше имя?

— Джеймс Дайер.

— Думаю, для вас приготовлены покои на Миллионной. Там за всеми превосходно ухаживают. Будем ее проезжать по дороге во дворец.

От морозного воздуха слезятся глаза. Кучер кричит, щелкая кнутом над лошадками-пони. Посланник спит. Почему Дайер не спросил, первый ли он, удивляется пастор, побоялся узнать

правду? Посланник, без сомнения, ответил бы. Что-нибудь да ответил бы.

Сани поворачивают, лошадки взметают снег. Направо замерзшая артерия реки, налево — Амстердам, Венеция, Афины. Поразительно, думает пастор, укрывшись волчьей шкурой и улыбаясь окружающим его невероятным вещам, поразительно, что дворец не потонет в реке. Однако же, несмотря на свою огромность, он кажется всего лишь нарисованным силуэтом, гигантской сценой какой-то немыслимой театральной пиесы. «Каким ветром занесло меня сюда?» — думает пастор.

— Это дворец? — восклицает миссис Федерстон, указывая вперед.

— Вот это да! — подхватывает Федерстон. — Столько огня, что можно осветить весь Бристоль.

Абу смеется:

— Наконец-то мне удалось вас поразить! Хоть далековато пришлось заехать.

Дворец проглатывает путешественников.

— Не отставайте от меня, — советует посланник. — Здесь я однажды потерял младшего сына одного английского графа. С тех пор его больше не видели.

В начале лестницы борются двое с бриллианто-

выми пряжками на туфлях. Путешественники с раскрасневшимися лицами поднимаются вверх, ловя свои отражения в огромных зеркалах. «В такой жаре можно выращивать апельсины», — замечает Абу. У основания мраморной колонны сидят на корточках несколько калмычек и следят глазами за проходящими чужестранцами. Одна указывает на Мэри, остальные, что-то лопоча, опускают глаза. Черноглазый монгольский офицер, с натянутой, как на яблоке, кожей, кивает посланнику. Тот в свою очередь машет перчаткой, перепрыгивает через пару спящих волкодавов и взбегает по следующему пролету лестницы. На рукав пастору падает капля воска. Рядом с ним идет Дайер. Бледный как полотно. Его снова беспокоит нога.

— Обопритесь о мою руку, доктор. А то мы пропадем, как тот графский отпрыск!

Мимо суетливо проносятся слуги с подносами. Запотевшие бутылки блестят от снега, из коего их только что извлекли. Один из слуг несет блюдо с рыбой, размерами напоминающей поросенка, споткнувшись, он роняет поднос, и рыба ныряет в глубины желтого воздуха. «Где императрица?» — спрашивает посланник у девочки, поедающей засахаренные розовые лепестки у

двери, через которую за карточными столами виднеются сотня, нет, две сотни господ и дам. «Tout droit»,[49] — говорит ребенок. Поцеловав ее, посланник, не оглядываясь, устремляется вперед меж ломберных столиков, жестом призывая путешественников следовать за ним. На стенах, прекрасные и всеми позабытые, в тяжелых золоченых рамах висят картины из иного мира. Прорисованные ярко-красным конечности, окровавленные герои, распутные боги, принцессы с прислуживающими им ангелами; на лицах нет улыбок; сквозь какое-нибудь окошко на заднем плане видны знойные коричневые холмы, красная тосканская черепица.

Из-за столиков между партиями ломбера и бостона иногда взглядывает на пришельцев чье-то напудренное лицо, ухмыляется, что-то шепчет и, потеряв к ним интерес, вновь обращается к картам.

В следующей комнате столы уставлены деликатесами для игроков. Стерлядь с Волги, телятина из Архангельска, украинская говядина и богемские фазаны. Ледяные кувшины с клюквенной водой, оршадом, наливкой на ягодных косточках

---

[49] Примечания: 49
Все время направо *(фр.)*.

с ароматом миндаля.

— Эти дыни, — говорит посланник, — прибыли из Буковины.

Он опускает палец в тарелку с икрой, слизывает блестящие шарики и подзывает ливрейного лакея, который удаляется и вновь возвращается.

— Мы можем войти, — говорит посланник. — Постарайтесь вызвать к себе интерес.

Пастору кажется, что они вошли в зал, где репетируют оперу, только золото здесь не нарисованное, а бриллианты не стеклянные. Как и прочие залы, которые они миновали, этот чересчур ярко освещен, чересчур изыскан, тут слишком много всевозможных вещиц, ради которых русские посланцы с толстыми кошельками колесят по всей Европе. Столь много прелестнейших приобретений, каждое из которых само по себе редкость. Собранные здесь вместе, они похожи на горы трофеев какого-нибудь восточного хана — игрушки безграничной власти.

В центре залы над бильярдным столом склонилась женщина. Слышен звук столкнувшихся шаров из слоновой кости. Сделав свой удар, она смотрит на чужестранцев, взгляд ее голубых глаз скользит по их лицам.

Среди разговоров, вежливого и грубоватого

смеха плывет голос, несомненно принадлежащий человеку, говорящему на экзотическом для здешнего двора английском:

— …Через две ночи на третью перед сном восемь гранов каломели, да-да, и восемь гранов измельченных в порошок крабовых клешней…

Дама у стола говорит по-французски с немецким акцентом:

— Кого вы привезли ко мне сегодня?

Посланник кланяется с героическим видом:

— Ваше императорское величество, я привез вам доктора Дайера из Англии. Доктора Дайера и его спутников.

Дайер делает шаг вперед, кланяется. Императрица произносит слова, явно заученные наизусть:

— Вы оказали нам честь, приехав так далеко. Мы рады приветствовать вас в нашей столице.

Где-то там, среди горбунов, скучающих карлов, фрейлин и постельничих, продолжает говорить англичанин:

— Затем я рекомендую одну восьмую грана рвотного камня, а поутру, когда проснетесь, дозу глауберовой соли.

Императрица оборачивается, и толпа расступается. Пастор уже успел догадаться, кого

им предстоит увидеть. Он слышал этот голос в Брюсселе. Доктор Димздейл, холеный и толстый, бесшумно скользит к императрице, чье расположение ему уже удалось снискать. В тишине залы присутствующие разглядывают участников этой сцены. Чужеземные господа в темных одеждах смотрят друг на друга долгим многозначительным взглядом. В глазах Димздейла холодное торжество победителя; в глазах Дайера непонимание, словно его добрый гений вдруг по неведомым причинам от него отвернулся.

Кто-то хихикает. На школьном французском Димздейл, обращаясь к Дайеру, спрашивает:

— А каково ваше мнение о глауберовой соли, господин Дайер?

Императрица хлопает в ладоши. За ней остальные. Как будто при русском дворе никому не доводилось встречать столь блестящего остроумия.

10

— Что это? Похоже на планетарий, не так ли?

— Да.

— Должно быть, он особенно дорог вашему сердцу, доктор, раз вы взяли его с собой в столь длинный путь.

— Он у меня много лет.

— Превосходная вещь. Вот это, кажется, Солнце, а это планеты?

Комната слабо освещена. Джеймс Дайер сидит у окна, а на столе рядом с ним открытый ящик с планетарием. Окно не занавешено. Кружится легкий снег. Внизу на улице сани и кареты развозят из Зимнего дворца по домам запоздалых игроков и кутил.

— По-моему, доктор, служанка затопила вам печку.

Ответа нет. Пастор думает: «Оставшись, я лишь вызову раздражение. Будет лучше, если он сам справится с постигшей его неудачей».

Его преподобие идет к двери, но тут же, не умея преодолеть естественного желания утешить, добавляет:

— Посланник уверил меня, что здесь очень

многого может добиться человек с выдающимися способностями. Очень многого. Надеюсь, вы не сочтете ваше путешествие совершенно бессмысленным.

В дальнем конце комнаты заметно какое-то движение. Мэри. Пастор не может разобрать, смотрит ли она на него: свет слишком тускл и глаза его очень устали. Однако он понимает, прекрасно понимает, что должен идти.

— Что ж, доброй вам ночи. Обоим.

Он идет в свою комнату, ощущая неясную тревогу. Отчего этот заносчивый человек, которому явно нет до пастора никакого дела, вызывает в нем такую жалость?

Его преподобие раздевается. На несколько мгновений оказывается совершенно голым в натопленной комнате, потом надевает ночную рубашку, остроконечный колпак, пару толстых шерстяных чулок. Улегшись в постель, он читает молитву, возобновив таким образом старую привычку после, как теперь ему кажется, случайного периода молчания. Он молится за Дайера, за себя, за тех, кого любит: так молятся дети. Задувает свечу. Удивительно, как тьма вдруг наваливается на него со всех сторон. Где же она пряталась, когда горел свет?

11

Федерстоны, месье Абу и преподобный Лестрейд в наемных санях отправляются смотреть на травлю собаками императорского медведя. Двух псов медведь задрал. Только в самом конце они начинают вызывать жалость. Человек вытаскивает из загона их трупы, а медведя уводят зализывать раны. На дворе пятнадцать градусов мороза, и дыхание стынет у возниц в бородах.

Ужин у княгини Д. Холодный суп, икра, пастила. Слуги вносят дам вверх по лестнице. Побившись об заклад, месье Абу выпивает залпом бутылку шампанского. Княгиня спрашивает пастора, не прибыли ли они в Россию с одним из английских докторов.

— Совершенно верно, мадам, но он нездоров.

При прощании пастор целует княгине руку.

— Непременно приходите ко мне каждый день, — говорит она.

Человек по имени Бутль ведет их на Невский рынок. Мясо глубоко заморожено и твердое как камень. Бутль осведомляется о Дайере, и пастор отвечает:

— Он не выходит сегодня.
— Плохо себя чувствует?
— Устал после путешествия.
— А та женщина?

Когда Бутля поблизости не видно, Абу объясняет пастору, что Бутль шпион. В Санкт-Петербурге, говорит он, полно шпионов.

В сопровождении Бутля они направляются в баню. Рубль за отдельное помещение, пять копеек за общий зал. «Не будем разделяться», — советует Абу. С ними Джеймс Дайер. Когда все разделись, пастор замечает дюжину красных шрамов у Дайера на спине, похожих на следы бича, и множество синяков на груди и ногах. На руках тоже шрамы, словно он продирался куда-то сквозь шиповник. Абу не по себе, это зрелище для него оскорбительно. Довольно громко он говорит, обращаясь к пастору: «Это уж слишком. Такое, знаете ли, чересчур». День испорчен.

Приключение подходит к концу. Это приключение. Абу продал свои игрушки доверенному лицу императрицы. И, как им стало известно, императрица осталась довольна. Плата была щедрой. Абу говорит, что игрушки позабавят двор неделю, не больше, потом будут уложены в ящики и забыты. Но это не важно. То же случится

со всяким. Даже с самой императрицей! Забыты, забыты… Он наполняет бокалы. Вечер. Пастор и Абу сидят одни в своих апартаментах. Джеймс Дайер с Мэри у себя. Федерстоны тоже. Трещат печки: хорошие русские печки, таких в Англии не сыщешь. Пастор думает: «Возможно, к Новому году я поспею домой. Начну все с начала. Дома».

Абу подходит к пастору и, улыбаясь, берет его за руку со словами:

— Я отправляюсь в Варшаву в начале следующей недели. Оттуда, как можно быстрее, в Париж. Поедемте вместе. Мне не хотелось бы отправляться в новое путешествие без вас.

— Не могли бы мы взять с собою доктора? — спрашивает пастор. — И женщину, если он не пожелает с нею расстаться?

— Почему бы нет, — отвечает Абу.

На следующий день они вновь приходят во дворец, но императрицы там нет. По пустынным коридорам, приглушенно беседуя, прохаживаются лишь такие же посетители, как они сами. За ломберными столиками не видно игроков, не проносятся мимо и слуги с шампанским. Вместо этого они сидят на ступеньках лестницы, едят и пьют то, что удалось украсть на кухне. Горит лишь несколько огней. Холодно. Шаги отдаются

эхом в пустынных залах. Роскошная казарма.

Вечером на Миллионной играют в триктрак и мушку, пьют кофе и вино. В полночь пастор удаляется к себе. Берет гусиное перо и роговую чернильницу, затачивает карманным ножиком кончик пера, макает его в чернила, вытирает, снова макает и начинает очередное письмо к сестре.

Его преподобие Дж. Лестрейд
к мисс Дидо Лестрейд
Санкт-Петербург, декабря в 9-й день 1767 года

Дорогая Дидо,

пишу тебе с тем, чтобы сообщить, что возвращаюсь в Англию, и, возможно, даже приеду раньше, чем ты получишь это письмо. Я направляюсь в Варшаву с месье Абу, оттуда в Париж и далее домой. Ты не можешь себе представить, как мечтаю я снова очутиться среди вас. Хотя и не жалею о предпринятом путешествии. Иметь возможность сказать, что встречался с русской императрицей, кое-что да значит. Хотелось бы мне знать, как поживает несчастный форейтор, быть может, мы получим о нем сведения на обратном пути. Все мои немногочисленные попутчики, которые вскоре направятся каждый

своей дорогой, пребывают в добром здравии, за исключением господина Дайера, который очень тяжело переживает победу доктора Димздейла.

Мороз стоит ужасный, но русские умеют обогреваться, и мне тут так же уютно, как если бы я был дома.

Позволь рассказать обо всем, что произошло после моего последнего…

Пастор откладывает перо. Письмо может подождать до утра. Он потирает отросшую щетину. Как звали того человека, что брился трижды в день? Коллинз? Джонстон? Кто-то из университета? Пастон?

Тут он вспоминает об опиуме. Со дна дорожной сумки достает футляр с трубкой. Он начал принимать этот наркотик еще мальчиком, чтобы унять никак не проходивший кашель; потом, когда был студентом, принимал его ради сновидений или в тех случаях, когда деньги на жизнь заканчивались и было гораздо дешевле и приятнее курить опиум, нежели есть. Все-таки он не так уж и пристрастился к этому зелью. Дидо курит больше. Он устраивается в кресле, вдыхая дым и задерживая его в самой глубине легких. Во рту становится сухо. Пастор улыбается. Завтра ему придется расплачиваться за минуты блаженства:

апатия, запор, быть может, мигрень. Губы все шире расплываются в улыбке. Завтра будет завтра. Кому дано знать, суждено ли любому из них вообще дожить до следующего дня?

Закончив, он осторожно кладет трубку поверх футляра и выходит, чтобы промочить горло глотком вина. У него в руках свечка, и тень пастора плывет по стене, словно серый тяжелый парус. На столе в гостиной все еще стоит графин. Пастор берет одну из грязных рюмок, принюхивается, наливает немного вина и, ополоснув рот, глотает.

Выйдя из гостиной, он замечает еще один огонек, мерцающий в коридоре перед дверью Джеймса Дайера. Кто это там стоит? Пастор прищуривается и узнает Заиру, служанку. Направляясь к ней, он удивляется, как это он раньше не замечал, какие у нее восхитительные волосы, совсем черные по сравнению с белой кожей. Он ждет, что при его приближении она обернется, ведь ему не хочется ее пугать, но девушка неотрывно смотрит на что-то в комнате Дайера. Когда пастор видит, какое у нее лицо, ему хочется поскорее оказаться у себя в комнате. Он не желает иметь с этим ничего общего. Шепотом он зовет девушку по имени, и она хватает его за руку, передав ему весь свой ужас. Дайер лежит на спине

на постели с закрытыми глазами. Рядом Мэри. Пастор открывает рот, чтобы заговорить, но Мэри глядит на него так, что он замолкает. Какое-то мгновение ему чудится, будто Дайер мертв, но потом он замечает, как медленно вздымается его грудь и подрагивает тонкий слой мягкой ткани над сердцем. Заира плачет. Слышно, как по ее ноге на пол стекает ручеек. Пастор подается вперед, но, сделав лишь один шаг, останавливается. Комната точно запечатана. Здесь действуют силы, природа коих ему неизвестна, тайна, более могущественная, чем та, что доступна ему. Он не в силах вмешаться. Одна рука Мэри погружена в тело Дайера, а теперь и другая входит туда же рядом с ней. Никакой крови; плоть расступается, как вода, как песок. Руки Мэри дрожат, лицо искажено напряженным усилием некоего тайного действа. Дайер не шевелится, лишь иногда вздыхает, как спящий обыкновенно вздыхает во сне. Когда все кончено, Мэри тяжело опускается на стул, уронив голову на грудь и расслабив плечи. В комнате вдруг становится тихо, обыденно. В постели спит мужчина, а рядом с ним на стуле спит женщина. Пастор заходит, ставит свечу на комод у кровати, застегивает Дайеру ночную рубашку, натягивает покрывала. Заира следит

за его движениями. Боится ли она теперь и его? Пастор берет ее за руку и быстро уводит по коридору подальше от этого места.

Глава шестая

1

Перед самым пробуждением он испытывает исступление, секунды ослепительного ужаса, каковой должен чувствовать человек, споткнувшийся о камень на краю утеса и кувыркающийся в воздухе над уходящими вдаль скалами. Или злодей, отправленный в вечность пинком палача, взмывая на веревке над притихшей толпой. Все видится и понимается в ясном свете и недвижном воздухе. Но вдруг набегает волнами ветер, и волны эти начинают биться друг о друга у него над головой. Истошно вопит свет.

Джеймс Дайер умирает. Просыпается в аду.

Поначалу он понимает лишь, что должен спрятаться от огня, который жжет его в постели. Потом от огня на полу. Потом от огня в воздухе. И только когда, пошатываясь, добирается до двери, сознает, что огонь внутри него, что огонь — это он сам. Единственно убежав от самого себя, может он избегнуть жгучего пламени. В саквояже лежат скальпели, и он их еще не боится. Он бы мог умереть, как Джошуа, утоливший с помощью бритвы свою невыносимую жажду. Он пытается нащупать саквояж, но не может его найти, ничего не

видит: ни саквояжа, ни собственных рук. Виден лишь кусок бледной тьмы там, где открыт один ставень. Он открывает другие, трясет оконную задвижку. Слышит свой плач. Задвижка поддается, окно открыто. Снежинки, приплясывая, ложатся на лицо. Он забирается на подоконник, приседает, словно хочет спрыгнуть на замерзшую реку. Тогда женщина хватает его сзади, тянет на пол, и он лежит, извиваясь как насекомое. Он хочет ударить ее, но не находит в себе силы. Она знает, что делает. Заставляет его одеться. Ей не понять, что так продолжаться не может, что терпит он нестерпимое.

На улице они выбирают самые темные закоулки. Деревянные дома уснули, прижавшись к земле, и кажутся тяжелее дворцов. Скулит собака, орет ребенок, в доме мерцает лампа. Там, наверное, кто-то болен, и вся семья опустилась на колени перед кроватью. В такую ночь не придет ни врач, ни священник.

Мэри не ждет, пока он ее догонит, но и не дает отстать. Он тащится следом за ней, едва передвигая ноги, потом ползет на четвереньках. Он знает, что она его единственная надежда, начало и конец кошмара. За что еще может он ухватиться? Его час пробил, и он не в силах выбраться

из заключенной в нем самом западни, слепец в горящем доме. Теперь он стал таким, как другие.

2

Когда он открывает глаза, вокруг светло. Города не видно. Он пытается встать, но при малейшем движении огонь пробегает по телу. Пытается что-то сказать, но в горле сухо. Он лижет снег. Медленно, точно переходя реку по тонкому льду, начинает шевелиться. Сжимает и разжимает пальцы. Оборачивается. На него смотрит какая-то птица, топорща на ветру свои иссиня-черные перья. Птица изучает его. Уставившийся на него глаз лишен глубины, и на его поверхности подрагивает черный огонек. Птица подскакивает к нему поближе. Она страшнее, чем огонь. А потому он садится и с криком начинает швырять в нее пригоршни снега. Расправив крылья, птица летит низко над землей, почти касаясь снежного покрова. Затем поднимается выше, каркает, кружит над ним и исчезает за деревьями. Он падает навзничь, смотрит в небо. Быть может, теперь при свете дня кто-нибудь придет и поможет ему, отведет туда, где тепло, станет лечить. Небо заливается красным; слышны шаги; он поднимает глаза. Пришла эта женщина. Она садится на корточки у его головы и прикрывает ему глаза рукой.

От нее пахнет дымом и перьями. Он засыпает.

Небольшое пламя играет рядом с его лицом. Сквозь огонь он различает женщину, мешающую ложкой в котелке. Она поворачивается и смотрит на него. Он что-то ей говорит, но сам не разберет что. Оба они в комнате — маленькой и без окон. Нагой, он лежит под шкурой. Нет сил шевельнуться, слишком страшно вновь испытать эту огненную боль. Женщина дает ему выпить из рога какой-то жидкости, в коей чувствуется привкус земли. Он делает глоток. Потом она берет его за руку и выводит из комнаты. Огонь повсюду вокруг него, он движется, словно объятый огненным облаком, но теперь уже не испытывая такого страдания, как раньше. Выйдя на двор, женщина куда-то указывает. Там лицом в снег, распластавшись, лежит человек. Джеймс, голый, подходит к нему по снегу. Мороза он не чувствует. Опустившись на колени рядом с человеком, он переворачивает тело, дотрагивается до замерзшего помятого лица, до щетины, напоминающей торчащие из кожи занозы, до потемневших губ, за которыми виднеются коричневые зубы. В глазах у Гаммера пляшут золотые огоньки. Маленькие язычки пламени, которые кто-то несет во тьме. Джеймс наклоняется ниже. Видит лицо матери,

крохотное и молодое. Высоко над ней звезды дождем срываются на вересковые поля, деревню, крепость на холме. Он видит толпы незнакомых людей и мальчика, что тихо лежит в постели. Тут и Джошуа Дайер в своем лучшем кафтане, он чему-то хмурится, раскрасневшись от солнца и выпивки; тут и Дженни Скерль с цветочными лепестками в волосах, и Амос Гейт, задумчиво потирающий подбородок. У двери стоит Чарли, а из-под его руки выглядывает Сара. Рядом с Джеймсом на кровати сидит Лиза. И плачет от жалости к нему.

Он кладет голову на грудь к мертвецу и, прижимаясь к мерзлому телу, обнимает его. Воет.

Ледовые зеркала говорят ему, что с ним сталось. Он видит расплывчатые очертания человека со спутанной, склеенной слюной бородой, темную полосу, скрывающую, словно повязка, глаза. Женщина часто дает ему пить из рога — напиток, отдающий яблочным жмыхом и землей, с запахом погреба. И тогда он становится призраком, ему являются призрачные видения, он разговаривает с мертвецами или с блуждающими духами тех, кто еще жив. Иногда по ночам он слышит бесов; они похожи на людей, шепчущихся в дальнем конце огромной залы.

Он находит слово, каким зовется сжирающий его огонь. Слово это само собой срывается с разомкнутых губ, как выплюнутая косточка, — боль. Вместе с ним вылетает ветерок, прибивающий пламя свечи, но едва ли способный потушить его — разве только не с первого раза или когда язычок совсем маленький да и огарок почти растаял.

Его плоть вспоминает все. Каждый перелом, каждый удар, каждый укол иголкой, каждый ожог свечой. Через боль он обретает свою историю, и воздух наполняется свирепыми голосами. Ночи не хватит, чтобы ответить на все их обвинения или пролить полагающиеся слезы. Раньше он думал, что отпущенные ему часы — это сгорающие дотла костры, после коих остается лишь серый пепел. Теперь же он понимает, что время идет за ним по пятам, точно сыщик, вот уже много лет тщательно и беспристрастно копящий улики. Ничто не пропадает бесследно. Думать так было самонадеянно и глупо. Ничто не пропадает, и та тишина была вовсе не тишиной, а лишь собственной его глухотой.

3

— Кто ты?

— Отвечай!

— Почему он не отвечает?

— Он с нами вовсе не разговаривает, сэр.

— Откуда он? Какие при нем бумаги?

— Господин Каллоу прочел их, сэр. Он прозывается Дайером. Англичанин, потерявший рассудок в России.

— Какова причина потери рассудка?

— Причина не установлена. Только имя и то, что он прибыл из России.

— Отчего же его не оставили там? Кто его прислал?

— Господин Суоллоу, посол.

— Переданы ли деньги на его содержание?

— Да. Деньги у господина Каллоу.

— Скажите Каллоу выделить на него шесть шиллингов в неделю. Знавал я некогда одного Дайера. Дайер!

— Отвечай!

— Вам известно, где вы находитесь, сэр? Это Вифлеемская королевская больница в Мурфилдзе. Мы вылечим вас, сэр, в противном случае кому-то

из нас придется отдать Богу душу. Почему на нем смирительная рубашка?

— Он пнул одного из санитаров, когда его раздевали, сэр.

— Кого именно?

— Господина О'Коннора.

— О'Коннор издевался над ним?

— Нет, сэр.

— Прекрасно. Завтра начнем лечение. Мы развяжем тебе язык, Дайер. Нехорошо быть таким упрямым. Кто там вопит?

— Думаю, Смарт, сэр.

— Почему он вопит?

— Не могу сказать.

— Что ж, отправимся к нему.

— А как быть с этим, сэр, надеть на него железы?

— На ноги. Пока мы не познакомимся с ним поближе. А там будет видно.

— Дайер!

— Отвечай!

— Нет, не пинай его. Он все же христианин. Как вам нравится ваш новый дом, любезный? Он уже что-нибудь говорил?

— Несколько слов, сэр.

— Имеющих определенную отнесенность?

— Как вы сказали, сэр?

— Что он говорил?

— Нес околесицу, сэр. Без всякого смысла.

— Если услышите, что он разговаривает, запишите сказанное, а если не можете записать, то запомните.

— Будет сделано.

— Как он относится к кандалам?

— Не жалуется.

— Сегодня ему предстоит лечение водой.

— Да, сэр.

— И дать ему рвотного.

— Да, сэр. Пустить ли ему кровь?

— Санитар!

— Сэр?

— Посадите его на тюфяк. Он ест?

— Мы кладем еду ему в рот, сэр. Но глотает он не всегда.

— Если ты будешь плохо есть, Дайер, я велю Вагнеру заталкивать пищу тебе в глотку палкой. Да-да, как французской гусыне. Как прошла вода?

— Он кричал.

— Думаете, от холода?

— Да, сэр.

— Только кричал? Не произносил ли каких-ни-

будь слов?

— Чье-то имя, сэр.

— Какое имя?

— Похоже на Марию или Мэри.

— Очень хорошо. Скажи-ка нам, Дайер, кто тебе эта Мария? Жена? Сестра? Шлюха?

— Может, он католик недорезанный. Я могу заставить его говорить, сэр, только скажите.

— Нет, мистер Вагнер. Ничего такого не требуется. Мы живем в просвещенный век, и нами движут природа и философия.

—

ОООООУУУУУУУУУУУУУУ!

ОУУ ОООООУУУУУУУУУУУ!

— Заткните ему рот!

— Меня зовут Адам. Я принес тебе молока. Не пролей. Это молоко. Свежее молоко. Коли имеешь деньги, можешь купить тут все, что хочешь. Будешь вести себя хорошо, с тебя снимут цепи и выпустят гулять по галереям. Я сижу здесь уже триста девятнадцать ночей и триста двадцать дней. Меня освободят, когда мир излечится от безумия. Они безумнее нас с тобою, друг мой, только ты им этого не говори. Говори лишь то, что они хотят от тебя услышать. Они все слабаки. А ты пей, ибо, чтобы быть сумасшедшим, нужны

силы.

— Дайер!

— Отвечай!

— Ты будешь сегодня говорить?

— Да нет да нет да нет да нет…

— Что он говорит?

— Говорит, что будет.

— Выть не станешь?

— Нет.

— Воют, сударь, собаки. Откуда у тебя на руках эти следы?

— Не помню.

— Заметьте, Вагнер, сумасшедший — очень хитрое создание. Держу пари, это он сам себя разукрасил. Кто такая Мэри?

— Не знаю.

— Экий лжец. Надеюсь, ты хоть семью-то свою помнишь?

— Они все умерли.

— А друзья? И у сумасшедших бывают друзья.

— У меня их нет.

— Дайер, ты хочешь гулять без цепей по галереям?

— Очень хочу, сэр.

— Что бы ты отдал за это?

— Но у меня ничего нет.

— А если б было, что бы ты отдал?

— Все.

— Все — это слишком много, сэр. Ответ безумца. Ха! Вот он и попался, Вагнер. Больной ведет себя прилично, слушается?

— Бывают и хуже.

— Что ж, посмотрим. Даю ему еще месяц. Если будет молодцом, кандалы снимем. Велите постелить ему свежей соломы. Что за страшная вонь! Моя собака и то побрезговала бы сюда войти.

— Наверно, мне суждено умереть здесь, Адам.

— Многие поначалу так думают.

— А потом?

— Те, кто не умирает, живут.

— А как ты живешь?

— Я никому не враг.

— И этого достаточно?

— Я прячусь в свои мысли. В них я отправляюсь путешествовать, куда захочу, разговариваю, с кем захочу.

— Я слышал, как пела женщина. Вчера или прошлым вечером. Не знаю, когда именно.

— Их приводят на ночь санитары. Они для ублажения санитаров.

— А сумасшедшие женщины тут есть?

— Их держат отдельно. Под замком. Иногда их

можно увидеть или услышать.

— Адам, сколько ты уже сидишь здесь?

— Триста шестьдесят дней, триста пятьдесят девять ночей.

— Дайер!

— Сэр?

— Я хочу ударить тебя по голове.

— Прошу вас не делать этого.

— Почему ты просишь?

— Когда меня бьют по голове, мне очень больно.

— Ну-ну, не бывает лечения без неудобств.

— Пожалуйста, не делайте этого.

— Думаю, ты не желаешь поправляться.

— Желаю.

— А я думаю, нет.

— Желаю, сэр.

— Тогда я ударю тебя по голове. Я всегда делаю то, что нахожу нужным. Не так ли, Вагнер?

— Именно так, сэр.

4

День Всех Святых 1768 года. С Джеймса Дайера снимают оковы. Хотя теперь ему разрешено гулять по галереям, он остается в своей клетушке, пока Адам не выводит его на свет божий и не представляет обществу. Кромвель, Перикл; полдюжины ветхозаветных пророков, ведущих торг с продавцом пива, а также мальчиком, принесшим ведро устриц и креветок, и девочкой с корзиной апельсинов. Здесь и санитар О'Коннор; вспомнив Джеймса, он тычет ему в грудь концом своей палки, отчего Джеймс летит кувырком, в ту же минуту, впрочем, утрачивая для О'Коннора всякий интерес.

На ступеньках полоумный методист, безмолвно молясь, отгоняет рои дьявольских пчел. Другие обитатели больницы сидят, лежат или стоят: в отрепьях, в шутовских нарядах, в одеялах. Ковыряют свои язвы, раскачиваются на пятках, стонут, пускают слюни и плачут. В ногах у методиста лысый портной пришивает один несуществующий кусок материи к другому. Шум отзывается эхом, точно в соборе расположился бестиарий.

Джеймс показывает куда-то сквозь решетку,

отделяющую мужчин от женщин:

— Что это такое?

— Это называется «гроб». Чтоб наказывать буйных.

Они подходят к решетке. На той стороне на двух маленьких железных колесиках стоит узкий ящик от пяти до шести футов высотой. Вверху ящика сделано отверстие шести дюймов в диаметре. В нем Джеймс видит бледный овал женского лица.

— Это Дот Флайер, — объясняет Адам и, обращаясь к женщине, говорит: — Добрый тебе день, Дот.

— Как она, должно быть, страдает, — произносит Джеймс.

— Она уже привыкла. Дот буйнопомешанная, даже санитары ее боятся.

— Но ведь она не всегда сидит там?

— Иногда она тихая.

Из глубины ящика, словно откуда-то издалека, до них доносится торжественный, как у вещуньи, голос:

— Назови свое имя.

— Меня зовут Адам, сестра.

— А того, другого?

— Его имя Джеймс. Недавно сбросил железы.

Женщина начинает петь.

— У нее отец был музыкантом, — поясняет Адам. — В колодце утопился.

Ее голос звучит все громче, и песня внутри ящика разрастается. Санитарка Пассмор стучит по деревянной стенке. Пение Дот Флайер сотрясает воздух, изгоняя остатки тишины из бедлама. Появляется еще одна санитарка. Вдвоем они катят куда-то ящик. И песня стихает вдали.

Он видит Дот на следующий день, видит тень и блики на ее лице. Подходит к решетке и, подавшись вперед, прижимается к прутьям щекой. Иногда ему кажется, что лицо исчезло, и тогда ящик похож на выпотрошенные стенные часы, стоящие на колесиках посреди тонких полос света и тени в галерее. Свет проникает сквозь окна незапертых камер. А ветер приносит звуки внешнего мира, его незамысловатую музыку: скот мычит на полях Мурфилдз, грохочут экипажи, и сокольники покрикивают на своих птиц, охотясь на Лондонской стене…

Вдруг женщина моргает или поворачивает голову, и он вновь ощущает ее присутствие. Он не говорит с ней. Ему интересно, замечает ли она его или же в своем страдании способна обращать внимание лишь на себя одну. Шепотом он здо-

ровается, ждет ответа, потом, шаркая, уходит в свою конуру.

На следующий день ее нигде нет, через два дня тоже. Он не видит ее целую неделю. Когда же наконец замечает ее, то она уже не в «гробу». Джеймс узнает ее по взгляду. Она стоит, окруженная свитой сумасшедших женщин и санитарок, ее медные волосы коротко острижены, глаз, украшенный зеленым синяком, весь заплыл, а на нижней губе краснеет язвочка герпеса. Когда Джеймс подходит к решетке, она что-то шепчет одной из своих товарок. Все оборачиваются, смеясь. Дот Флайер хохочет громче всех. Джеймсу становится стыдно, стыдно своих отрепьев, своего постаревшего лица, скованных движений, утративших былое изящество. Стыдно, что он смеет мечтать ей понравиться.

Заметив его смущение, женщины смеются еще громче. Одна из них поворачивается к нему спиной, задирает юбки и показывает ему свой помятый зад. Дот Флайер больше не хохочет. Она глядит на Джеймса, и в ее выражении есть что-то от Мэри, столь прям и пронзителен ее взгляд. Затем, словно наконец удостоверившись в наличии или отсутствии того, что ожидала увидеть, она удаляется в женский флигель, сопровождаемая

своею свитою; грубоватая и жалкая сестринская община, землячество обреченных.

В самые темные и беспокойные ночные часы, в «кладбищенскую вахту», он тщится понять, что с ним сталось. Кто он таков? Безумец в сумасшедшем доме. Чужой самому себе. Ночью его сознание страдает невоздержанностью, а тело, случается, — недержанием. В бороде появились жесткие седые завитки. Руки трясутся, как у паралитика. Иногда по утрам он просыпается от такой страшной боли в ноге, что, если бы под рукой было оружие, он бы прикончил себя не задумываясь. Он живет в ужасе перед врачом, Вагнером, О'Коннором, всеми санитарами, включая даже тех, кто относится к нему по-доброму, ибо ничто так не расстраивает его, как доброта. Сердце его — открытая рана, и ее разбередила та женщина, дочь утопленника. Ее имя просачивается в его сны, словно вода в погреб. Она постоянно пребывает в его мыслях. И хоть Джеймс ее избегает, это имя он твердит одними губами, когда его, голого, загоняют в угол и обливают ледяной водой; когда прижигают волдыри, ставят банки; когда от какого-то снадобья его выворачивает на собственные колени, рвота жжет в носу, и ему кажется, будто он вот-вот извергнет собственный желудок. Дот,

Дот, Дот. Какое прекрасное имя!

К своему удивлению, в своем отчаянии он обретает некое тщеславие. Просит цирюльника выбрить его аккуратнее, хотя бритва больно скребет по лицу и заставляет кожу гореть, точно пот его превратился в луковый сок. Он перевязывает волосы ленточкой, сплетенной из соломы, вычищает грязь из-под ногтей.

Однажды утром, когда колокол призывает выносить ночные горшки, в своей посудине он видит отражение другого человека. Не того, кем он был, но и не того, кем стал. Этот мираж показывает ему того, кем он мог бы стать; того, кто еще не родился, а быть может, никогда не родится. Человек, остановившийся в углу освещенной, переполненной комнаты, улыбается, и взгляд его, несмотря на безумие, спокоен. Лицо это преследует его неделями. Какие невероятные усилия следует ему предпринять, чтобы стать таковым? Он должен сбросить панцирь безумия, обрести обыкновенное мужество обыкновенного человека. К этому он не готов. Еще не готов. В своих молитвах, в своих настойчивых бормотаниях, обращенных к тому богу, что обслуживает сумасшедших, он просит отсрочки его милости, просит отложить спасение на более долгий срок.

5

— Господин Роуз, — говорит врач, — этого человека привезли к нам из России. Именно такой случай извращенных суждений я подробно описываю в своем «Трактате о Сумасшествии». Быть может, вам довелось его прочесть?

— Я о нем наслышан, — отвечает Роуз. — Каково его самочувствие?

— Он не буйствует. Думаю, постепенно мы его вылечим. Не желаете ли пощупать его череп, сэр?

— Нет, благодарствую. Что послужило причиной безумия?

— Причина не установлена. К безумию приходят разными путями, сэр. Одни наследуют его от родителя, другие приобретают как следствие лихорадки или удара по голове. Некоторые сходят с ума от любви или горя. От алкоголя. Религиозного исступления. Солнечного удара. От чрезмерного пристрастия к чтению, несвежего мяса или собачьих укусов.

— Он человек образованный?

— Думаю, да. Ты обучался грамоте, Дайер? Умеешь читать и писать?

— Да, сэр.

Роуз осматривает пациента. Держась на расстоянии, спрашивает:

— Он не заразный?

— Ни в коей мере, — отвечает врач. — А ежели он вам потребуется, мы приведем его в порядок. Будет выглядеть как подобает.

— В таком случае, думаю, потребуется. Правда, хотелось бы послушать, как он говорит. Мне важно услышать его голос.

— Говори, Дайер, — велит врач. — Ну-ка. И чтобы никаких твоих штучек.

— Я не знаю, что говорить, сэр, — отвечает Дайер. — Я не знаю, что хочет услышать от меня этот джентльмен. Я не умею вести беседы, сэр.

— Он происходит из какого-нибудь западного графства. Сомерсета или Глостершира. Человек, несомненно, образованный и когда-то вращался в приличном обществе. Если он не истинный джентльмен, то мог быть одним из тех, кто прислуживает джентльменам. Дворецкий, писец, модный цирюльник.

— Надо же, какая поразительная способность, сэр! — восклицает врач. — Столь точно определить человека по выговору. Случись вам попасть в стесненные обстоятельства, вы бы легко зара-

ботали себе на жизнь.

— Надеюсь, этого не произойдет, — говорит Роуз, подойдя к Джеймсу поближе. Он берет левую руку Джеймса и держит ее за кончики пальцев. Потом, перевернув ее ладонью кверху, продолжает: — Руки хороши, хоть и сильно повреждены. Вы были художником, мистер Дайер, или, может быть, музыкантом?

Джеймс качает головой. Его тревожат вопросы Роуза, его проницательность. До сих пор его никто не узнал, хотя, помнится, ранее, в прошлой жизни, он встречался со своим теперешним врачом в Лондоне. Джеймс был знаком по крайней мере и с двумя другими посетившими больницу докторами. Но его никто не признал. А тут вдруг оказался так близок к разоблачению человеком совершенно неизвестным. Уставившись в пол, Джеймс говорит:

— Я не умею ни рисовать, ни играть. Я не помню, как жил. Я не помню ничего, что было со мной до больницы.

Роуз отпускает его руку.

— Иногда полезно все забыть. — И, повернувшись к врачу, заключает: — Думаю, мистер Дайер должен присоединиться к остальным. С вашего позволения.

— Сделайте одолжение, забирайте. Какая у него будет роль? Заговорщика? Призрака? А может, того смешного парня в желтых чулках?

— Да, он был бы великолепным Мальволио. Однако мы намереваемся ставить «Сон в летнюю ночь». Я придумал для него роль, но хочу посмотреть на всех артистов вместе и тогда уж решу окончательно. Хорошо бы собрать их завтра в какой-нибудь большой, подходящей для репетиций комнате. Дела такого рода всегда требуют много времени.

— У нас тут полно пустых, никем не занятых комнат. Так что к завтрашнему дню вам одну приготовят, — говорит врач и вызывает из галереи Вагнера. Тот появляется в дверях, а врач продолжает: — Почистите этого парня. Дайте свежее белье. И пусть Каллоу взыщет с него соответственно.

Кивнув, Вагнер отходит в сторону, пропуская джентльмена. В дверях Роуз оборачивается, и у него в ухе переливается на свету бриллиант. Улыбаясь Джеймсу, он делается похожим на обезьяну.

— A bientôt,[50] мистер Дайер.

---

[50] Примечания: 50
До скорого свидания *(фр.)*.

6

О’Коннор, позвякивая ключами, ведет их вниз по лестнице. Рядом с Джеймсом шагает Адам. Джеймс спрашивает:

— Нас увозят?

— Увозят?

— Куда-то посылают отсюда?

— Нам предстоит стать актерами, Джеймс. Этот Роуз собирается ставить пьесу. Мы должны стать здоровыми, играя здоровых людей. Как бы подражая.

На первом этаже в центральной части больницы приготовлена зала. Мебель сдвинута в одну ее половину, разожжен камин, хотя его тепло не согревает холодное помещение. Их уже ждут женщины в сопровождении санитарок. Среди них Дот Флайер. Синяк почти сошел, и ее лицо кажется очень молодым и очень бледным. Сегодня в ней нет привычной важности. На запястьях остались следы от кандалов. Санитары томятся вдоль стен, чистят ногти и поглядывают вокруг, кажется не понимая, каким образом могут они употребить здесь свою власть.

В залу входит мистер Роуз. Он маленького ро-

ста. Красиво одет, на нем атласный жилет, под стать его цветочному имени, и шитый золотом и серебром камзол. Он забирается на стул и, простирая руки, призывает собравшихся к тишине.

— Я Август Роуз. Некоторые из вас уже знакомы со мною, ибо посещали мои концерты здесь, в больнице. Кое-кто… вот я вижу здесь мистера Лайла — добрый вам день, сударь, — участвовали в моих небольших театральных представлениях. Итак, друзья мои, сегодня я приглашаю вас принять участие в моем самом грандиозном предприятии.

Он поднимает связку цветных листков.

— Это билеты на представление. Прелестная история, которую предстоит разыграть вам, любезнейшие, перед достопочтенной и искушенной публикой.

Он размахивает билетами, и один, выскользнув, падает к ногам Джеймса. Джеймс его поднимает.

«АВГУСТ РОУЗ, эсквайр, ЗНАМЕНИТЫЙ ИМПРЕСАРИО, предлагает вашему вниманию ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ по пьесе г-на Вильяма Шекспира „Сон в летнюю ночь“, РАЗЫГРАННОЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТАЛАНТАМИ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ ВИФЛЕЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ в прилегающем к ней саду 5, 6 и 7 дня июня месяца

1769 года. Цена билета 2 гинеи».

Роуз наклоняется, чтобы взять билет; Джеймс отдает.

— Это мистер Дайер, не так ли? — спрашивает Роуз. — В скором времени, сэр, я намереваюсь сделать из вас герцога. Что вы на это скажете?

Он спрыгивает со стула и начинает делить труппу: разводит афинян по одну сторону, духов — по другую. Выстроив их в два неровных ряда, снова взбирается на стул.

— Теперь распределим роли. Мистер Натаниэль Коллинз и мистер Джон Коллинз, вам быть влюбленными Диметрием и Лизандром, миссис Донован, вы будете прекрасной и воинственной Ипполитой. Миссис Форбеллоу — Гермией, которая любит Лизандра. Мисс Пул — Еленой, которая любит Деметрия. Мисс Флайер станет Титанией, царицей фей. Мистер Адам Меридит будет играть Робина Доброго Малого, мистер Асквини — Оберона, а мистер Дайер — Тезея, герцога афинского. Мистеру Лайлу достается Питер Пигва; мистеру Джорджу Ди — Основа для сиденья, ткач; мистеру Гоббсу — Эгей, отец…

— Я не собираюсь играть зад какого-то ткача!

Джордж Ди, мясник из Хаундсдича, с заплывшими от жира глазами и налитым кровью лицом,

протискивается к стулу Роуза. Санитары настораживаются, а Роуз говорит ему мягким голосом:

— Мистер Ди, вы ошибаетесь. Роль Основы для сиденья — прекрасная роль, и поистине комическая. Он честный ткач, которого любят друзья. Он даже…

— Зад! Ни за что! Разве вы не обещали мне, что я буду играть герцога или знатного лорда? Разве не обещали?

Роуз делает знак О'Коннору.

— Дорогой мой мистер Ди. Я не мог давать вам таких обещаний. Однако, если эта роль вам не по душе, могу предложить вам Дудку — прекрасная роль, только поменьше — или же Милягу…

Мясник трясет головой так, словно ему в ухо залетела оса.

— Ни Дудку, ни Милягу, ни Зад! Вы говорили, я буду Тезеем, говорили, говорили!

— Право же, сударь, я никогда ничего подобного не говорил. К тому же у Тезея много текста, не так-то просто выучить его наизусть.

— Я не могу выносить, когда со мной спорят! Не могу!

Роуз улыбается:

— Все здесь взаправду! Прямо как в «Друри-Лейн». Мистер Лайл, не выручите ли вы нас,

сударь? Не поменяетесь ли с мистером Ди? Мне кажется, вы обладаете необходимым талантом для роли ткача.

Лайл качает головой. Ди кусает собственную руку, погружая зубы в старые шрамы.

— Я буду Тезеем или подожгу на себе волосы! Зачем вы мучаете меня? Зачем меня преследуют? Это оттого, что я был убийцей животных. Да, я знаю… — Глаза его превращаются в щелочки, слезы текут по щекам. — У вас есть право меня преследовать.

Его обнимает мистер Гоббс.

— Пускай он будет Тезеем, — говорит Джеймс. — Мне безразлично, кого играть.

— Вы слишком добры, сударь, — отвечает Роуз. — Но я не уверен, что роль ткача вам подойдет.

— Вполне подойдет.

Мистер Роуз смотрит на часы.

— Решим это в другой раз. Я уверен, что когда мистер Ди прочтет текст…

Джордж Ди вырывается из объятий мистера Гоббса, утирает сопливый нос и радостно смотрит на Джеймса:

— Ты будешь Задом! А я Тезеем! Я буду афинским герцогом!

Он начинает прыгать и плясать. Это оказывается заразительным, и ряды больных смешиваются. Дот тянет Джеймса за рукав. Он, шатаясь, идет за ней. Те, кто не может плясать, стоят и трясутся, словно прорицатели. У мисс Форбеллоу, прыгавшей рядом с огнем, загорелись юбки. Мисс потушили. Вот уже по воздуху пролетает скамеечка для ног и вдребезги разбивает окно. Среди топота, улюлюканья и лая слышится голос Роуза:

— До завтра, друзья мои! Всем нам суждено прославиться!

Вперед выходят санитары и, орудуя веревками и палками, гонят перед собой умалишенных.

7

В сухую погоду репетиции проходят в саду. Актеры выходят гуськом, моргая, точно обитатели подземелья, держа в руках замусоленные дешевые брошюры с текстом пьесы. Роуз пантомимой изображает роли, поет все песни и, показывая феям, как надобно танцевать, перебирает ногами, словно лягушка, исполняющая изысканный танец.

Случаются и мелкие происшествия. Елена боднула Деметрия, Лизандр неожиданно наделал в штаны. За то, что укусила санитарку за нос, Дот на неделю посажена в «гроб». Несмотря на все это, Роуз поглощен постановкой. Он непоколебим. Из хаоса первых репетиций постепенно вырисовывается пьеса, не слишком отличающаяся от той, что задумывалась изначально. Несчастный Джеймс, сперва нехотя бормотавший свои строки, наконец находит отдушину в роли ткача и, спрятавшись за этой маской, начинает двигаться и говорить столь свободно, что и сам поражен. Его сознание становится спокойнее, боль стихает. Раны на руках от игл Гаммера и щипцов Каннинга начинают затягиваться. Он потрясен, когда

слышит свой смех. Ему даже не вспомнить, когда он смеялся в последний раз.

Дот сияет. У нее талант. Хотя в ее поведении всегда чувствуется неукротимость, даже когда она ведет себя ласково либо просто изображает ласку, Джеймс ее более не боится. Он выразительно поглядывает на нее, нарочно проходит совсем рядом, так что иногда их руки соприкасаются. Они не говорят о любви. Он не может поведать ей о своих чувствах скорее из-за недостатка слов, нежели из-за нехватки решимости. Но когда они играют свои сцены, просыпаясь в воображаемом лесу под воображаемой луной, а Роуз и сумасшедшие, притихнув, толпятся вокруг, тогда им представляется, что они наедине друг с другом, и заученные строки льются столь свободно, как если бы они сами их сочинили:

Любовь моя, здесь на цветы присядь!
Я голову поглажу дорогую.
Дай розами тебя мне увенчать,
Дай уши я большие расцелую.[51]

(Садятся; она его обнимает.)

---

[51] Примечания: 51
Здесь и далее перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.

Через неделю после Пасхи привозят бутафорию. Колонны, силуэты деревьев; луна, похожая налицо человека, вздремнувшего после обеда; целая корзина нарядов, деревянных мечей и корон. Плащи и камзолы, жесткие от пудры и пота предыдущих актеров. Платья ярких цветов, натирающие кожу, на каждом из которых не хватает либо пуговиц, либо завязок. И ослиная голова. Роуз подает ее Джеймсу, а тот водружает себе на плечи. Голова тяжелая и пахнет гниющей шкурой. Джеймс выглядывает сквозь не слишком-то ровные прорези для глаз. Дыхание отдается у него в ушах, как в раковине морской прибой. Вокруг толпятся другие артисты. Языком Шекспира Роуз восклицает: «Ох, Основа? Тебя подменили!»

Джеймс поворачивается. Сквозь прорезь левого глаза он видит обнаженную Дот, набросившую на голову самое яркое платье — золотисто-багряное. Оно ей явно велико. Подобрав его в кулачки, Дот поворачивается, делает реверанс и подходит к Джеймсу. Он закрывает глаза. От слез склеивается щетина на подбородке. Руки дрожат. Он идет пошатываясь и боится, что упадет. Кто-то снимает с него ослиную голову, кто-то поддерживает. Джеймс смаргивает выступившие слезы, и воздух окутывает его лицо, будто шарфом. Дот

улыбается. Она прекрасна.

Майский вечер в саду. Афинская знать, повелители и повелительницы волшебного мира появляются и исчезают под наползающей тенью больницы. Безумная мисс Пул, высокая и щербатая белошвейка с Собачьего острова, разговаривает как Елена. Адам, превратившийся в Пэка и наряженный в юбки, кружится над нею, творя волшебство. Неподалеку от полукруга арены на корточках сидит Джеймс. Его выход после реплики: «Всяк ездок с своей кобылой, а конец — всему венец». На нем ослиная голова, с коей он уже свыкся. Дот он не видит, пока та не садится рядом.

— Спите, спите сладким сном. Я тайком своим цветком… — говорит Адам.

Дот берет Джеймса за руку. Касается губами шрамов и подносит его руку к верхушке платья, прижимая к вздымающейся груди, и он чувствует, как твердеет под ладонью сосок, слышит биение ее сердца.

Пэк поет:

Всяк сверчок знай свой шесток,
Всякий будь с своею милой…

Откуда этот дар? Радость, льющаяся на землю.

Их кто-то зовет. Они с трудом поднимаются, пьяно бредут по траве. Джеймс слышит жужжание жука, а потом слова Дот: «Любовь моя, здесь на цветы присядь…»

С каждым разом они делаются все смелее. Пробираясь на ощупь за фанерными деревьями, стоя в тени деревянной луны или прижатые к каменному фасаду здания. Вокруг них скособоченная пьеса обретает окончательный вид. У мистера Гоббса случился анальный пролапс, и его живо заменяют на Джона Джонсона, потерявшего рассудок школьного учителя. Бог говорит с близнецами Коллинзами, вкладывает им в уста новые строки, касательно наследования заводика по производству клея в Брентфорде. Тезей стал чуть более безумен. Мистер Роуз, скинувши кафтан и парик, все понимая и все допуская, ведет свою братию к премьере.

Санитары подобрели. Сидят развалившись, играют в кости или спят после попоек. Дот и Джеймс, за последнюю неделю подкрадывавшиеся все ближе и ближе к двери больницы, теперь незаметно проскальзывают в здание и теряются среди его коридоров и переходов. Они заглядывают во все комнаты, пока не находят подходящую. Просторная комната, где нет ни-

чего, кроме сваленных в кучу одной, двух, пяти сотен смирительных рубашек и единственного зарешеченного окна под потолком, и где все звуки приглушены, как во сне. Они ложатся на эту кучу, и куча вздыхает, издавая запах пота, собачьей подстилки и кала. Всего, что извергает душа в смертном бое. Такая вонь будет в чистилище, думает Джеймс.

Дот задирает юбки. Наклонившись, Джеймс легонько касается ее тела. Она дрожит и тянется вперед, стягивает его бриджи до колен и, найдя то, что искала, начинает ласкать языком. Наслаждение столь же огромно и убийственно, сколь и та боль, какую довелось ему испытать со времен Санкт-Петербурга. Он отшатывается и неуклюже вскакивает на ноги. Ему страшно. Подойдя, Дот обнимает его сзади, прижимаясь головой к его шее. Окруженный кольцом ее рук, Джеймс поворачивается и жадно целует ее в губы. Медленно переступая, они приближаются к постели из смирительных рубашек, валятся назад, их лица и зубы сталкиваются. Он входит в нее яростно. С такой силой можно заколоть человека или зарезать животное. А ему мечталось сделать это нежно. Дот вскрикивает и бьет его в грудь. Застежка от одной из смирительных

рубашек при движении врезается ему в колено. Боль кажется ему черной веревкой, и он хватается за нее. Он хохочет — хохочет, как истинный сумасшедший. Видит, что и она смеется, хмурясь и плача, отпихивая его и дотрагиваясь языком до его лица. Он останавливается, извергая семя ей на живот. Она проводит по животу рукой, а руку обтирает о смирительную рубашку. Джеймс лежит рядом с ней на спине. В комнате летает муха, должно быть прилетевшая из сада следом за ними, — единственный свидетель.

— Нам нужно возвращаться, — говорит Дот.

— Моя любовь, моя дорогая, — зовет он ее, но она, похоже, не слышит.

Ему хочется рассказать ей о Мэри, о том, как раньше он был совсем другим, не похожим ни на кого человеком, получеловеком. О том, как он изменился, словно пройдя сквозь заколдованное зеркало, — растрепанный мертвец, поднявшийся из могилы. «Я и в самом деле подобен Лазарю, — думает он. — Интересно, была ли у Лазаря жена?»

— Нам нужно идти, — повторяет она.

Между ними сквозь маленькое окно падают яркие косые лучи. Ей на волосы и ему на залатанные башмаки.

— Дот?

Она подносит палец к губам.

— Дот, жизнь моя.

— Тише, Джем.

У двери она протягивает ему руку, и он, успокоившись, берет ее в свою. Не торопясь они направляются обратно в сад. Их не было минут пятнадцать. Оберон посылает Робина Доброго Малого за волшебным цветком. Их отсутствия не заметили.

8

В воскресный день в четыре часа Август Роуз прогуливается с врачом перед Вифлеемской больницей, демонстрируя ему ряды сидений для публики, которые уже три дня мастерят плотники. Еще слышен звук пилы, неожиданно нарастающий грохот молотка, лишенное мелодии посвистывание какого-то рабочего, но в основном работа закончена. Сколочено двести мест, а первого зрителя следует ожидать меньше чем через три часа.

По столь важному случаю больница приукрасилась. В окнах отражается небо над Мурфилдзом и полосы перьевых облаков. Сад подстрижен. Аромат жимолости почти скрывает вонь ее величества Необходимости. И только решетки на окнах верхних этажей и крики, похожие на крики чаек, говорят о том, что это вовсе не тихое загородное поместье вельможи.

Переоделся и врач. Теперь на нем сверкающее одеяние, в коем он обычно встречает гостей. С ним по лужайке прогуливается Роуз, показывая двор, леса, укромные уголки и беседки, где будет разыгрываться действие. О деньгах они еще не

говорили. Об этом позже. Между ними существует вполне преодолимое взаимное недоверие. Каждый если и обманет другого, то не слишком.

Врач обращается к Роузу:

— Надеюсь, в пьесе нет ничего такого, что могло бы чрезмерно возбудить больных? Не хотелось бы, чтобы их буйство затронуло зрителей. Ничего подобного ни в коем случае нельзя допустить.

— Это тихая пьеса, — отвечает Роуз. — Очень умилительная. Она их ублаготворяет.

— А с женщиной по имени Дороти Флайер не случилось никаких неприятностей?

— Дот Флайер, сэр, — это наш самый яркий лучик.

— Я распорядился, — продолжает врач, — чтобы с ней обходились как можно строже, коли она что-нибудь выкинет. Они должны бояться нас, мистер Роуз.

— Не сомневаюсь, что так оно и есть.

Врач звенит серебром в кармане, бормоча:

— Для их же собственной пользы.

Они стоят, разглядывая рабочих. Последний собирает инструменты в холщовый мешок, утирая тряпкой разгоряченное лицо. Собака примеряется, чтобы поднять лапу у одной из скамеек. Плотник хочет пнуть ее ногой, однако промахи-

вается. Наконец Роуз говорит:

— Не хотите ли посмотреть на своих артистов?

— Моих артистов, сэр?

— Они считают вас своим покровителем. Вы даже не представляете, сэр, сколь огромное место занимаете во всех их помыслах.

Врач кивает головой, позволяя себе улыбнуться:

— В таком случае, конечно. Пойдем посмотрим.

Роуз подхватывает врача под руку, и они гуляючи направляются к главному входу больницы, к тени, что окружает ее подобно крепостному рву. Из высокого окна раздается крик сумасшедшего — и во все стороны разлетаются голуби. Поглядев вверх, плотник плюет, чтоб избежать сглаза, и взваливает на плечи мешок. Собака смотрит, как он удаляется, а после залезает на скамью, поворачивается и засыпает настороженным сном.

9

Труппа собралась в зале, где они репетировали в первый раз. На деньги мистера Роуза они угостились вином, правда, никто еще не охмелел, если не считать двух санитаров. Корзину с костюмами уже опустошили. Нешуточные баталии происходили за право владения самыми изысканными предметами туалета — клееной диадемой, парой туфель с изящно заостренными носками и шлемом с плюмажем из забытой постановки «Тамерлана». Но теперь все притихли, кто-то разговаривает сам с собою; кто-то, держась за руки с товарищем, смотрит в пол; кто-то раскачивается на пятках в уголке.

На пустой корзине сидит Джеймс. Рядом с ним Дот, наряженная царицей фей, с лицом, разрисованным так, что Джеймсу делается не по себе. Он держит на колене ослиную голову. И, поглаживая щетинки, размышляет о том, почему это он не помнит ни единого слова из своей роли. Мимо проходят Роуз и врач, оглядывая их, точно генералы, проводящие смотр войск накануне битвы. После их ухода вокруг сцены зажигаются факелы, прибывают первые зрители, за ними музыканты,

которые усаживаются с краю сцены и начинают настраивать инструменты. Сосредоточенные, тихие люди.

Когда наконец все скамьи заполнены — женщины обмахиваются веерами, мужчины о чем-то оживленно беседуют, слуги стоят в стороне, изнывая от жары в своих ливреях, — из дверей больницы выходит мистер Роуз. Раздаются жидкие хлопки, кто-то шикает. Роуз поднимает руку и, приветствуя гостей сумасшедшего дома, говорит:

— Вас сегодня ожидает неожиданное. Мы вместе предадимся фантазиям, но то, как именно сие будет происходить, зависит от наших актеров. Дамы, вам нечего опасаться…

Первыми выходят мистер Ди и миссис Доннелли. Дойдя до травы перед скамейками, они останавливаются, как потерявшиеся дети, прижимаясь друг к другу и с ужасом всматриваясь в незнакомые лица. В рядах замерших зрителей воцаряется тишина, потом следует чей-то приглушенный комментарий, волною пробегает смешок.

Миссис Доннелли начинает говорить — сначала свои слова, потом мистера Ди, и то и другое немыслимой скороговоркой. Публика оживля-

ется, кто-то швыряет апельсин. Сев на траву, мясник снимает башмаки и чешет пятку. Тут же из публики выскакивает молодой человек в роскошном кафтане и исчезает вместе с башмаками; раздается чей-то голос, подражающий пронзительному звуку охотничьего рожка, и мистер Ди припускает за вором, гоня его до последних рядов. Выходят братья Коллинз. Миссис Доннелли с плотно закрытыми глазами начинает читать и их роль, пока ее не валит на землю пинок Натаниэля Коллинза. Вновь является мистер Ди с башмаком в руке и разбитой в кровь губой. Он размахивает над головой отбитым у вора башмаком. «Браво!» — кричат из публики. Мистер Роуз поднимается на сцену. Вид у него такой довольный, словно спектакль проходит гораздо лучше, чем он предполагал. Роуз успокаивает развеселившихся зрителей и, подмигивая, указывает на Дот Флайер, выступающую на авансцену в окружении прислужниц-фей. Отблески факелов отражаются в ее волосах. Она читает свои строки — частью это Шекспир, частью собственное невнятное лепетание — прелестно, соблазнительно, с подкупающим смятением, которое заставляет зрителей замолчать. Тем, кто пытается шикать, затыкают рот. В траву к ногам

Дот летят монеты.

Джеймс играет так, словно он сидит где-то в воздухе над собственным правым плечом и разглядывает сам себя. Вдруг на краткое мгновение в середине пьесы он прорывается назад сквозь время и вновь становится существом из своей прошлой жизни, холодным и надменным. Ужасное потрясение, вызывающее тошноту, как удар в солнечное сплетение. Потом все проходит, и слова, которые он вроде бы забыл, текут свободно, а руки производят те самые жесты, которым столь терпеливо учил его мистер Роуз. Основа для сиденья оказалась задумчивой и меланхоличной, но оттого прыжки ткача кажутся еще более смехотворными, а любовь к нему Титании еще более нелепой. Публика смеется. Зрителям по-настоящему весело, а когда Дот обнимает Джеймса, все аплодируют, расчувствовавшись.

10

На следующий день актеры ведут себя спокойнее. Поведение же зрителей, напротив, пугает. По-воскресному пьяные, норовистые, в любой момент готовые полезть в драку. Их легко развеселить, но настроение может столь же быстро перемениться. За четверть часа до окончания спектакля валятся несколько рядов скамеек, опрокинув вопящих мужчин и женщин на траву или на колени к соседям. Кто-то укусил одну женщину выше локтя. Но никого не убили. В конце пьесы в голову Роузу летит бутылка. Он довольно удачно увертывается. Врач в ярости. В этот вечер не устраивают никаких торжеств — ни вина, ни танцев. Адам сидит с Джеймсом в его клетушке. До них долетают голоса Роуза и доктора, кричащих что есть силы друг на друга в нижних комнатах.

— Ты когда-нибудь любил? — спрашивает Джеймс. — Любил женщину?

— У меня была жена, Джеймс. Давным-давно. Молодая. Она умерла.

— Мне очень жаль.

— Это было так давно. Я вижу, как у вас все

складывается с Дот, Джеймс.

— Да. Но я не знаю, любовь ли это, ибо думаю, что раньше мне не доводилось любить.

— Я видел, как светятся у тебя глаза, когда ты на нее смотришь. Свет этот и есть любовь.

— Адам, я не знаю, чего боюсь больше. Что она полюбит меня или что не полюбит.

— Любовь всегда опасна, брат.

Третий спектакль. Последнее представление. Скамьи закрепили. Врач снова пребывает в гневе. Актеры с выражением произносят свои роли, иногда подменяя заимствованные слова собственными. После спектакля лорд К. посылает гинею для Дот, которая передает деньги Долли Кингдом, пожилой и честной санитарке, чтоб та купила вина и устриц. Не сняв костюмов, артисты снова танцуют. Когда заказ доставляют и Долли Кингдом с мальчиком из винной лавки разносят угощение, музыка стихает, бутылки опустошаются, устричные раковины трещат под ногами. В воздухе пахнет потом и морем.

Джеймс ищет Дот. Ее нигде не видно, как не видно и Асквини, который шептал ей что-то на ухо, пока оба они, Оберон и Титания, ждали своей сцены. Асквини красивый мужчина; его помешательство не буйного свойства. Часто он

рассказывает о чем-нибудь интересном; он повидал мир, а ежели чего и не видел, то с лихвой восполняет это богатым воображением. К тому же от него не исходит такого мерзкого запаха, как от прочих умалишенных, и Джеймс заметил, каким призывным взглядом он давно уже смотрит на Дот.

Когда Вагнер отходит от двери в поисках бутылки, на дне которой остался хотя бы глоток вина, Джеймс проскальзывает в больницу. Нога пульсирует от боли. Прислонившись к стене, он снимает башмаки и бежит, как обезьяна, в комнату со смирительными рубашками. Из-под двери просачивается свет. Он уже знает, что увидит, когда войдет: зад Асквини, раскачивающийся над коленями Дот. Он прижимается ухом к двери, но в комнате тихо. Может, они слышали, как он пробирался по коридору? Может, они, как и он, тоже прислушиваются? Он нажимает на ручку, и дверь почти беззвучно поворачивается на петлях. Джеймс видит свечу, пламя которой горит совсем ровно, пока его не прибивает сквозняк из открытой двери.

— Закрой дверь, Джем, — просит Дот.

Она сидит одна на табуретке перед свечой. Напротив нее вторая табуретка, на которой стоит

фарфоровая чашка с отбитым краем, наполненная вишней с роскошной темной кожицей и зелеными, блестящими на свету черенками.

— Это от мистера Роуза, — говорит Дот.

— Он дарит тебе подарки?

Джеймс обводит взглядом комнату, как будто среди ее теней скрывается Асквини или Роуз или и тот и другой разом.

Дот смеется. Взяв чашку, ставит ее к себе на колени. Джеймс садится на вторую табуретку. Она берет вишню губами, за края кафтана притягивает к себе Джеймса и передает ему вишню изо рта в рот. Так они съедают половину миски. В этом нет ничего бесстыдного. Спокойная, тихая улыбка — ничего больше. Косточки суют под смирительные рубашки. Царь, царевич, король, королевич…

Доев вишни, они ложатся на знакомую груду. Он наваливается на нее. Она царапает ему спину ногтями, его лицо становится липким от прикосновения ее языка и губ, перепачканных вишней. Все происходит быстро и нежно, как бы само собой.

— Да хранит Господь Августа Роуза, — говорит Дот.

— Аминь. Дот?

— Что, Джем?

— Давай поженимся.

— Сумасшедшие не женятся.

— Значит, мы больше не будем сумасшедшими, потому что поженимся.

— Ты ведь меня не знаешь, Джем. Я не всегда могу отвечать за себя. Через месяц я вновь окажусь или здесь, или в Тайберне[52] с веревкой на шее.

— Я помогу тебе.

— Это ты-то, который и себе едва ли поможет.

— Дот!

— Тише, Джем! Лучше займись вот этим.

Она откупоривает бутылку из непрозрачного зеленого стекла. Он берет и злобно глотает. Это не вино. Захлебнувшись, он выплевывает то, что не успел проглотить. Внутри разливается тепло.

— Бренди?

Дот отбирает бутылку. Джеймс следит за глотательными движениями ее горла. Раньше он никогда не понимал, зачем люди так пьют. Безобразная и непонятная привычка чуждого ему мира. Он так никогда не делал, в этом не было нужды. Теперь же, когда она снова передает ему бутылку, он с жадностью ждет своей доли.

---

[52] Примечания: 52
Место публичной казни в Лондоне с 1183 по 1783 г.

Бутылка пуста, они лежат обнявшись на куче рубашек, и дыхание их горячим облаком стоит над головами. Свеча, пожирая себя самое, горит все слабее, пламя трепещет и рвется в воздушных струях, по комнате скачут тени. Они дремлют, пробуждаются, снова засыпают. Джеймс слышит грохот экипажей, отдаленные звуки собачьей драки; слышит шаги по коридору. Он неуклюже высвобождается из объятий Дот. Его движения упорны, но замедленны, как у человека, раздевающегося под водой. Он хочет задуть свечу, чтоб их не выдал свет. Но до свечи не так-то легко добраться. Он дотрагивается до язычка пламени, обжигается, свеча гаснет, и лишь на кончике фитиля остается красное пятнышко.

— Что там такое, Джеймс? — спрашивает Дот.

При этих словах открывается дверь. Сначала не разобрать, кто там. Человек с лампой, два человека с лампами, может, больше. Наконец в комнате появляется О'Коннор. Блеск и звон цепей.

Бренди смягчило боль, да и сам О'Коннор, по правде сказать, был слишком пьян, слишком расслаблен, чтобы избить их как следует. Несколько пинков, дюжина ударов палкой, отвратительных, но вполне сносных. Джеймс учится выживать, терпеть боль, открывает в себе зачатки мужества.

Его учитель — любовь.

Он лижет пальцы, наклоняется и тихонько поглаживает стертую кожу на ногах под кандалами. Цепи, оковы. «Железные подвязки» — так их называли во флоте.

Благодарение Господу, на него не надели смирительную рубашку, не заковали руки. Дот тащили довольно тихо. С обеих сторон шли санитары, а захмелевшая Дот сонно оглядывалась, улыбаясь. Она ничего не говорила. Но Джеймс слышал, что она смеялась, когда ее волокли в женский флигель.

Джеймс рисует в своем воображении Дот: она сидит в камере, тоже закованная в кандалы, ей жарко, но она думает о нем, точно так же, как и он о ней. От жары не уснуть, и Джеймс увлеченно строит планы на будущее.

Смотрит на то, какими стали его руки. А вдруг когда-нибудь ему удастся вновь обрести свое искусство, свой дар? Не могло же все исчезнуть бесследно. Почему бы не стать костоправом в главном городе какого-нибудь графства? На севере или далеко на западе. Подальше отсюда и подальше от всякого тщеславия. Латать фермеров, отворять кровь местному сквайру. Понадобятся всего лишь лошадь да терпение

для разъездов по графству. Он мог бы сам делать пилюли, как учил его когда-то мистер Вайни, Дот продавала бы яйца и всякую всячину, они ездили бы вместе в церковь в маленькой повозке и жили бы как Адам, который никому не враг.

Эти фантазии греют его, словно бренди. Он закапывается в грязную солому, кладет ноги так, чтобы было не слишком больно, и лежит, переживая долгую ночь и обдумывая подробности своего будущего счастья. Ближе к рассвету он встает и бредет к окну. Справа, над Бишопсгейт-стрит, над Аллеей Полумесяца и Лондонским работным домом, по небу расходятся жемчужные прожилки. Он ждет, прислушиваясь к колоколу голландской церкви, крику птиц, сперва нескольких, что летят далеко друг от друга, крику какому-то нерешительному, словно птицы боятся, что рассвет их обманывает, а может, пребывают в страхе перед великой тишиной простирающегося под ними Лондона. Потом сотни птиц начинают кричать все разом, порождая сложнейшее многоголосие, и воздух дрожит от их гомона. Ему вдруг кажется, что он никогда раньше не слышал птиц, никогда не видел рассвет. Никогда так раньше не плакал. Мир хорош. Это восхитительно.

11

Постепенно правда выходит наружу. Шушуканьем, слухами. Сокровенностью *лжи*. Как ее увели в камеру, как она дралась. Как ее скрутили и заковали в цепи — и руки, и ноги, — потом надели стальной ошейник, прикреплявшийся цепью к кольцу в стене камеры. Как ее бросили там, а она плевала им вслед, проклиная их и призывая ад в свидетели.

Утром обнаружили, что она сидит, прислонившись к стене и вытянув вперед ноги. Ее шея, зажатая ошейником, свернута набок, глаза полуоткрыты, сквозь зубы торчит язык. С нее снимают цепи, при первом же прикосновении к холодному телу понимая, что она мертва. Одна женщина видит из галереи, как Дот поднимают и кладут на соломенную постель, и прежде, чем до женщины успевают добраться и заставить замолчать, она своим криком разносит ужасную весть. Крик этот, подхваченный другими обитателями больницы, проникает сквозь закрытые на засов двери и железные решетки. Санитары, боясь за свою жизнь, покидают флигель, но через полчаса человек десять возвращаются с верев-

ками и дубинками. Впереди процессии шагает небритый врач. Обследовав тело, он объявляет причину смерти: апоплексический удар, что частенько случается с сумасшедшими. Чего еще можно было ожидать от такого буйного создания, как Дороти Флайер. Врач велит держать камеры на запоре. Завтра, как можно скорее, они ее похоронят. Он уже собирается уходить, когда узнает, что какой-то сумасшедший в мужском флигеле убивает О'Коннора.

О'Коннор сидит на ступеньках лестницы. Он не может говорить, ибо у него сломана челюсть. Шея и плечо перепачканы кровью. Мочка левого уха откушена. Он показывает ее — кусочек человеческого мяса лежит на ладони. Потом он тычет пальцем в сторону камеры Джеймса Дайера. Джеймс лежит на полу камеры, судя по виду, спокойно. Спрашивает врача, правда ли это. Поначалу врач не отвечает, но, напротив, сам задает вопросы, а именно: зачем он набросился на О'Коннора? Кем была для него Дороти Флайер? Наконец, решив, по-видимому, закончить этот разговор и пойти к себе вкусить привычных утренних удовольствий, признает, что это правда. У нее случился мозговой спазм. Она умерла. Затем с раздражением вновь повторяет это

слово.

— Умерла! — кричит он.

При этом втором «умерла» врач наблюдает любопытную перемену, происходящую с пациентом, словно у того внутри вдребезги разбился стеклянный стержень. Он слышит негромкий, но долгий выдох, затем следует полная неподвижность, и вдруг лицевые мышцы Дайера сводит спазм, какой бывает при некоторых видах отравления. Не следует ли надеть цепи на руки больному, спрашивает Вагнер. Врач качает головой и уходит со словами:

— Мои цепи будут похитрее ваших, мистер Вагнер.

На следующее утро Адам стоит рядом с Джеймсом у окна его конуры. Оба смотрят на похоронную процессию: капеллан, Долли Кингдом, Пассмор и несколько неизвестных, нанятых, чтобы опустить гроб в могилу. Наспех собранный кортеж тянется от ворот и сворачивает к больничному кладбищу, что неподалеку от Нью-Брод-стрит. Лошадь тащит повозку с гробом. Увидеть погребение невозможно. Через полчаса капеллан и санитарки возвращаются назад. Нанятые неизвестные едут, покуривая, в пустой повозке.

12

Слабительными его доводят до истощения. Рвота и волдыри у него на коже хуже, чем когда он впервые оказался в больнице. Он не может принимать пищу. Санитары льют ему в горло бульон, его рвет обратно в миску, и ему вливают тот же бульон второй раз.

Она ничего ему не оставила. Ни медальона, ни безделушки на память, ни письма. Не сказала ни слова на прощание. Ничего, что могло бы его утешить, придать силы. Что делать Джеймсу с этой любовью? Куда пойти? Она разлагается у него внутри. Он сам разлагается.

У больничного цирюльника Джеймс крадет бритву. Лезвие ржавое, но режет еще неплохо. Он ее бережет. Прячет в башмак. Если бы даже Дот спрятали от него на двадцать или тридцать лет, он бы выдержал. Его убивает бесповоротность.

На лицо садятся мухи. Пусть себе ползают. Потом мухи исчезают. Становится холоднее. Ветер цепляется за оконные решетки. На довольных собою посетителях, брезгливо проходящих мимо

дверей камер, надеты шубы и теплые пальто. Однажды утром на серой соломе, служащей ему постелью, он видит изморозь. Выглядывает в окно. Мурфилдз покрыт выпавшим за ночь снегом глубиною в несколько дюймов. Компания ребятишек играет в снежки у пруда. Два человека с тюками на спине, черные и маленькие, как насекомые, бредут в сторону города, и позади них тянется еле заметный след. Один человечек спотыкается, другой останавливается, идет назад и протягивает руку, чтобы мог опереться тот, что споткнулся. Как медленно они идут! Что там лежит в этих тюках, из-за чего решили они предпринять столь трудное путешествие?

И вдруг совсем неожиданно для себя Джеймс вспоминает, как смотрел на другого человека, так же медленно идущего по снегу. Это пастор брел тогда к лесу неподалеку от монастыря. Толстый, добродушный пастор остановился, обернулся и помахал ему рукой.

13

В Рождество мистер Роуз устраивает концерт. Санитары ведут Джеймса вниз, в ту залу, где когда-то он репетировал пьесу. Из-за спрятанной в башмаке бритвы он сильно хромает. Когда его проводят перед Роузом, дабы тот оценил творение их рук, Роуз делает шаг вперед и, поклонившись, произносит с печальным видом:

— Мне очень жаль видеть, что вы не слишком-то хорошо себя чувствуете, сударь. Если эти джентльмены позволят, я бы попросил вас сесть вот здесь, в первом ряду.

После того как все помешанные собрались и были утихомирены тычками и свирепыми взглядами, Роуз представляет собравшимся Фаустину Бордони, худощавую женщину в расшитом стеклярусом платье, бывшем чрезвычайно модным в 1730 году. При движении она издает звук подобно кораблю, разрезающему морскую гладь. Это скрип корсета на китовом усе, шелест ярдов шелка и тафты. У нее сонное и величественное лицо; бумажная кожа нарумянена и покрыта мушками; карие глаза блестят из-под тяжелых век. Толстый молодой человек аккомпанирует

ей на фортепьяно. Голос ее тих, но весьма нежен. Сумасшедшие тронуты. Больной по имени Клапп, вскочив со скамьи, обнимает певицу. Его оттаскивают санитары. Синьора Бордони, улыбаясь, говорит по-итальянски что-то смешное толстому молодому человеку и снова начинает петь, а дождь, последовавший за снегопадом, течет по стеклу, мелодично стуча в окно.

После концерта Роуз вновь разговаривает с Джеймсом, на этот раз о Дот Флайер, о том, как ценил он ее талант. Позже Джеймс замечает, что Роуз о чем-то приватно беседует с врачом. Во второй день Рождества, в «день подарков», с ног Джеймса снимают кандалы; появляется сверток с одеялами. В канун Крещения Вагнер приносит костюм темно-синей шерсти. Но Джеймс боится его надеть. Это похоже на уловку, чтобы вернуть его назад, в мир. Несколько дней полуоткрытый сверток лежит на полу. Наконец он стаскивает с себя лохмотья, стоит, дрожа, нагой, с выступающими от худобы костями посреди своей камеры, но потом все же решается одеться.

Санитары его избегают. Даже врач довольствуется лишь тем, что заглядывает мимоходом в его камеру, кивает и движется далее, чтобы упражняться в своем искусстве на тех, кто не

столь заметен, не столь явно пользуется покровительством. Из башмака Джеймс достает бритву и вырезает на использованной неоднократно в тех же целях старой деревянной обшивке стен абрис сердца, два имени, свое и Дот, и рядом дату: февраль 1770 г.

— Адам?

— Говори, Джеймс.

— Я никогда больше не полюблю.

— Мы не всегда можем быть в этом уверены.

— Я никогда больше не полюблю.

— Все меняется, брат, «никогда» — слово пустое.

— Когда она умерла… твоя жена… что ты сделал, Адам?

— Сошел с ума.

— А ты любил кого-нибудь с тех пор?

— Это как дождь, брат. От него не всегда убережешься.

Джеймс ждет, испытывая почти ужас оттого, что выздоравливает, что не способен умереть от горя, что жизнь, заключенная в нем, слишком упряма.

И он ждет ее — ту женщину, что должна прийти, как в том его уверили сны. Ту, что его сотворила.

Хитрую колдунью. Изо дня в день он высматривает ее через окно, пока однажды мартовским вечером не ощущает ее несомненное присутствие. Несколько человек, иностранцев, стоят у ступенек, ведущих в больничный сад. Они с восторгом разглядывают больницу, указывая руками в перчатках на детали фасада. Порывистый ветер разносит обрывки их разговора. Потом они отходят в сторону, и он видит, что она стоит позади них — темное платье и красный шарф, повязанный вокруг шеи. Нет нужды махать рукой, она и так знает, что он увидел ее. Десять минут она ждет, стоя неподвижно, словно дерево, потом уходит по направлению к Финсбери.

На следующий день она снова там. Какому испытанию подвергает она его! Неужто не понимает, что еще слишком рано? Что у него нет сил? Что он еще нездоров? Что он верит в нее больше, чем в самого себя. Но она пришла за ним. Значит, пора уходить. Подобная неизбежность приносит облегчение. Джеймс идет к Вагнеру и просит разрешения поговорить с врачом. Таковое получено. Через три дня рано поутру за ним в камеру приходит Вагнер, и Джеймс ковыляет следом сквозь двери, отпираемые гремящими ключами. Камни сменяются коврами, тьма — светом. В

воздухе больше не пахнет мочой, чувствуется запах воска, вкусной еды и битумного угля. На столике у открытого окна стоит букет желтых нарциссов. Джеймсу никак не пройти мимо этого воплощения красоты и совершенства. Вагнер окликает его почти беззлобно. По его голосу ясно, что ему часто доводилось видеть людей в подобном состоянии — потрясенных цветами.

Широкая, отполированная до блеска дверь. Вагнер стучит. Их просят войти. Из-за письменного стола на Джеймса смотрит врач с одутловатым лицом и в красной бархатной шапочке на макушке. В глубине комнаты за другим столиком, поменьше, сидит секретарь в нарукавниках, защищающих рукава от чернильных пятен. Перед врачом раскрытая газета, а рядом с ней наполовину выпитая рюмка кларета, блюдо с кексами и чашечка, распространяющая густой аромат кофе.

— Что ему надобно? — адресуется к Вагнеру врач.

— С вашего позволения, сэр, — отвечает санитар, — он желает уйти из больницы.

— Уйти?

— Да, сэр. Так он сказал мне.

Врач пристально глядит на Джеймса. На мгно-

вение их взгляды встречаются, но Джеймс сразу же опускает глаза. Он боится, что у него затрясутся колени.

— Он что же, полагает, что выздоровел? — спрашивает врач, переводя взгляд на Вагнера. Теперь уж и Вагнер смотрит на Джеймса. Стоя здесь, среди людей, от которых добра ждать не приходится, Джеймс вовсе не чувствует себя здоровым. Он боится, что чем-нибудь себя выдаст, скажет что-нибудь безумное, начнет петь, или пускать слюни, или с воплями бросится на колени. Однако понимает, что должен что-то сказать. Тишина в комнате уже опасно затянулась.

— Да, — произносит он.

Звук его голоса, почти вызывающе громкий, разбивает чары. Он поднимает глаза.

— Что это значит? — спрашивает врач. — Что означает это «да»? Хочешь уйти, Дайер?

— Да, — повторяет Джеймс.

— В таком случае, сударь, — говорит врач, выбирая очередной кекс, — что вы намерены делать, ежели я сочту возможным отпустить вас? Говорите же.

— Я буду жить тихо, — говорит Джеймс, — не буду ничьим врагом.

— Но на что вы будете жить? Как станете зара-

батывать на пропитание?

Джеймс бросает взгляд на секретаря:

— Я умею читать и писать. Я мог бы зарабатывать пером…

Врач хохочет и, хлопнув рукой по столу, поворачивается в кресле:

— Нет, вы только послушайте, Прайс! Он хочет быть секретарем. Клерком! Как по-вашему, это подходящее поприще для бывшего сумасшедшего?

Потом он обращается к Джеймсу:

— Куда ты пойдешь?

— У меня есть сестра, — говорит Джеймс, удивившись собственным словам. — В Сомерсете.

— Думаешь, она будет рада тебя видеть, а? Сумасшедшего братца? И что же, ты пойдешь туда пешком?

— Да, сэр.

Следует долгая пауза, во время которой врач доедает кекс. Джеймс снова смотрит вниз, на ковер. Там какой-то особенный узор, сине-красный орнамент, от коего трудно отвести взгляд. Джеймс понимает, что в это мгновение решается его судьба.

— Мистер Прайс, — говорит врач, — пускай больной распишется в том, что покидает боль-

ницу. Коли уж он решил быть секретарем, он должен уметь написать свою фамилию.

Секретарь подзывает Джеймса кивком головы, открывает гроссбух и, развернув его к Джеймсу, протягивает перо. Пальцем указывает то место, где следует поставить подпись.

Врач снова принимается за газету.

— Можете идти, — говорит он. — Не пейте крепких напитков. Избегайте всякого возбуждения. Женщин в особенности. Конечно, за исключением сестры. Сестра вполне допустима.

Джеймс хочет что-то сказать, но не может. Он испытывает страшную усталость, как будто во время всей беседы держал над головой что-то огромное и тяжелое, вроде докторского письменного стола. Кончики пальцев вспотели. Он понимает, что, если немедленно не покинет эту комнату, от него может ускользнуть этот сомнительный дар — свобода.

Вагнер трогает его за локоть, выводит его из комнаты, потом по черной лестнице ведет к боковому выходу. Не пришлось ему попрощаться с Адамом, братьями Коллинз, Асквини. Вагнер, глядя на него, усмехается, словно все, что произошло, было озорной шуткой, в которой каждый из них играл отведенную ему роль. Обернувшись,

Джеймс смотрит на свет и выходит из двери. То ли это, чего он хочет? Не лучше ли предпочесть привычные ужасы больницы неизведанным ужасам остального мира? Его неудержимо тянет куда-нибудь спрятаться, уползти в тень, забраться на дерево.

Дверь позади него закрывается. И он вздрагивает при звуке поворачивающегося в замке ключа. На мгновение Джеймс закрывает глаза и, собравшись с духом, очень медленно идет через подстриженный сад, который некогда являл собою лес неподалеку от Афин. Он ждет и надеется, что его позовут. Но вокруг тихо. Он выходит через калитку рядом с большими воротами, аккуратно закрывает ее за собой и идет, теперь уже быстрее, почти бежит, к той женщине, что ждет его в белой дорожной пыли, чтобы спасти во второй раз.

Глава седьмая
1770

«Господи, помилуй!»

«Христе, помилуй!»

«Господи, помилуй!»

Слова, как летучие мыши, кружат под темными сводами. Саймон Таппер заходится в кашле. Сидящий на скамье позади него Джордж Пейс хлопает старика по согбенной спине. Кашель стихает.

«Господь с вами!»

«И со духом твоим».

«Господу помолимся».

Прихожане, как обычно, пришли на воскресную пасхальную службу и, стоя на коленях, тихонько покачиваются из стороны в сторону, словно лодочки на волнах. Здесь, разумеется, леди Хэллам, очаровательная в своем золотисто-желтом платье. Его светлость пребывает в Лондоне — там политика, шлюхи, а может, и то и другое. Позади стоит Дидо, ее волосы — признаться, не все свои — подняты вверх с помощью заколок, жира и испанских гребней. Пастор думает: ночью ей приходится спать с проволочной

клеткой на голове, как будто это вовсе не прическа, а дикий зверь. Какой милый сегодня у нее веер. Золотые звезды на ультрамариновом небе. Модный, а главное, и вправду нужный в такую погоду. В церкви тепло. Вскоре старики начнут засыпать.

«Боже Всемогущий, Который через Единородного Сына Своего Иисуса Христа попрал смертию смерть и отворил врата жизни вечной…»

На том листе, где пастор мысленно ведет счет всему доброму и дурному в своей жизни, в настоящий момент наличествует небольшой перевес в графе дурного. Ему никак не справиться со своими запорами, с этим не поспоришь. Верно и то, что вчера вечером у них с Дидо вышла неприятная ссора по поводу отдельных пунктов расходов по хозяйству. То, что произошло, не назовешь обычным препирательством. Слова, которые лучше было бы вовсе не произносить, были высказаны обеими сторонами, и пастор ушел спать, мучимый угрызениями совести; он долго ворочался в постели, пока наконец не вылез из-под теплого одеяла и, взяв перо, не нацарапал извинение на клочке бумаги и не подсунул оный под дверь сестриной комнаты, заметив при этом, что и у нее тоже горит свет. Приходится также

признать, что на эту Пасху он снова не ощущает в своем сердце надлежащей веры; такая пустота, воцарявшаяся временами в душе, тревожила его и раньше, но нынче он переносит ее легче, чем постоянные запоры. Господь играет с ним в прятки. Однако опыт научил пастора, что в конце концов он обретет путь, возвращающий его к Богу, что лучше спокойно лежать на поверхности вод, нежели, предавшись панике, барахтаться в волнах.

Противопоставить этим неприятностям можно следующее: отелилась его добродушная корова Руби. Новость принес Пейс, явившись во время завтрака, и руки у него были все еще скользкими и влажными после приема родов. Все они — пастор, Дидо, миссис Коул и Табита — тут же отправились в хлев, куда за день до того привели корову. Великолепное зрелище! Длинный коровий язык лижет теленка, а тот дрожит, слегка оглушенный своим появлением на свет…

Потом есть еще его сад, пробужденный к жизни весною, красные, питающиеся земными соками цветы, фруктовые деревья, густо усеянные цветами, в чьих сложенных чашечками лепестках собираются дождевые капли. В предыдущее воскресенье он видел, как Сэм потихоньку за-

совывает кончик языка внутрь этих чашечек. Сперва это показалось ему занятием весьма странным — мальчик, стоя на цыпочках, сует язык в цветы. Но позже, когда Сэм ушел, пастору самому захотелось проделать то же самое. Впрочем, он побоялся — вдруг кто-нибудь да заметит?

«Всемогущий Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Творец сущего всего, человекам всем Судия: знаем мы в сокрушении о множестве грехов и беззакониях наших, что мы в скорбях не единожды совершали…»

Посреди этой фразы он вдруг отчетливо представил себе, как замечательная миссис Коул в поварской блузе, благоухающей кухонными парами, орудует ножами, поворачивает вертел и подбрасывает дрова в огонь. Сегодня, думает он, и мысль эта подобна победному звуку трубы, — нам подадут на обед голову поросенка! Голову поросенка, телячью ножку и спаржу с грядки мистера Аскью…

«Дай нам, Всемилостивый Боже, вкусить Плоть Сына Твоего и Крови Его испить, дабы греховные тела наши очищены были Телом Его…»

До чего черствый хлеб. Надеюсь, не будет никаких сюрпризов. Блаженны долгоносики.

«Господь с вами!»

«И со духом твоим».

«Горе имеем сердца».

«Имамы ко Господу».

Свет, эти пронизанные пылью потоки, что заканчиваются цветными бликами на каменном полу, вдруг исчезает, скрытый проплывающим мимо облаком. Пастору более не видно, что там, в глубине нефа, но он смутно чувствует, что открылась, а потом быстро закрылась дверь и что кто-то встал в проходе. Он читает молитву Господню. Потом *«Мир Господен буди со всеми вами».*

«И со духом твоим».

Миссис Хэллам, подобрав платье, поднимается и подходит к ограде. Чуть позади нее следует Дидо, затем Астик со своей капризной дочерью Софи, далее следует доктор Торн, поправляя трущие в шагу бриджи.

Облако уплывает. Свет разливается по всей длине прохода, и его преподобие, преломив хлеб для леди Хэллам, вдруг видит, кто это вошел в церковь. Он узнает ее сразу, но не верит своим глазам: не может быть, чтобы это была она, здесь, в его церкви. Эта женщина, бесповоротно принадлежащая другому миру.

Пастор тихонько прочищает горло. Смотрит вниз. Леди Хэллам вполне доброжелательно

поднимает брови. Трижды стучит в груди его сердце, пока он пребывает в растерянности, будучи совершенно не в силах вспомнить, где он и что делает. Потом кладет хлеб в ее протянутые ладони.

«Тело Христово приимите…»

Одними глазами Дидо спрашивает: кто это? Пастор, наклонившись к самому ее уху, шепчет: «Ее зовут Мэри. Она чужестранка. Сядь рядом».

В глазах других прихожан тоже читается немой вопрос. Торн усмехается, словно в явлении незнакомой женщины есть что-то в существе своем непристойное. Служба оживляется. Предположения, опровергающие одно другое, кочуют от скамьи к скамье вместе с молитвой, заглушаемые гулом дурного пения. Прихожане не слишком-то скромно поворачивают головы, чтобы разглядеть эту странную чужачку. Отчетливо произнесенное слово «цыганка» доносится до уха пастора.

«Мир Божий, всякое понимание превосходящий, да сохранит сердца и помышления ваши в знании и любви Господа…»

Наконец двери растворяются. Наполненный весенними запахами воздух долетает до пастора, допивающего остатки вина. Если б можно было, он с удовольствием налил бы себе еще, хоть вино

и никудышное. Вытерев край кубка тряпкой, он спешит по проходу в развевающихся ризах. Долго смотрит на Мэри, потом быстро кивает и, обращаясь к Дидо, говорит:

— Я сейчас вернусь. Подождешь меня здесь, ладно?

— Понимает ли она нас? — спрашивает Дидо.

Оба глядят на Мэри, которая без особого интереса рассматривает святого Георгия, убивающего змия, в витраже восточного окна. Похоже, она понимает, что должно еще произойти какое-то действо, какое-то чудо, а уж потом они сделают то, что ей нужно.

— Ежели хочешь, — предлагает пастор, — попробуй у нее что-нибудь спросить.

Заметив мелькание желтого цвета у двери, пастор поворачивается и идет туда. Дидо искоса разглядывает Мэри — высокие скулы, глаза цвета мокрой древесины. Дидо не испытывает никакой тревоги, напротив, присутствие Мэри, как ни странно, действует на нее ободряюще.

С десяток прихожан, задержавшись на дорожке церковного кладбища, читают на покосившихся могильных памятниках знакомые имена. Время от времени они поглядывают на двери церкви. Леди Хэллам, приветливо улыбаясь его препо-

добию, замечает, что на службу нынче пришло очень много народу.

— Одним человеком больше, чем я ожидал, — отвечает пастор.

— Ах да, действительно, — говорит леди Хэллам, словно совершенно позабыв о странной гостье.

Подходит Торн. Жмет пастору руку.

— Прекрасная служба, ваше преподобие.

Пастор кивает, бормочет слова благодарности. Снова эта ухмылка. Заметив холодный взгляд леди Хэллам, Торн удаляется, помахивая тростью, словно кот хвостом.

— Интересно, — тихо говорит пастор, — догадались ли вы, кто она?

— Кажется, да. Мы украдкой взглянули друг на друга, когда я выходила из церкви. Какие у нее глаза! В точности как вы описывали в своем письме… откуда бишь вы его прислали… из Риги?

— Вероятно, из Риги. Признаюсь, леди Хэллам, я был поражен как никогда, хотя, думаю, у нее вообще особый дар удивлять людей.

— Вам придется многое объяснять. — Широкая улыбка, искренняя и сочувствующая. — Быть может, будет лучше, если вы вовсе ничего не скажете. Не забывайте, что и вы и ваша сестра всегда

вправе рассчитывать на всяческую поддержку с моей стороны.

— Я всегда помню об этом. Вы очень добры ко мне. То есть к нам.

— Я ваш друг. А теперь мне пора. Постараюсь увести за собой любопытных. А вы навестите меня в ближайшее время.

Она протягивает руку, которую пастор берет в свою; одна, вторая… третья ускользающая секунда.

— Ну, Мэри, — говорит пастор, — вот уж удивила так удивила!

Опустив руку в карман передника, Мэри достает какие-то прессованные листья, быстро сует в рот и жует, точно это табак.

— Знаешь ли ты что-нибудь о докторе Дайере? Где он обретается?

Она встает и медленно выходит из церкви. Пастор делает движение, словно желая ее позвать, но Дидо, дотронувшись до его руки, говорит:

— Она хочет, чтобы мы шли за ней…

Они идут за Мэри по дорожке среди кустиков желтых нарциссов, через калитку, потом по тропке вдоль церковной стены, огибая покореженный сломанный остов ворот — ставший ныне подпоркой для тянущихся вверх сорняков, — и

входят во фруктовый сад. Земля эта принадлежит вдовцу Мейкинзу, чьи сыновья отправились путешествовать по свету, и дома осталась одна полоумная дочь. Яблоки в этом саду либо гниют, либо поедаются ребятишками. Летними вечерами здесь прогуливаются влюбленные. Иногда, по дороге домой после вечерни, пастор слышит их вздохи.

За юбки Дидо цепляется трава. Рой мух злобно взлетает с кучи человеческого кала. Слышно жужжание пчел, и в воздухе пахнет диким чесноком. На мгновение они теряют из виду Мэри, которая петляет по извилистым аллеям, сквозь синие тени, сквозь ливнем сыплющиеся цветы. Она вполне может исчезнуть, думает пастор, будто заяц в норе. Но они все же настигают ее — под деревом, что немного больше других. Она указывает пальцем вверх, в самую крону, сразу став похожей на некую аллегорическую фигуру на холсте. Дидо и пастор смотрят вверх. Чей-то башмак, нога, серая рубашка. Очень худое и бледное лицо, обрамленное бесформенной колкой черной бородой с проседью.

— Доктор Дайер! — восклицает пастор. — Какая приятная неожиданность. Я уж боялся… то есть от вас не было никаких известий. Здоровы ли вы,

сударь? Не спуститесь ли к нам? Там, наверху, ветки уж больно тонки.

На него смотрит лицо. Какая поразительная, жуткая перемена! Что за болезнь смогла сотворить такое с человеком?

— Это доктор Дайер? — спрашивает Дидо.

— Да, — тихо отвечает пастор. — То, что от него осталось. Доктор Дайер! Это я, преподобный Лестрейд. Вы, конечно, меня помните? Нужна ли вам моя помощь?

Голос, едва различимый, летит вниз из древесной кроны:

— «…Щегленок… зяблик… воробей… кукушка с песнею своей… которой… человек в ответ… сказать не часто смеет… нет…»

— Что это, песня? — спрашивает Дидо.

— «Эй, черный дрозд, эй, черный хвост… оранжевый носок… и сладкозвучный певчий дрозд…»

Пастор замечает две детские головки, выглядывающие из-за ствола. В одном мальчике он узнает сына пономаря Сэма Кларка.

— Сэм! Послушай-ка, дружок, поди сюда. Я не буду тебя ругать.

Мальчик подходит, переводя взгляд с пастора на дерево, потом с дерева на Мэри.

— Ты быстро бегаешь, Сэм?

— Так себе.

— Ничего, справишься. Беги в трактир Кэкстона. Найдешь там Джорджа Пейса. Скажи ему, чтобы взял в ризнице лестницу и принес сюда, в сад. Скажи, она мне нужна сейчас, а не после того, как он допьет свой портер. Погоди! Особенно не шуми и не рассказывай никому, что здесь видел. Нам любопытные не нужны. Ну, теперь отправляйся.

Они следят за убегающей фигуркой: пятки так и мелькают по траве. Мэри сидит на корточках у корней дерева.

— Боюсь, он упадет, — говорит Дидо. — Он может насмерть разбиться. Не залезть ли тебе к нему, Джулиус?

— Ну, пожалуйста, рассуди здраво, Диди. Даже если бы я до него добрался, какой толк застрять нам обоим на дереве? А что я сверну себе шею, ты не боишься?

— Раньше ты так ловко лазал по деревьям.

— Вот именно: раньше. Тому уж лет тридцать. Помню, сестричка, как ты сама забиралась на тот огромный вяз, что рос за батюшкиным домом.

— Правду говоришь, забиралась. Но когда девочки становятся дамами, они не могут столь же вольно распоряжаться своим телом. Так требует

обычай.

— Ну уж не все.

— Как ты груб, Джулиус. Когда ты так рассуждаешь, то теряешь всякую привлекательность.

Они ждут, наблюдая за тенями и наслаждаясь спокойствием воскресного дня. Время от времени сверху доносятся обрывки хриплой песни, шепотом произносимые стихи.

Возвращается Сэм. Он шагает впереди, как маленький барабанщик, а за ним, насупившись, бредет Джордж Пейс с лестницей на спине.

— Молодчина, Сэм. Спасибо, Джордж. Я помогу тебе влезть. Вон там, видишь? Осторожно. Его зовут Джеймс Дайер. — Пастор держит лестницу. — Можешь добраться? Дотянулся?

Джордж Пейс спускается вниз один.

— У него кишмя кишит. В бороде. Я видел. И еще от него воняет хуже, чем из мусорной кучи.

— А ты бы хотел, чтоб мы оставили его сидеть там, на суку? Во имя всего святого, Джордж, от тебя требуется только спустить его вниз. Жениться на нем не обязательно.

— При всем уважении к вам, сэр, я не желаю его трогать. По мне, так он заразный, чумной.

— Чумной? Ты что же, изучал симптомы этой хвори, когда отдыхал, расставив силки для птиц

леди Хэллам?

— Не разглагольствуй зря, Джулиус, — говорит Дидо, — коли он отказался его снимать, то все равно не станет.

— Неужто ты предлагаешь свою помощь, сестрица?

— Но Джордж, может быть, прав. А вдруг он заразный? Такое вполне вероятно.

— Так что же, по-твоему, следует оставить его сидеть на дереве? Вижу, придется мне действовать самому. У нас всегда так.

Как был в рясе, в которой служил воскресную службу, пастор начинает подниматься по прогнувшейся под его тяжестью лестнице, все выше и выше, переставляя одну за другой руки и чувствуя страшную сухость во рту. Зацепившийся за ветку парик, словно убитая птица, падает к ногам Дидо.

— Доктор Дайер?

У носа пастора появляется лодыжка, которую он тут же хватает.

— Доктор Дайер! Надобно снять вас, сударь. Нельзя там оставаться. Поставьте ногу ко мне на плечо. Нет, вот так… ух… давайте же, сударь… теперь другую, потихоньку… осторожно, осторожно — держи лестницу как следует, Джордж! Так,

пошли… хорошо, сударь, вот сюда… так… еще… так… ох… еще немного… вот… теперь… Помоги же, Джордж, черт бы тебя побрал со всеми твоими потрохами! Так… еще одна ступенька… так… все, сняли… слава Тебе, Господи!

— Браво, братец!

Пастор требует назад свой парик и, нахлобучив его, мысленно сам себя поздравляет. На траве у ног Мэри, свернувшись калачиком и тяжело дыша, лежит Джеймс Дайер. Теперь стало окончательно ясно, насколько он изменился. Пастору кажется, что доктор похож на человека, пережившего кораблекрушение, жизнь которого спасена, но едва-едва теплится. Его преподобие встает рядом с ним на колени. Насчет вшей Пейс оказался прав.

— Можете вы идти, сударь? У церкви есть тележка. Отсюда совсем недалеко.

Дома их уже ждут: приглашенный на обед мистер Астик с дочерью; Сэм, который побежал напрямик через поля и сообщил о происшествии; миссис Коул и Табита, с тревогой выглядывающие из двери кухни.

Астик выходит вперед и берет под уздцы лошадь, потом направляется к тележке, чтобы помочь дамам выйти.

— Это доктор Дайер, — представляет Джеймса пастор.

Астик смотрит на доктора. Человек в тележке напоминает ему пленных, которых он видел после сражения под Плесси в 1757 году. Людей, чьи бороды, казалось, росли прямо из черепа, с невероятно огромными глазами, видящими то, что недоступно взгляду сытых.

— У него вши, — шепчет пастор Астику, протянувшему руки, чтобы помочь снять Джеймса с высокого сиденья.

— Не беда, — отвечает тот.

Астик человек сильный и легко снимает Джеймса с тележки.

— Миссис Коул, — спрашивает пастор, — комната, что рядом с моей, пригодна для проживания?

— Господи, там же не застлана постель, да и проветрить я не успела…

— Проветрить сейчас не самое главное, миссис Коул. Табита, ну-ка быстро принеси постельное белье. Миссис Коул, не могли бы вы приготовить немного бульону или же, — заметив, что она собирается возразить, — любое из ваших самых питательных жидких блюд, только побыстрее. Где Мэри?

Мэри сидит, прислонившись спиной к стен-

ке сарая, с опущенной головой. Ее обнюхивает кошка.

— Бедная женщина, — говорит Дидо. — Она в изнеможении. Мы с мисс Астик о ней позаботимся.

— О боже! — восклицает семнадцатилетняя мисс Астик. — Я никогда не ухаживала за незнакомыми женщинами.

Пастор и мистер Астик, взявшись с двух сторон, поднимают больного вверх по лестнице, входят в комнату, где Табита, стеля простыни, обдувает их ветерком, и усаживают доктора на пыльное кресло у камина.

— Бороду следует сбрить, — говорит Астик, — и вообще все волосы. Ежели вы снабдите меня бритвой, ваше преподобие, я сам возьмусь за дело. И дайте горячей воды. Глядите! Вон она, у вас на рукаве… Позвольте мне…

Астик давит насекомое большим и указательным пальцами. «Поразительно, — думает пастор, неся из своей комнаты бритву, — как неожиданные происшествия могут раскрыть характер человека. Каким хорошим солдатом, наверное, был Астик, хорошим солдатом-христианином. Я рад, что зову его другом».

Они раздевают больного, сворачивают одежду

в узел, чтобы сжечь, и бреют его, словно труп. Джеймс и впрямь похож на труп: такой же бледный, бледный и желтый. Пока они заняты бритьем, Джеймс смотрит в потолок. Дышит слабо и часто. Сэма опять посылают с поручением, на этот раз к доктору Торну. Вши копошатся даже у Джеймса в бровях. Брови сбривают, вшей давят.

В дверях появляется миссис Коул с чаем. Пастор, подойдя к ней, забирает чай, дует на него и пытается из ложки влить немного сквозь шершавые губы Джеймса. Но чай течет по подбородку больного.

— Кажется, мне никогда не приходилось кормить человека с ложки.

— Ерунда, — отвечает Астик, — сегодня утром вы накормили целую церковь, ваше преподобие, хлебом и вином.

— Это верно, сэр. Но сейчас мне чертовски трудно. Все льется мимо.

— Поднимите ему голову. Вот так. Еще не дай бог захлебнется.

— Ага! На этот раз немного попало. Он проглотил. Это будет вам как новая кровь, доктор.

Ложка за ложкой, Джеймс выпивает полчашки. Внутри разливается тепло. Впервые за много дней он чувствует, что у него есть тело. Нельзя

сказать, что ему приятно о нем вспомнить. Когда он последний раз ел? Мэри давала ему какие-то корешки в лесу Нью-Форест. Потом в Солсбери на рынке раздавленный с одного боку апельсин и немного хлеба. С тех пор ничего; ничего, кроме листьев с живых изгородей. Невероятным усилием, точно спихивая камень с груди, он поворачивается на бок. Кто такой этот человек?

— Мэри! — что есть силы зовет он.

— Кажется, он что-то сказал, — прислушивается Астик. — Повторите, сэр.

— Мэри.

— Мэри?

— Да, — подтверждает пастор. — Эта та женщина, с которой он пришел.

— Она его жена?

— Спутница. Во всяком случае, я так думаю. Успокойтесь, доктор. Она скоро придет. Моя сестра и мисс Астик оказывают ей необходимую помощь. Я думаю, вы пришли издалека.

— Издалека, издалека… — повторяет Джеймс.

Теперь он уже не знает точно, говорит ли он вслух или про себя. «Неплохо было бы умереть здесь, — думает он. — Наверное, это и есть конец пути». Повернув голову набок, он видит преподобного Лестрейда и мистера Астика, раздетых до

пояса и стоящих один против другого, словно они собрались бороться. Рука Астика взлетает вверх.

— Поймал! — кричит он.

— Великолепно, сэр! — ответствует пастор.

— Таким завшивленным я не был со времен французского похода.

Джеймс с бритой луноподобной головой плывет по подземным рекам лихорадки и истощения. Дважды является Торн, осматривает больного, стоя на расстоянии ярда от кровати, и оставляет коробочку с доверовым порошком; коробочку, которая, как и следовало ожидать, бесследно исчезает после очередного прихода Мэри.

У Мэри свой режим, но никто не расположен вмешиваться в ее дела. Она копается в пасторском саду. Перед самым восходом и заходом солнца направляется в лес, откуда возвращается с полным передником ангелики, первоцвета, чистеца и других растений, названия которых не сразу припомнишь.

На ней надето одно из старых платьев миссис Коул, поскольку фигура экономки более других похожа на Мэрину. Правда, юбку все же пришлось укорачивать в комнате Дидо, и Мэри совершенно спокойно стояла перед ними, как принцесса в окружении своих служанок. Тогда-то, одевая ее,

они обнаружили татуировку: голубые звезды, падающие вниз по мягкой части бедра от крестца до сгиба коленки.

Конечно, о Мэри ходит немало пересудов. Говорят о волшебстве, дурном глазе, черной магии. Однако в этой чужестранке ощущается такая кротость, что в Михайлов день миссис Коул, к своему изумлению, спрашивает ее совета по поводу распухших коленей. И Мэри лечит ее, сжимая руками суставы, пока вокруг ног экономки не образуется лужа из вытекшей жидкости. («Боже правый! — говорит миссис Коул одной из кумушек в следующее воскресенье, в доказательство поднимая юбки и демонстрируя свои поздоровевшие, мускулистые, круглые и розовые колени. — Что у нее за руки! Что за руки!»)

На Троицу Джеймс впервые встает с постели, шутовская фигура в старом костюме пастора, шаркая, бродит по дворам и саду; его находят спящим в траве или даже свернувшимся калачиком на ковре в гостиной.

К облегчению его преподобия, у Джеймса более не появляется желания лазать по деревьям и ничто не свидетельствует о помрачении рассудка. Где бы ни пришлось ему побывать, в каких бы неведомых широтах ни довелось путеше-

ствовать, сейчас он, судя по всему, пребывает в здравом уме, дает разумные ответы на все вопросы, хотя последние до сих пор не выходили за рамки простого катехизиса: «Как вы чувствуете себя сегодня, сударь?» — «Лучше, благодарю вас»; «Пойдете сегодня на прогулку?» — «Пойду»; «Не желаете ли перекусить?» — «Если можно, чашечку чая, сударь».

Ничего или почти ничего неизвестно о том, что случилось с Джеймсом между тем днем, когда пастор последний раз видел его в покоях на Миллионной, и его появлением на яблоне в Кау. Леди Хэллам, следящая за развитием событий из своего огромного, наполненного свежими ароматами парка, советует запастись терпением.

С приходом летней поры, что коснулась деревьев и лесов, полей, где взошла высоко пшеница, и всей деревни, готовящейся к тяжелой осенней страде, в доме пастора тоже ощущается ветер перемен. Табита — об этом частенько судачат в округе — влюбилась в солдата, явившегося с севера на сбор урожая и рассказывающего истории о войне и городах в разных концах света. Джордж Пейс украшает шляпу букетиками полевых цветов, точно он гость на бесконечно длящейся свадьбе. Нередко проведать Джеймса заходит

Астик, а его дочь, еще полгода тому назад такое неуклюжее и колючее создание, обрела нежную, бередящую душу красоту. Чего еще остается ждать, размышляет пастор, в такое лето?

Ночи первых недель августа больше похожи на южные, будто их принесло из Италии или мавританской Африки. Караваны медленно плывущих звезд движутся по небу. В открытые узкие створные окна домов и большие подъемные окна усадьбы залетают струйки легкого ветерка. Леди Хэллам не ложится до рассвета, прикладывая к вискам надушенный носовой платок; всматривается в бледные сумерки, простирающиеся над парком, и, слушая крик павлинов, позволяет себе роскошь предаваться в уединении глубочайшей меланхолии.

Пастор тоже долго не спит и тихо прохаживается по дому, потрескивающему от жары. Временами он слышит скрип половой доски в комнате наверху, когда кто-то подходит к окну, чтобы впустить с улицы пахнущий мускусом и тайной воздух. Долго это не продлится, но если бы! Пастор представляет себе, будто деревня Кау зовется теперь Ла Вакка,[53] в полях растет вино-

[53] Примечания: 53

Английское слово «кау» (cow), так же как и итальянское «вакка» (vacca), означает «корова».

град, загорелые селяне расхаживают с важным видом и церковь стоит таинственным средоточием тени.

К концу этого благодатного лета пастор выбирается из дома далеко за полночь без парика и камзола, с крепкой палкой в руках и все еще ощущая привкус вина во рту. Его путь лежит через пастбище к лесу. Он и сам не знает конечной цели своей прогулки, и лишь после двадцатиминутного пути под луной, отбрасывающей позади него на траву четко очерченную тень, он начинает понимать, куда именно направляется столь твердым шагом. Это место он зовет «кольцом» — другое название ему неизвестно, ибо оно не отмечено ни на одной карте. Да и отмечать-то почти нечего — всего лишь растущие по кругу дубы, хотя однажды, когда пастор ходил за грибами, он обнаружил камни, которые, как ему показалось, были отмечены особыми знаками, свидетельствующими о том, что, быть может, когда-то на этом месте располагалось что-то вроде языческого храма, и пастору нравится воображать своего неведомого предшественника в белом одеянии, отправляющего службу перед курчавыми предками теперешних жителей деревни.

Десять минут он идет под сенью деревьев и

наконец входит в «кольцо». Теперь, увидев, как освещает его лунный свет, пастор окончательно убеждается в том, что стоит на священной земле.

В центре «кольца» на кочке сидит человек. Пастор застывает, крепче сжимая свою терновую палку, готовый отступить назад и раствориться среди деревьев, однако сидящий оборачивается, и пастор меняет решение:

— Вы ли это, доктор Дайер?

— Я.

Пастор подходит ближе, все еще с опаской, словно человек на кочке, и без того кажущийся не слишком-то реальным, вдруг превратится в химеру, плод его воображения или, что еще хуже, в завсегдатая этих мест. Говорят, лесные духи, от веры в которых пастору так трудно отказаться, очень изобретательны. А кто лучше всего годится для шуток? Конечно, грузный, пожилой, опьяненный луной священник.

Когда пастор уже совсем рядом, Джеймс говорит:

— Жаль мне бедных сумасшедших в такую ночь. Сидя здесь, я слышал, как трое или четверо выли на эту огромную луну.

— Боже милостивый, так это и вправду вы, доктор Дайер! Как это вы забрели сюда?

— Просто шел-шел и пришел. Последнее время я мало что делаю намеренно. Прошу вас, сэр, выпейте этого нежного сидра. Я взял на себя смелость принести его сюда из кухни. У меня еще довольно осталось.

Пастор пьет из глиняного горлышка кувшина. Джеймс прав. Сидр и впрямь хорош. В нем чувствуешь весь аромат яблок.

— По-моему, вы рисовали, сэр.

— Да, я люблю поупражняться. Желаете взглянуть?

Он кладет на серебряную траву пять листов бумаги, на каждом из которых начертано чернилами — довольно топорно, но с несомненной энергией — по одному кругу.

— Эти два я нарисовал пальцем. — В доказательство Джеймс показывает испачканный чернилами кончик указательного пальца. — У меня еще имеется бумага — не хотите ли попробовать? Главное — ни о чем не думать. Ни о том, как это красиво, ни о том, как трудно передать сию красоту, ни о том, что ее вообще следует передавать. Сам процесс непременно вас поразит.

— Вы хотите сказать, я должен одновременно и рисовать, и как бы не делать этого.

— Именно, — подтверждает Джеймс. Потом,

заметив озадаченное выражение лица пастора, прибавляет: — Может, мы мало выпили сидру?

Каждый делает три больших глотка. Кувшин отзывается странным полым звуком. Отрыгнув, пастор погружает палец в открытую чернильницу и рисует неровную петлю, почему-то похожую на луну.

— Великолепно!

Они долго сидят молча, пока несколько звезд не исчезают за узорчатой линией дубовых крон.

— Доктор Дайер, хочу поздравить вас с выздоровлением, ибо вижу, что теперь вы и в самом деле здоровы, сударь. Должен признаться, мы очень боялись за вас тогда, на Пасху.

— Ежели я и поправляюсь — не скажу, поправился, пока не скажу, — то только благодаря вашей доброте, доброте вашей сестры и всех домашних…

— И Мэри…

— И Мэри, конечно. Ее повадки могут показаться странными. Но ведь вы немного представляете себе, кто она такая. Вы первый увидели ее. В определенном смысле она обязана вам жизнью.

Пастор кивает головой, вспоминая: факелы, собаки, фигура беззвучно бегущей женщины.

— По-моему, — говорит Джеймс, — она верно

определяет характер человека. И привела меня сюда не случайно.

— Такое признание мне очень дорого, доктор. Вы знаете, что можете оставаться у меня — и вы и Мэри — сколько пожелаете. В комнате, которую вы теперь занимаете, можно сделать кое-какие перестановки, дабы она стала более уютной. Что же до Мэри, — продолжает он, немного выделив голосом последнее слово, — то она, думается мне, хорошо устроилась в комнатке рядом с Табитой.

— Мы оба превосходно устроились. Но мне кажется, я должен объяснить вам… То есть вам, наверное, не совсем понятно…

— Признаюсь, это так. Но не требую никаких объяснений. Сперва мы должны убедиться, что вы окончательно выздоровели. Нога все еще беспокоит?

— Да, немного. Это очень старая травма. Как и на руках. Теперь боль не столь ужасна. Я к ней почти привык.

— Простите, доктор, но когда-то, мне кажется, вы были неподвластны ее клыкам. Я говорю о боли.

— Вам не «кажется», ваше преподобие. Я ведь никогда не притворялся. Все было именно так, как я рассказывал. Никогда в жизни ни одной се-

кунды не испытывал я физического страдания… до Петербурга. Мне становится трудно поверить в это самому. Достаточно будет сказать, что теперь я наверстываю то, чего не испытывал ранее.

— Стало быть, его больше нет?

— Кого, сударь?

— Прежнего Джеймса Дайера.

— Совсем нет.

— И вам не жаль его исчезновения?

— Иногда я думаю о той неколебимой уверенности в себе, которой я обладал благодаря своей невосприимчивости к боли. А нынче я стал почти трусом. Меня все время гложет отвратительный страх того или иного сорта. И ежели раньше я был как никто другой свободен от сомнений и колебаний, то теперь я терзаем ими постоянно. Ха! Я с полчаса думаю, какой утром надеть кафтан, а, как вам известно, у меня их всего лишь два.

— Ну, это пройдет. Это просто следствие вашего… плохого самочувствия.

— Не знаю. Я весь переродился, обрел иное «я», коему слабость свойственна в той же мере, в какой была свойственна сила прошлому моему естеству.

— А не свойственна ли этому новому «я» также и некая мягкость и нежность?

— Весьма возможно. Я еще плохо понимаю, кто я есть и что мне от себя ожидать. Конечно, дни, проведенные со скальпелем в руке, канули безвозвратно. Может, я заработаю шиллинг-другой своими картинами?

— Леди Хэллам помнит вас по вашему пребыванию в Бате. Она говорит, вы имели замечательную репутацию.

— У меня было их несколько, и очень мило со стороны леди Хэллам помнить обо мне, хотя, боже правый, как бы я хотел, чтобы мое прошлое «я» было забыто, словно горстка праха.

— Мы не станем преследовать вас воспоминаниями о прошлой жизни, доктор. В конце концов, человек имеет право меняться. Многие оказываются зажатыми в своей старой шкуре, которую лучше было бы сбросить.

— Как это делают гадюки? Надеюсь, сударь, вы не сбросите свою старую шкуру.

— У меня не хватило бы мужества, хотя, по-вашему, это слабость.

— Но мне не пришлось выбирать.

Пастор чувствует, что их беседа в лесу обрела особую сердечность, и, ободренный этим обстоятельством, говорит:

— В России, в покоях на Миллионной, я был

свидетелем чего-то такого, что…

Подняв вдруг руку, Джеймс подается вперед и всматривается в темноту, словно в летней ночи он увидел нечто огромное и неуловимое, нечто, подающее какой-то знак, который ему тотчас же надобно разобрать. Пастор, посмотрев в ту же сторону, видит лишь семейство зайцев с серебрящейся в лунном свете шерсткой, которые резвятся в траве шагах в десяти от них. Глядя Джеймсу в лицо, он спрашивает:

— Что такое, сударь?

Джеймс принимает прежнюю позу, медленно качает головой и, втянув носом воздух, берет кувшин.

— Призраки. Всего лишь призраки. Так вы говорили?..

— Пустое, сударь. Совсем пустое.

Глава восьмая
1772

1

— Миссис Коул, — утирая рот, обращается к экономке преподобный Лестрейд, — вы умеете не только замечательно смеяться над моими рассказами, но еще и готовить самых сочных голубей на свете. Право, не знаю, что бы мы без вас делали. Доктор Дайер, вы, без сомнения, поддержите меня?

Джеймс поднимает бокал:

— Миссис Коул — самая лучшая стряпуха в Девоне. Истинный художник!

— Верно вы говорите: художник! — наполняет бокал пастор. — Вы, доктор, нашли подходящее слово. Табита, милочка, передай-ка креветок. Благодарствую. А теперь скажи мне, этот твой сержант собирается посетить нас до отплытия к своим Америкам?

— Дай бедняжке спокойно пообедать, Джулиус, — говорит Дидо.

— Разве она не может спокойно обедать и разговаривать? Я просто задал вопрос. Меня интересует судьба этого парня. Он хороший ботаник. Вы хоть знали об этом? О розах ему известно абсолютно все.

— Ты заставляешь ее краснеть, Джулиус. Перестань.

Со склоненного лица Табиты скатывается слеза и падает в масляную подливку на тарелке. Вынув из рукава платок, миссис Коул сует его к носу девушки. Табита сморкается. Дидо сердито смотрит на брата, который, виновато пожимая плечами, потягивает вино. Джеймс же подмигивает Сэму, сидящему напротив. Сегодня у Сэма день рождения. В его честь все домашние — за исключением Джорджа Пейса, который в такой компании чувствовал бы себя неловко, — обедают вместе. На дворе май. Накрапывает легкий дождичек. Рядом с Сэмом сидит Мэри.

— Мисс Лестрейд сказала мне, ваше преподобие, что вы собираетесь в Бат, — говорит Джеймс.

— Быть может, и поедем. Астик с дочерью хотят ехать. И моя сестрица любит этот город.

— Я так хочу снова в театр, — говорит Дидо. — Сейчас там дают «Венецианского купца» с господами Барреттом и Детом. Не желаете ли присоединиться к нам, доктор?

— Театр не интересует доктора, — вмешивается пастор.

— Когда-то я бывал в театре на Орчард-стрит, — вспоминает Джеймс.

— И что вы смотрели? — спрашивает Дидо.

— Боюсь, я не запомнил, — улыбается в ответ Джеймс.

— Мне каждую зиму снится, — говорит Дидо, — что я еду в Бат. День всегда солнечный, все нарядно одеты, а я собираюсь на бал. — Дидо, раскрасневшись, смеется. — А сам город вам интересен, доктор Дайер?

Джеймс разглядывает голубиные кости у себя на тарелке.

— Мне он представляется несколько…

Пастор хлопает в ладоши:

— А вот и кексы! Надеюсь, у тебя хватит места для кексов, Сэм.

Табита и миссис Коул ставят на стол кексы и сбитые сливки с вином. Вокруг распространяется теплый запах миндаля и корицы. Разрезав кексы на части, миссис Коул кладет Мэри большой кусок кекса с тмином.

— Я знаю, она этот любит, — говорит стряпуха. — Ей нравится послаще.

Мэри ест кекс, отламывая пальцами кусочки и скатывая крошки в шарики. Глядя на нее, Джеймс улыбается, и она быстро поднимает на него глаза.

Оправившись от слез, Табита сообщает:

— Сегодня в Кау будет представление.

— Какое? — спрашивает пастор.

— Из Эксетера негр приехал, — отвечает миссис Коул.

— Он бороться будет, — подхватывает Сэм, — телегу с лошадью поднимать и еще по два человека в каждой руке.

— Там и жена его тоже будет, — добавляет Табита, — маленькая такая, ну прямо Дюймовочка.

— А что, жена тоже борется? — осведомляется пастор.

— Табита может пойти на представление вместе с Сэмом, — говорит Дидо. — Так будет прилично, не правда ли, миссис Коул?

— Вполне, — отвечает миссис Коул. — Но на всякий случай я тоже пойду. Мальчик еще слишком молод и может не разобраться, что к чему, а у Табиты и вовсе никакого соображения.

— Да вы просто царь Соломон в юбке, миссис Коул. Ну а теперь, Сэм, коли хочешь съесть последний кусочек кекса, ты должен нам спеть. Я знаю, доктору нравится, как ты поешь.

— Раз уж это его день рождения, — предлагает Джеймс, — то почему бы нам всем не спеть для него?

Пастор кивает:

— Тогда поем все вместе. Сестрица, не начнешь ли, а мы подхватим?

Дождь прекратился. Когда они кончают пить чай, день уже сияет влажным светом. Все выходят в сад. Пастор осматривает свои желтые розы, сирень и глицинию.

— Надобно будет подвязать побеги, — говорит он.

Дидо завязывает Сэму глаза шарфом и дважды поворачивает его:

— Лови!

Все разбегаются в разные стороны, свистят и кличут Сэма, и лишь одна Мэри, к большому удовольствию Джеймса, кажется, по-настоящему озадачена.

— Это такая игра, Мэри, — объясняет он. — Ты не должна попасться ему в руки.

Сэм, стоя в полуярде от Мэри, чувствует чье-то присутствие, протягивает вперед руки, потом вдруг останавливается, прислушивается, повернув голову набок, разворачивается и бежит прямо к тому месту, где за тюльпанами притаился пастор.

— Он подглядывает! — кричит Дидо. — Как не стыдно, Сэм!

— Это не так, — говорит Джеймс.

Сэм снимает повязку и передает ее пастору. Мальчик смотрит на Мэри. Смеется. Пастор в свой черед завязывает глаза и через несколько минут ловит миссис Коул. Миссис Коул ловит Табиту. Табита, в этот раз на удивление проворная, Джеймса. Джеймс — Дидо. Все раскраснелись и немного запыхались. Табита, миссис Коул и Сэм отправляются в Кау. Дидо скрывается в доме и выходит оттуда с книгой в руках. Протягивает ее Джеймсу, и он узнает: «Жизнь и мнения Тристрама Шенди». Последний том. Они читают ее вслух по вечерам два или три раза в неделю, иногда читает Дидо, но чаще Джеймс.

— Желаете немного почитать, мисс Лестрейд? В саду? — спрашивает он.

— Я думала сначала немного прогуляться и почитать у реки. Джулиус, пойдешь ли ты с нами, дабы уменьшить воздействие на свою фигуру кексов миссис Коул? Я найду тебе крепкие ботинки.

— Воздействие кексов миссис Коул крайне благотворно, моя дорогая, чего я не сказал бы о Лоренсе Стерне.

— Чепуха, братец. Ты хохотал как жеребец, когда Джеймс читал в прошлый раз.

— Подозрительным человеком был этот Стерн. Нет уж, идите вдвоем. Мне и здесь хорошо.

Заставьте сестру пойти, доктор. Ее-то фигуре как раз прогулка не помешает. Коли на то пошло, почему бы вам не пойти посмотреть на этого негритянского борца и его жену, а?

Пастор смеется, вынимает из кармана скрученную бечевку. Со двора перед конюшней доносится визг пилы: там что-то мастерит Джордж Пейс. Дидо уходит в дом, Джеймс за ней. Облачко, с минуту покрутившись перед солнцем, плывет дальше. И свет сегодня кажется особенно ярким.

2

Тропинка, что ведет к дороге, грязная, но под молодыми листочками веет зеленой прохладой. Они идут по берегу друг за дружкой, чтобы не испачкать башмаки. Дидо справляется у Джеймса, как сегодня его нога. Через плечо он отвечает, что в такую погоду лучше, гораздо лучше.

Подойдя к мосту, они переходят дорогу и шагают далее по берегу с другой стороны. Здесь под тенью деревьев лежат плоские камни, коих не видно с дороги. Они и раньше останавливались тут почитать книгу, побеседовать или посмотреть на реку, хотя в этом месте река больше похожа на маленький ручей, чьи мелкие воды текут, извиваясь, по каменистому дну.

Дидо протягивает Джеймсу книгу с заложенной лентой страницей. Тот протирает глаза. Теперь он уже не носит перчаток. Откашлявшись, поднимает взгляд и видит, что Дидо ему улыбается. На секунду Джеймс в который уж раз задумывается над тем, что, возможно, он вводит ее в заблуждение, что, возможно, она ждет, что он заговорит с ней о любви. Неужто она никогда не слышала и не видела, как Мэри выходит из его комнаты?

Может, она предпочитает этого не замечать? Но ведь и сам-то он только сейчас начал едва-едва разбираться в своих отношениях с Мэри. В них столько разных сторон, и во многом они вполне невинны. Если он станет ухаживать за Дидо, это не будет предательством Мэри. Да и Мэри, возможно, желает этого.

— Вам не найти место, где мы остановились? — спрашивает Дидо.

— Уже нашел, — отвечает Джеймс и принимается за чтение: — «Оглядываясь на конец последней главы и обозревая все написанное мной, я считаю необходимым заполнить эту и пять следующих страниц изрядным количеством инородного материала, дабы поддержано было то счастливое равновесие между мудростью и дурачеством, без которого книга и года не протянула бы…»

Дочитав до конца, Джеймс закрывает книгу и кладет ее на камень.

— Это не самая подобающая книга, — замечает Дидо. — Однако мне она почему-то нравится. Жаль, что мы закончили чтение.

Джеймс кивает:

— Мистер Аскью высказал мнение, что она была закончена лишь по причине смерти автора.

Что он написал бы больше, если б мог.

— Случись мне писать роман, — говорит Дидо, — то, полагаю, именно окончание доставило бы мне больше всего хлопот. Может, так же было и у Лоренса Стерна.

— Вы хотите сказать, что ему было легче умереть, чем закончить книгу?

Дидо смеется:

— Я этого вовсе не говорила. Это уже чересчур.

— Не говорили, верно. Но смерть, без сомнения, и есть конец.

Дидо поднимает брови:

— Не приведи бог братец услышит от вас такую ересь.

Джеймс усмехается:

— Вы не так поняли меня, мисс Лестрейд.

Со стороны деревни раздается одинокий звук рожка.

— Наверное, это представление, — говорит Дидо. — Похоже, начинают.

Немного помолчав, Джеймс предлагает:

— Не хотите ли взглянуть? Я встречал их однажды, прошлой зимой, но самого представления не видел.

Дидо встает, разглаживая платье. У нее милая, грустная и терпеливая улыбка.

— Только одним глазком, — говорит она. — Я не хочу, чтобы мое присутствие оказалось слишком заметным.

— Мы всего лишь постоим у двери. Ничего предосудительного тут нет.

Вновь слышится рожок, как раз когда они выходят на пустую дорогу.

Становится все жарче. Почти все лужи на дороге высохли на солнце. Балаган расположился неподалеку от кабака Кэкстона; его холщовые стены, некогда красные и белые, полиняли и стали теперь кремово-ржавыми. Подходя ближе, они слышат веселые крики и аплодисменты. Они останавливаются у бокового входа, где холст раздвинут и подвязан на обе стороны. Джеймс ощущает знакомые запахи, которые ни с чем не спутаешь: мятой травы, пота, холстины и пива. Хорошо бы рассказать Дидо, как и он когда-то выступал в таком балагане, а Марли Гаммер втыкал в него булавки.

Человек сорок зрителей смотрят, как Удивительный Джон гнет кочергу. Он раздет до пояса, плечи дрожат, глаза сощурены. Наконец он поднимает согнутую вверх дугу и передает ее жене, оказавшейся даже меньше ростом, чем полагал Джеймс, однажды ее уже видевший. Она пускает

кочергу по рядам зрителей, которые вертят ее в руках, удовлетворенно кивают и что-то негромко говорят друг другу. Тут женщина пронзительным голосом вызывает на бой сильного парня, готового потягаться с «мавром». Молодые люди выпихивают кого-то вперед. Это Джек Хокинс. Он пытается увильнуть и спрятаться в толпе, но его выталкивают вновь. Выйдя шаркающей походкой в круг, парень неловко поднимает руки. Женщина снимает с него жилет и рубаху. Он почти одного роста с негром, но лет на двадцать моложе. Крепкого сложения, работает на земле своего отца с тех пор, как научился ходить. Толпа затихает. «Убей его, Джек!» — кричит стоящий в дверях толстяк. Удивительный Джон поворачивает голову. Секунду посмотрев на Джеймса, он делает жест, будто узнал его. Потом поворачивается к своему противнику.

Они хватают друг друга, елозя ногами по грязи. Мышцы на спине и руках блестят, расширяясь. Хокинс наседает, негр, пошатнувшись, падает на одно колено, хотя лицо его все так же невозмутимо, как раньше, словно он думает о чем-то другом, о чем-то значительном и спокойном. В толпе раздается «ура!». Кое-кто топчется на месте, изображая борьбу с невидимым противником.

Джеймс чувствует, как к нему легонько прижалось плечо Дидо. Джек Хокинс, упершись что есть мочи негру в живот, теснит его назад, к стене балагана. Вдруг Удивительный Джон изворачивается и, добавив собственную силу к напору Хокинса, легким и выверенным ударом кидает его оземь, словно фермер всего лишь мальчик, не старше Сэма. Какое-то мгновение Хокинс лежит на спине, ловя ртом воздух, потом подымается, испачканный грязью, что пристала к его вспотевшей спине. Трясет головой, улыбается и забирает у женщины свои жилет и рубаху.

Женщина вновь вызывает желающих побороться: «Кто победит мавра?» Удивительный Джон спокойно стоит позади нее, поглаживая левое плечо. Вдруг он, качнувшись, пятится назад, с криком хватается за воздух и падает, так что земля трясется под ним. Все происходит до того быстро, что зрители, растерявшись, не знают, что предпринять, и только глядят на растянувшееся на земле, странно неподвижное, огромное тело. К негру медленно подходит женщина. Зовет по имени. Ответа нет. «Что с ним? — шепчет Дидо. — Что случилось?»

Больше всего Джеймсу хочется уйти, быстро выйти из балагана с Дидо или без нее. Он пони-

мает, что если не уйдет тотчас же, в это самое мгновение, то потом будет уже слишком поздно; но мгновение проходит, а он не двигается. Женщина стоит на коленях у головы негра и зовет на помощь. Умоляет.

Джеймс делает шаг в полумрак балагана. Головы поворачиваются и смотрят на него. Он слышит свое имя, но смотрит только на негра и женщину — больше ни на кого. Увидев, что к ней кто-то идет, женщина перестает кричать. Присутствие Джеймса, кажется, подействовало на нее успокаивающе. Протягивая к нему руки, она лепечет какие-то слова, которых он не понимает, да и не слушает. Джеймс глядит на Удивительного Джона. После приступа прошло полминуты, не более, но кажется, будто тот давно уже мертв. Джеймс опускается на колени. Хочет сказать женщине: «Он умер», но не может; не может вынести мысль о ее горе. Он легко касается груди негра. Кожа холодная и влажная, но в области сердца чуть теплая. Ему знакомо это ощущение; оно длится недолго, несколько минут после того, как больной перестал дышать, после того, как остановилось сердце. Джеймс вспоминает вечер в Бате, когда вдруг так же внезапно, посреди танца, свалилась молодая женщина.

Танцевали хорнпайп. Он был вместе с Агнессой Манроу. Склонившись над девушкой, он сразу понял, что отказало сердце. Тогда ему пришла в голову безумная мысль: попытаться вернуть ее к жизни, разрезав грудь. Идея явилась совершенно неожиданно и захватила его, однако под рукой не было саквояжа с инструментами, да и сама картина — как он разрезает молодую женщину посреди бальной залы — едва ли содействовала бы его репутации. Теперь у него нет репутации. Он рассматривает свои руки. Чувствует в них твердость, достаточно твердости. Из кармана он вынимает складной нож. На днях Джордж Пейс выправил его на оселке, когда затачивал косу. Лезвие хорошо отточено. «Им, доктор, можно рыбу от костей очищать», — сказал ему Пейс.

Глядя на женщину, Джеймс выдавливает из себя улыбку, больше, впрочем, похожую на гримасу. Она видит в его руке нож. «Доверьтесь мне», — обращается он к ней, да и к самому себе. Женщина кивает. Наверное, она поняла. И отвернулась. В кармане у Джеймса лежат часы Гримальди, но на этот раз никто не будет засекать время. Он надавливает концом ножа на грудину, затем немного высвобождает деревянную ручку. Он знает, какое это трудное дело — разрезать че-

ловеческую плоть, как сопротивляется она всеми своими узлами и жилами, однако нож должно держать не так, как ребенок держит перо, но как художник, что с легкостью водит по холсту своею кистью.

Он делает разрез, не замечая оханья, вызванного ужасом и удивлением собравшихся вокруг него посетителей балагана, не замечая жары и боли в ноге, усилившейся от вынужденного пребывания на коленях. Он раскрывает грудь, разрезает реберный хрящ, определяет местоположение сердца внутри волокнистой сумки перикарда, наполовину скрытого за мешком левого легкого; тянется к сердцу, хватает и сжимает его. На одну минуту Джеймс вновь обретает былую четкость восприятия. Вот цель, к которой стремилась выпущенная стрела его жизни. В этой операции сосредоточился весь его опыт. И сейчас он пожинает истинный, но неожиданный урожай.

Его рука повторяет движения бьющегося сердца, и, следуя этому ритму, в глазах негра начинает просыпаться жизнь. Покойник оживает, втягивает со свистом воздух, брызгает слюной, словно его, лежавшего под водой, вдруг резко извлекли наружу. Потом он говорит что-то голосом, возвращенным из пределов тишины и смерти. Вздохнув,

негр произносит тихо и ясно полдюжины слов, которые кажутся Джеймсу придуманными, точно отраженными в зеркале и принадлежащими языку мертвецов. Фраза, контрабандой принесенная в этот мир. Женщина глядит на Джеймса. Там, где по ее лицу текли ручейки слез, пролегли грязные полосы.

— Это его родной язык, — говорит она. — Африканский.

3

Проходит время, и у него образуется большой серый шрам, проходящий через всю грудь. Он сменил свое имя и больше в балагане не выступает. Просто живет. А вот хирург, чье имя негр не помнит, но чье лицо плывет перед ним во сне все оставшиеся годы его жизни, словно луна по воде, тот, который был другом пастора и его сестры и который, правду говорят или нет, побывал в далекой России, встречался с императрицей и пережил многие приключения, — такой аккуратный, печальный, хромой и умный человек, — вот он-то не дожил до конца лета и умер августовским утром на летнем поле совсем недалеко от деревни с блокнотом на коленях. Свалился навзничь со скамеечки, пригвожденный смертью к земле, успев лишь удивленно вскрикнуть, а рядом был только мальчик, мальчик и собака. И некому было забраться к нему внутрь и оживить.

Почти час, пока мальчик бежит за помощью, лежит Джеймс один — темная, крестообразная фигура; по лицу его скользит тень облаков, вокруг качаются колосья, их целые полчища, бесстрастные и золотые. На кухне в пасторском

доме Мэри, срезая кожицу с яблок для пирога, вдруг останавливается и кладет нож и яблоко на доску. Оторвав взгляд от теста, миссис Коул с удивлением замечает, что ее товарка улыбается.

Эпилог

До моста гроб везут на повозке, потом мужчины несут его на руках. Джордж Пейс, мистер Астик — по его личной настоятельной просьбе, — Уин Талл, Киллик и Урбан Дэвис, все в своем лучшем платье, с черным шелковым крепом на шляпах и в черных замшевых перчатках по два шиллинга шесть пенсов за пару, приобретенных благодаря щедрости пастора. Сам пастор идет впереди гроба с сестрой и леди Хэллам. За ними Мэри и Сэм, миссис Коул и Табита, доктор Торн, миссис Кларк и человек десять мелких фермеров и торговцев, знавших покойного достаточно хорошо, чтобы проводить его в последний путь.

День вполне подходит для похорон: на дворе прохладно, облака плывут низко, моросит дождик. Пономарь Кларк встречает их у ворот. Под погребальный звон колокола гроб несут по дорожке в церковь.

«Господь пасет мя; и ничтоже мя лишит: на месте злачне тамо всели мя; и ведет меня путями праведными ради имени Своего…»

Дидо вытирает глаза, а вместе с нею и миссис

Коул, и Табита, и Сэм, впервые познавший горе, его слезы, несмотря на все усилия, никак не унимаются. Как нехорошо, думает пастор, что мальчик был там, когда Джеймс умер. Какое это для него, должно быть, потрясение! А ведь казалось, что Джеймс становится все здоровее, сильнее.

Да и счастливее тоже. В эти последние месяцы его можно было назвать поистине счастливым человеком.

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали…»

На плечах гроб вносят на церковное кладбище. Мистер Кларк со своим помощником мистером Поттером почтительно ожидают у края могилы. Рядом еще совсем свежая могила: там покоятся Салли Кэкстон и ее младенец. На дерне лежат увядшие цветы, и их потемневшие по краям лепестки под таким дождем превратились в мульчу.

Все собрались. Пастор, держа книгу в руке, но не заглядывая туда, говорит:

«Жизнь человеческая — трава, цвет полевой; так цветет он, но ветер налетит, и увянет цвет; и место его не вспомнит его…»

Мистер Астик, сняв перчатки, берет комок зем-

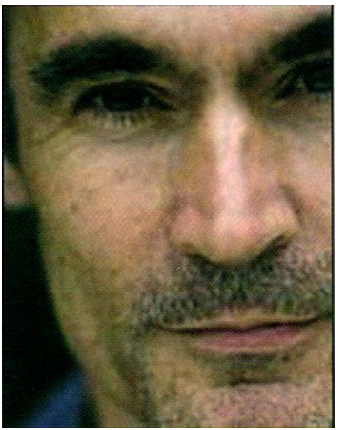
ли, мнет в кулаке и бросает на крышку гроба. За ним леди Хэллам. Потом она кладет горсть земли в руку Сэму; мальчик наклоняется и осторожно разжимает пальцы, как будто боится поранить гроб. Мэри, чьи карие глаза превратились в узкие щелочки, источающие свет, стоит в изголовье и служит свою службу, вызывая иных духов, которым назначено смешаться с теми, что населяют пределы Кау.

Когда все уже кончено, они направляются к воротам, и пастор приглашает всех к себе выпить по рюмочке вина. Леди Хэллам предлагает Дидо и миссис Коул место в своей карете. Остальные идут до моста пешком. Потом одни поедут в повозке, другие на лошадях, которые сейчас стоят, привязанные к деревьям, под присмотром мальчика. Небо заметно посветлело. Люди разговаривают мало, лишь с полей доносятся голоса фермеров, убирающих урожай. Женщина с ребенком в одной руке и глиняным кувшином в другой останавливается, склонив голову перед проходящей мимо процессией. Пастор, назвав ее по имени, кивает.

Вдруг внимание пастора отвлекает что-то, лежащее в канаве. Он останавливается. Через его плечо заглядывает мистер Астик. «Бедняга», — го-

ворит он. Остальные проходят мимо, и кое-кто, не замедляя шага, бросает в канаву быстрый взгляд. Лишь Сэм, бредущий последним, опускается в том месте на корточки. На склоне лежит котенок с перерезанным горлом. Похоже, он здесь недавно. Шерсть у него на грудке слиплась от крови, а вокруг на траве заметны вишневые пятна. Глаза зажмурены, словно так он пытался спрятаться от боли, рот полуоткрыт, и Сэму виден язык и зубы, все еще жемчужно-белого цвета. Взяв палку, Сэм тычет ею в котенка, как будто надеясь, что в этот чудесный век тот вдруг очнется и побежит. Потом, поддев палкой тельце, спихивает его через заросли живокости, колокольчиков и лютиков на дно канавы.

О романе



«XVIII век всего лишь декорация для интеллектуального романа о природе человеческой боли».

Kirkus Rewiev

«Дебютный роман Эндрю Миллера заслуженно получил несколько высших британских литературных наград».

Library Journal